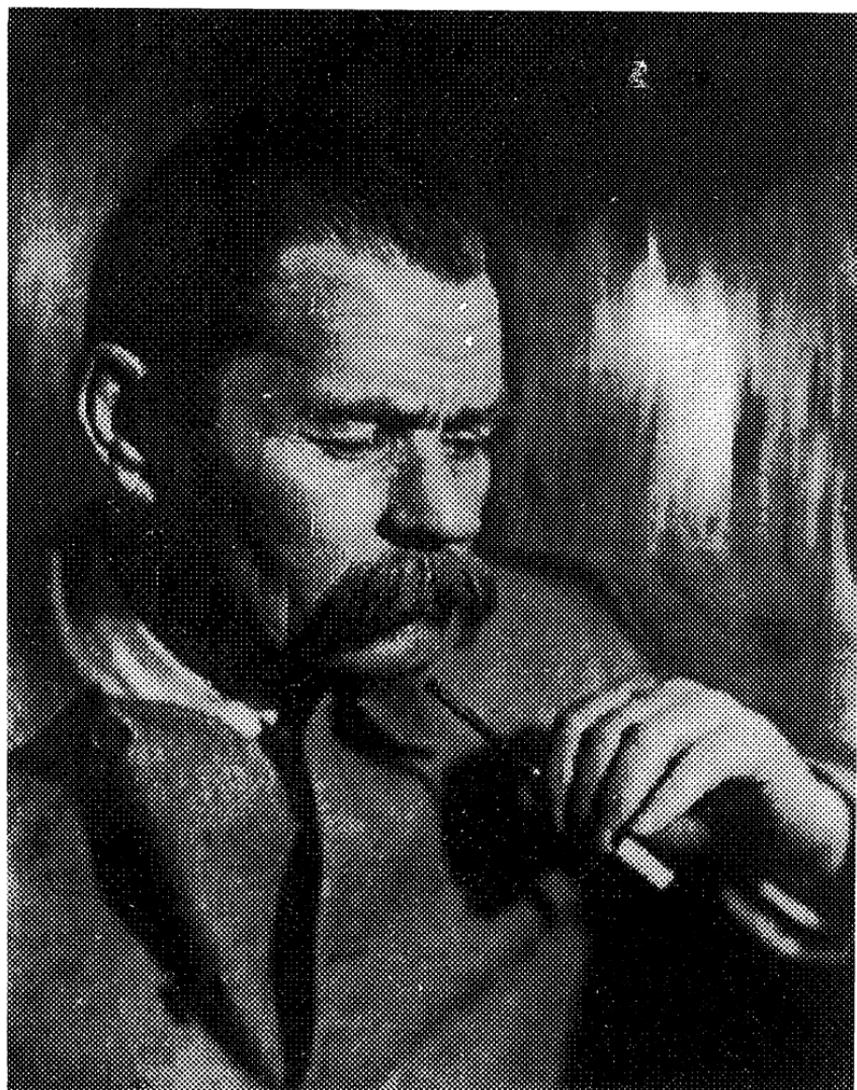


НЕИЗВЕСТНЫЙ

ГОРЬКИЙ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
на М. Горького

“НАСЛЕДИЕ”

Москва

1995

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

М. Горький и его эпоха
Материалы и исследования

Выпуск 4

“НАСЛЕДИЕ”
Москва
1995

УДК 882-6 Горький
Н 456

Редколлегия:

доктор филологических наук В.С.Барахов
доктор филологических наук С.В.Заика
доктор филологических наук В.А.Келдыш

Редактор — доктор филологических наук В.С.Барахов

Научно-техническую подготовку выпуска к изданию осуществили
С.Г.Огиенко и Г.Э.Прополянис

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

В очередном четвертом выпуске серии “М.Горький и его эпоха. Материалы и исследования” под названием “Новый взгляд на М. Горького” публикуются доклады и сообщения научной конференции на тему: “Наследие М.Горького в контексте времени”, состоявшейся в Институте мировой литературы им. А.М.Горького РАН 30 марта — 1 апреля 1993 года. Конференция была посвящена 125-летию со дня рождения А.М.Горького и после длительного перерыва возобновила традицию научных форумов горьковедов в ИМЛИ.

Материалы конференции дают интерпретацию Горького по широкому кругу биографических и историко-литературных проблем в контексте нашего времени. Особое внимание уделяется новым ценностным критериям в анализе творчества писателя и его отношений с общественными и литературными деятелями эпохи, преодолению традиционных взглядов и подходов, поискам идей и решений, которые открывают перспективные направления в исследовании одного из выдающихся художников XX столетия.

В работе конференции участвовали: зарубежные ученые Э.Клюс (США), И.Уайл (США) и Г.Хьетсо (Норвегия), научные сотрудники Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН (д.ф.н. В.С.Барахов, к.ф.н. И.И.Вайнберг, д.ф.н. Н.К.Гей, д.ф.н. С.В.Заика, к.ф.н. Л.Н.Иокар, д.ф.н.В.А.Келдыш, д.ф.н. Л.Ф.Киселева, к.ф.н. В.В.Кожин, д.ф.н. Н.В.Корниенко, С.С.Лесневский, Е.Р.Матевосян, Е.Н.Никитин, к.ф.н. Н.Н.Примочкина, Н.Л.Пэнэжко, к.ф.н. И.А.Ревякина, д.ф.н. Л.А.Спиридонова, к.х.н. С.И.Субботин, В.Н.Чернухина), литературоведы из Москвы (П.В.Басинский, д.ф.н. В.И.Баранов, д.ф.н. А.М.Минакова), Санкт-Петербурга (к.ф.н. М.Ф.Пьяных), Нижнего Новгорода (д.ф.н. Л.Ф.Гаранина, Т.А.Рыжова).

Редколлегия жалеет, что не все участники конференции представили тексты своих выступлений. В этот выпуск дополнительно включены также доклады и сообщения, которые были предварительно заявлены, но по разным причинам на конференции не были сделаны: к.ф.н. Н.Г.Ларионова (ИМЛИ РАН), д.ф.н. М.Я.Ермакова, к.ф.н. В.Н.Морохин (Нижний Новгород), к.ф.н. В.В.Перхин (Санкт-Петербург), Ю.Шеррар (Франция).

Во второй раздел данного выпуска вошли традиционные для этой серии материалы, которые продолжают начатую в его предшествующих изданиях публикацию научных изысканий и новых архивных документов.

Все сноски на художественные произведения Горького приводятся по изданию: М.Горький. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в двадцати пяти томах — М.: Наука, 1968-1976, а сноски на статьи и письма по изданию: М.Горький. Собрание сочинений в тридцати томах.— М.:ГИХЛ, 1949-1956

Во время подготовки настоящего издания вышел третий выпуск сборника “Неизвестный Горький. Горький и его эпоха. Материалы и исследования” (М.: Наследие, 1994), в котором некоторые участники научной конференции выступают в качестве публикаторов архивных материалов. В примечаниях к 4 выпуску отсылки на это издание специально не оговаривались.

Раздел 1

Конференция

(Доклады и сообщения)

О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРАХ В ТВОРЧЕСТВЕ М.ГОРЬКОГО

В докладе будут высказаны лишь отдельные соображения по поводу затронутой темы. Раскрыть же ее в полном объеме, системно — значило бы, по существу, предложить целостную концепцию творчества писателя, которая очень нужна. Но она должна быть *по-новому* целостна. Однако время для этого еще не пришло. Оценить Горького до конца объективно в наши дни трудно. Известно, к чему порой сводятся сегодняшние “пересмотры” — к отрицанию или почти отрицанию каких бы то ни было ценностей в его наследии.

Тут, разумеется, сыграли свою роль общественные прегрешения писателя последних лет его жизни (сквозь призму которых иногда неправомерно хотят увидеть весь его предшествующий путь). Но основное, пожалуй, в другом. Мы так долго возносили Горького надо всем и всеми, что — по российской привычке к крайностям — возникла потребность опустить его возможно ниже. И еще одно обстоятельство служит, по моему мнению, помехой на дороге к истине — наша нынешняя чрезмерная политизированность. Именно в этом контексте Горький постоянно занимает сейчас критиков и литературоведов.

Особенно часто заходит разговор о 30-х годах, об отношении писателя с властью, со Сталиным и другими политическими главарями того времени. Служил ли Горький верой и правдой советскому режиму, противостоял ли ему, или же было и то, и другое? Все это, без сомнения, существенно как момент истории нашего общественного сознания. Но самое важное все-таки — Горький как художник слова и его сочинения. Они-то и есть главная ценность, о которой надо говорить в первую очередь. Но как раз о главном у Горького мы склонны думать меньше, чем о другом. Подчас даже позицию эту стремятся представить как справедливую и законную — к примеру, в статье Бориса Парамонова “Горький, белое пятно” Написанная изощренно и талантливо, она вместе с тем очень спорна и просто уязвима в ряде своих положений. Прежде всего в ведущем тезисе, с которого она начинается: “Настоящий Горький”, — говорится там, — в его публицистике и переписке: они “намного интереснее всего — или почти всего, — что он написал... в художественном плане”¹.

И в этом смысле появление еще одной статьи о Горьком, статьи писателя Вячеслава Пьецуха “Горький Горький”, вконец (и с привкусом сенсационности) его развенчивающей, имело даже некое позитивное значение. Ибо она в основном переводила разговор из плана общественно-идеологического в план собственно творческий, говорила о святая святых писателя — его художестве. Иное дело, что говорила весьма парадоксально. Странно читать об авторе таких произведений, как “На дне”, “Детство”, “Страсти-мордасти”, “Егор Булычев” и многого другого (намеренно беру разные творческие периоды) как о художнике заурядном. Не касаясь статьи в целом (интересующимся Горьким она так или иначе известна, были и печатные отклики на нее), укажу лишь на одно ее место. Автор задается естественным вопросом — если Горький заурядный художник, то откуда тогда его всероссийская и всемирная слава? Оказывается, он “подкупил демократически настроенную публику своим босяцким (?) происхождением”, “революционным уклоном”, “и тут уж русскому читателю было не до художественных достоинств... О западном читателе речи нет, ибо в начале века он за глаза верил в русскую культуру и в русский рубль”².

Заявление опять-таки очень странное! Ибо и в начале века, и в двадцатые, и даже в тридцатые годы высокие слова о Горьком-писателе говорили многие люди — и это очень характерно, — как раз чуждые его социальной вере. И среди них, что хорошо известно, самые профессиональные читатели — знаменитые художники слова, российские и зарубежные, такие, как М.Пришвин, Е.Замятин, М.Булгаков и, с другой стороны, Б.Шоу, С.Цвейг, А.Франс, Кнут Гамсун, который признался (уже в 1927 г.), что “изо всех русских писателей он больше всего восхищается” Горьким и Достоевским³. Известные преувеличения можно иногда отнести за счет дружественных отношений. Но вот, например, слова Ф.Кафки, о существовании которого Горький, возможно, и не знал: “Удивительно, как Горький воспроизводит черты характера человека, не высказывая при этом ни малейшего суждения. Мне бы хотелось как-нибудь прочесть его записи о Ленине”⁴. Надо думать, что за этой репликой нет ничего, кроме чисто творческого интереса, ощущения особой поучительности для себя горьковской художественной манеры. А вот суждение Виктора Шкловского из письма Горькому от 18 сентября 1922 г.: “Какой изумительный писатель Максим Горький... Я думаю, что вы получили мировую известность не благодаря идейному содержанию своих вещей и т.д., а вопреки ему”⁵. Суждение парадоксально, совсем в духе горьковского корреспондента, но в нем есть зерно истины. В том смысле, что в процессе переоценки советского взгляда на Горького будут высказаны, конечно, самые разные и в том числе критические мнения, но такое обновление станет эффективным лишь в случае, если будет исходить из презумпции истинности его художественного дара. Задача обновить свое отношение к писателю стоит и перед автором этой статьи,

поскольку его прежние горьковедческие публикации испытали общую участь — заданность ряда исходных построений. К сожалению, написанная мною глава о Горьком, которая недавно опубликована в составе восьмого тома “Истории всемирной литературы”, тоже не вполне адекватна теперешним моим понятиям, так как писалась ряд лет назад, пролежав затем долгое время в корректуре (где возможность править текст, как известно, сведена к минимуму). Но все же в ней удалось наметить кое-что другое о Горьком, о чем здесь хочу сказать более развернуто.

На фоне нынешних переоценок кажутся весьма современными воспоминания В.Ф.Ходасевича “Горький” (1936) — одно из пронизательных проникновений в его личность и творчество. В них, может быть, особенно красноречиво воплощено представление о двух Горьких, Горьком с его драматическим ощущением реальности и Горьком — творце мифа, который воплотился в идее Человека с большой буквы, проецировался на пролетарский социализм и был психологически призван к тому, чтобы преодолеть тягостные впечатления от лежащего вокруг мира и преобразовать если не самый мир, то во всяком случае внутреннее к нему отношение. Ходасевич приводит (не вполне точно) слова горьковского Луки о людях и человеках и видит в этом противопоставлении “человеков” “с заглавной буквы” “просто людям” существо мироощущения самого Горького⁶. Правда, в воспоминаниях все же преувеличено значение для писателя “золотого сна” о человеке в антитезе к действительности. Но общая идея “двойственного” Горького вполне убедительна.

Она отозвалась в некоторых современных толкованиях. Посвоему развивает ее интересная статья П.Басинского⁷. Не со всеми конкретными суждениями автора можно согласиться, но общее направление мысли о противоположении у Горького доктрины “социального идеализма”, с одной стороны, и жизни, движущейся “по иным законам”, с другой, продуктивно.

Вместе с тем, с моей точки зрения, надо было бы говорить даже не о двух, а о трех определяющих началах в духовном мире писателя, которые находятся в сложных отношениях. Первое начало связано с уже упомянутым трагедийным переживанием феномена жизни в ее отчуждении от человека. Второе начало противостоит первому и, однако, столь же органично. Это вырастающее из глубин инстинкта радостное ощущение бытия, стихийной игры его природных сил и близкой причастности к ним человека. Здесь — своеобразное соприкосновение “традиционного” и “современного”, возникающее уже в мироощущении молодого Горького. Второе начало ближе к “традиционному” — к романтической идее “естественного человека”. Трагедийность же включает в себе прежде всего осознание катастрофизма своего времени. В ней, помимо ницшевского влияния, заключено предвестие экзистенциалистского комплекса, шедшего “ницшеанскими тропами”, что показано Басинским в названной статье.

Но я не согласен с его восприятием ранних произведений писателя под знаком ницшевско-экзистенциалистской идеи одинокого человека как решающей. “Вписывается” ли, к примеру, в эту идею “Мальва”? Разве Сокол исчерпан бескомпромиссным и “трагическим сопряжением гордыни с отчаянием (... он готов скорее броситься в бездну и погибнуть, чем смириться с благополучной “ужйной” моралью!)”?⁷ А где же: “Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я видел небо...” Что же касается “бездны”, то в рассказе — это не экзистенциалистское “ничто” (точнее, таким видится мир только Ужу — “пустыня эта без дна и края”), а родственная стихия, с которой, хоть и ценой гибели, сливается основной герой (“В их львином реве гремела песня о гордой птице”). Перед нами — своеобразное пантеистическое мироощущение, явленное и в смерти Сокола (мне приходилось уже писать об этом). И во многих других произведениях раннего Горького взаимодействуют эти два начала — отчуждения от мира и слияния с ним.

А позднее оформится и третье, “мифотворческое начало”, которое предстанет уже иным измерением мысли — рациональной конструкцией, опирающейся на определенную идеологическую концепцию. Но и здесь все достаточно сложно. Конструкция качественно неоднородна. Пафос коллективности, “коллективной психологии”, извлеченный Горьким в годы первой русской революции из социалистической идеи, имел и позитивное значение. Он помог преодолеть индивидуалистические “излишества” раннего периода, упрочил мысль о нерасторжимости “собрательного” и “личностного” бытия, которой немалым обязаны творческие плодоношения на следующем этапе пути писателя — в 1910-е годы. Социалистическая идея в ее самом широком, *всечеловеческом*, содержании стимулировала и другие продуктивные особенности творческого метода писателя, противостоящие, к стати сказать, концепциям ортодоксальных ревнителей “пролетарской культуры”. Что же касается *непосредственно идеологического*, революционно-пролетарского, содержания новой социальной философии Горького, точнее сказать — идеальных помышлений, вложенных в нее писателем, то именно они оказались “мифологией” (Понятия “мифология”, “мифотворчество” употребляются здесь в значении “творимой легенды” о жизни, “утешительной лжи” о ней. Совсем в другой плоскости, которой мы не касаемся, — проблема мифологических архетипов как одного из истоков художественной мысли писателя.) Горький был искренен в своей социальной вере. В конструкции ума принимало участие и сердце. Но эмоции, возникавшие на этой почве, были значительно менее органичны и глубинны, чем другие, упомянутые. На них лежала печать риторики.

Возникшую во второй половине 900-х годов известную версию о “конце” Горького, жертве партийной идеологии, в 1910-е годы сменяла иная версия — противопоставление Горького-публициста, сохраняющего тенденциозную заданность мысли, и

Горького-художника, демонстрирующего значительно более широкий и свободный взгляд на действительность. Напомним хотя бы суждение Александра Блока из письма 1916 г.: “Прочтите “Детство” Горького — независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего”⁸. И такой подход имел известные основания, хотя все-таки художественное и публицистическое не различалось у писателя столь категорически, поскольку неоднородной была и сама образная сфера.

В этом смысле прежде всего примечательна одна из основных художественных оппозиций у Горького. Через все его творчество проходят два типа человека — человек “пестрой души” (выражение писателя) и цельная личность.

В “пестрой душе” “все противоречия вместе живут” (вспоминая слова Мити Карамазова). В одних характерах “пестрота” воспринимается как ущербность, в других — как внутреннее богатство. Рядом с “пестротой” разрушающей “пестрота” полифоническая (как в образе Льва Толстого, “человека-оркестра”, из посвященного ему известного очерка). Сказывалось не только различие самих характеров, но и разномыслие писателя, иногда усматривающего в этом качестве национальный порок, а иногда прямо противоположное — духовное достояние народа: “Мужик из книжки или плох, или хорош... а живые мужики ни хороши, ни плохи, они удивительно интересны” (“В людях”). Здесь соединились те два сущностных отношения к реальности (отчуждение — приобщение), самые органичные и в то же время противоположные. Именно тут они и неслиянные, и нераздельны. Отсюда — и особая объемность того типа человека, который явлен уже в ранних рассказах, затем — в “окуровских” повестях, наиболее выразителен в автобиографических сочинениях 1910-х годов (“Детство”, “В людях”, рассказы “По Руси”) и произведениях начала 1920-х годов (“Заметки из дневника. Воспоминания”, отдельные рассказы — например, великолепный “Отшельник”), позднее — в “Жизни Клима Самгина”.

Другой тип — цельной, гармоничной личности, имеющей ясные ответы на мучительные вопросы времени, порожден третьим, в основном рациональным, началом мысли Горького и связан больше всего с образом революционера — от Нила из “Мещан” и вплоть до публикаций 1930-х годов. В горьковском “новом человеке” есть концептуально любопытные и качественно особые моменты по отношению к предшествующей традиции изображения народно-революционной среды — и прежде всего в романе “Мать”, произведении, как-никак имевшем огромный резонанс, несмотря на художественную слабость, и переведенном чуть ли не на все европейские языки сразу же после своего появления. Революционная страстность, энергия, действенность дополнились здесь интенсивной жизнью духа, которой недоставало литературным предшественникам. И однако в сравнении с горьковскими персонажами этого ряда, их рационалистически выстроенной писателем духовностью, насколько внутренне ин-

треснее и совершеннее в выполнении персонажи другого типа — люди раздвоенного, отягощенного противоречиями сознания. И это становится особенно очевидно, когда они сталкиваются лицом к лицу, под крышей одного произведения (Кутузов и Марина Зотова, Лютов; Рашель и Васса Железнова).

Ведущая оппозиция горьковского творчества, о которой идет разговор, — это, по существу, оппозиция нормативности и анормативности. В свое время ее превосходно ощутил А. Куприн. Он писал Горькому в 1912 г.: "... когда Вы говорите слова, я думаю: прекрасно, умно, хорошо, а когда мыслите образами, я думаю — нет, Россия — это не Европа и не Азия, это страна самых неожиданных решений, это край Степана Тимофеевича, где жадность и самоотвержение, подлость и бесстрашие, трусость и презрение к смерти так удивительно переплелись, как нигде в мире. Вот тут-то он и есть Горький"⁹. В образе "пестрой души" Куприн уловил самое важное у Горького.

Характерно — именно на этом пути Горький сходится с Достоевским. О Достоевском он писал как гениальном изобразителе национальных духовных болезней, остро восприняв разрушительное начало его творчества и — чаще всего — вовсе не почувствовав начала идеального. А между тем в их соединении — "тайна" лучших образов писателя. И знаменательно: этот великий опыт художественного исследования двойственного сознания существенно повлиял на творчество Горького (что замечено критикой¹⁰), вопреки его односторонне публицистическим суждениям о Достоевском.

Свое представление об изначальной противоречивости человеческой природы, где "дьявол с Богом борется", Достоевский соотносил и с особыми свойствами русского характера, именуя их "началом широкости"¹¹, отличающим, "кажется, — как говорил герой "Подростка", — русского человека по преимуществу"¹². Суждения Горького о "пестроте" (как и приведенное суждение Куприна) удивительно схожи с очень частыми у позднего Достоевского суждениями о "русской широкости". Поэтому не таким уж парадоксальным кажется мнение Гамсуна, воспринимавшего в одном для себя ряду Достоевского с постоянно осуждавшим его Горьким. В этом осуждении сказывалась все та же оппозиция "нормативного" и "анормативного". Ополчался на Достоевского "нормативный" Горький. "Нутряной" же Горький принимал Достоевского и по-своему, но во многом ему следовал. Следовал в настоятельной потребности проникнуть в глубины национальной психологии, ее многосложную противоречивость. И при этом находил у него немало близкого. Напротив, в "нормативном" горьковском характере таких глубин недостает. Перед нами раскрывается еще одна, национально-историческая, грань оппозиции: "человек пестрой души" и цельная личность.

Не надо абсолютизировать все эти различия. Мир писателя в конечном счете един. Речь идет об относительном развитии того или другого качества, о разных его степенях. Этим определяют-

ся и сравнительные ценности горьковского художественного мира. Высшей его ценностью долгое время почитали так называемого “положительного героя”, между тем как основным художественным завоеванием писателя стал образ человека “пестрой” души. Здесь — особенно прочная опора на традиции и вместе с тем своеобычное и впечатляющее их синтезирование. Отсюда — образы-понятия “карамазовщина” и “каратаевщина”, теневые полюса народной жизни, в соединении с мыслью о “фантастической талантливости” (“Заметки из дневника”) и поразительном своеобразии русского человека.

Этот обширный пласт горьковского творчества остается и поныне самой живой частью его наследия для отечественной литературы, и не только для нее. Убежден, что, к примеру, в “Одном дне Ивана Денисовича” А.Солженицына или в “Печальном детективе” В.Астафьева присутствует горьковская призма — неважно, осознанно или неосознанно, и независимо от того, как относятся к Горькому авторы этих сочинений. Именно сейчас, в переживаемое нами тяжкое время, “русская идея” писателя (при всех ее явных крайностях и пережестках) может помочь в познании кризисных состояний народной мысли.

Я коснулся только одной стороны горьковского творчества, но относящейся, на мой взгляд, к самым важным. Есть и другие, тоже очень важные. Например, неординарность собственно философских интересов Горького и философской проблематики его произведений, далеко не тождественной марксизму. Особенно любопытно об этом писал покойный М.Агурский (см., например,¹³).

Или Горький — стилист. Углубленные соображения по этому поводу уже высказывались. Но нужны и дальнейшие изыскания. Так, еще в 1910-е годы критики заметили в творчестве писателя импульсы новой, нереалистической поэтики, связанной с модернистскими течениями (см., например,¹⁴). Но эта критическая заявка оказалась почти не востребованной в последующем горьковедении. А тема между прочим весьма существенная, ибо проливает дополнительный свет на общие судьбы реализма в XX столетии.

Именно такого рода подходы к Горькому и нужны теперь: пересмотры традиционных представлений, не утаивающие теневых сторон его деятельности, миросозерцательных и художественных слабостей, разительных неровностей его пути и вместе с тем по-новому высвечивающие то, что оказалось на этом пути особенно значительным, хотя и не привлекло до сих пор должного внимания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Парамонов Б. Горький, белое пятно // Октябрь.— 1992.— № 5.— С.146.
- ² Пьецух В. Горький Горький // Столица.— 1991.— № 38 (42).— С.52.
- ³ Архив А.М.Горького. Т.VIII: Переписка А.М.Горького с зарубежными литераторами.— М., 1960.— С.287.
- ⁴ Janouch G. Gespräche mit Kafka.— Fr/M., 1951 — S.134.
- ⁵ De visu.— 1993.— № 1. (2).— С.35.
- ⁶ Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания.— М., 1991.— С.183.
- ⁷ Басинский П. Логика гуманизма (об истоках трагедии Максима Горького) // Вопр. лит.— 1991.— № 2.— С.138.
- ⁸ Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т.8.— М.— Л., 1963.— С.456.
- ⁹ А.И.Куприн о литературе / Сост. Ф.И.Кулешов.— Минск, 1969.— С.223.
- ¹⁰ Ермакова М.Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX в. Ч. III. Гл.2.— Горький, 1973.
- ¹¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т.— Л., 1974.— Т.9.— С.127.
- ¹² Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т.— Л., 1975.— Т.13.— С.307.
- ¹³ Агурский М. Великий еретик. Горький как религиозный мыслитель // Вопр. философии.— 1991.— № 8.
- ¹⁴ Неведомский М. О “новом” Максиме Горьком и новой русской беллетристике // Запросы жизни.— 1912.— № 8.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ СЕГОДНЯ

Лет пятнадцать тому назад в центре Днепропетровска был открыт памятник Горькому. Согласно оригиналу скульптор изобразил писателя с длинными волосами, то есть с прической отнюдь не в соответствии с тогдашней нормой, а скорее навевавшей мысли о всевозможных хиппи и прочих битниках. Пришедшие в ужас столпы общества немедленно отдали приказ: “Горького подстричь!” Вскоре после этого гранитные волосы перестали развеиваться.

К сожалению, подобный случай “благоденствия” русским писателям со стороны властей далеко не уникален. Например, такая же метаморфоза выпала на долю Гоголя. В начале 1950 годов, по воле Вождя, замечательный памятник Николая Андреева, изображающий Гоголя среди своих персонажей с верой, что они в конце концов воскреснут, был заменен не очень убедительным памятником Николая Томского, где, по меткому определению москвичей, поэт “смотрит солдатом”.

И все же в судьбе памятников Горькому и Гоголю есть существенная разница. Если Гоголь в Москве все еще улыбается и ежедневно принимает цветы от своих поклонников, то длинноволосый Горький в Днепропетровске исчез вообще. Надо думать, что стрижка все-таки пришлась ему не к лицу. Во всяком случае, сегодня на этом месте другой памятник. Задумчиво и печально, а быть может и немножко обиженно, смотрит писатель на горожан Днепропетровска, не разрешающих ему даже отрастить волосы.¹

Приведенная история хорошо иллюстрирует главную задачу современного горьковедения. Необходимо, так сказать, вернуть Горькому его длинные, развевающие волосы, приведшие в такой ужас некоторых днепропетровских мещан. Ибо без данных ему самой природой свойств Горький не будет Горьким, а просто неким невинным мальчиком, попавшим в “заботливые руки” советской номенклатуры и потом сделавшимся идеальным основоположником “соцреализма”. На самом же деле Горький — образ гораздо более противоречивого порядка. “Горький по-настоящему еще не прочтен и не понят,— пишет Юрий Трифонов.— Вульгарный социологизм нанес ему вред более, чем кому бы то ни было. Горький — как лес: там есть и

зверь, и птица, и ягоды, и грибы. А мы несем из этого леса одни грибы.”²

В последнее время снова стали говорить о “конце Горького”. Создается впечатление, что писатель у себя на родине уже не принадлежит к числу особенно модных и почитаемых. Характерная черта ряда недавних работ о Горьком — какая-то злобная радость, причем писатель иногда объявляется чуть ли не вне закона. Уж каким сомнительным человеком был, мол, этот “буревестник”! Показательно громкое заявление одного популярного журналиста, будто “развенчание Горького — один из “политических процессов” нашего времени”.³

Между тем, история показала, что Горький в состоянии выдержать любые испытания. Несомненно, вернется он и на этот раз. Но для этого международное горьковедение, по словам Глеба Струве, должно “снять с его настоящего лица искусственный, агиографический глянец и сделать для него то, что сделал он для Толстого”.⁴ Время требует, чтобы личность и творчество писателя были осмыслены по-новому, без фанфар и всякого рода фальсификаций.

В самом деле, перед нами открывается широкое поле для плодотворной деятельности. Ведь полностью его творчество еще не издано. Более того, в хранилищах, как в России, так и на Западе, находятся сотни, тысячи его писем, еще не ставших достоянием ученых. Показательно, что мы даже не располагаем сколько-нибудь полной и строго научной биографией писателя. Заметно устарела вышедшая четверть века тому назад “Летопись жизни и творчества А.М.Горького”. Представляется, что новое, дополненное издание этого труда является предметом первой необходимости в горьковедении, ибо во мраке невежества процветают всевозможные легенды, мешающие истинному восприятию писателя.

В сложившейся ситуации исследователям предстоит важная задача: открыть иного, нового Горького, писателя, с которым можно и даже нужно спорить, но вместе с тем писателя с правом на уважение. При этом необходимо по-новому переосмыслить его отношение ко всем явлениям жизни, и не в последнюю очередь к ушедшим с арены вождям страны.⁵

Приведем два-три примера нового взгляда на писателя.

До сих пор мы привыкли к схеме всегдашней правоты Ленина и частых заблуждений Горького. Все, что не соответствовало этой схеме, либо искажалось, либо скрывалось. Подобный подход требует сейчас коренного пересмотра. Возьмем хотя бы спор по поводу “богостроительства”, одного из самых интересных импульсов в творчестве Горького. Опубликованные у нас на Западе письма писателя к Александру Богданову ясно свидетельствуют об огорчении Горького по поводу ленинской атаки на богостроительство в книге “Материализм и эмпириокритицизм”: Какое бесстыдство! Это тон хулигана! Вообще, несерьезная, неумелая и бесталанная работа Ленина вызывает у меня впечатления самые мучительные”.⁶

О фанатизме Ленина в связи со школой на Капри Горький пишет также в купюре своего длинного письма к нему от 3 (16) ноября 1909 года:

“...дорогой мой, я Вас очень уважаю, более того, вы органически симпатичный мне человек, но знаете, вы наивнейшая личность в отношениях Ваших к людям и в суждениях о них, уж извините меня. Ладно еще, коли только наивнейший, а порою, мне кажется, что всякий человек для Вас — не более, как флейта, на коей вы разыгрываете ту или иную любезную Вам мелодию и что вы оцениваете каждую индивидуальность с точки зрения ее пригодности для Вас — для осуществления Ваших целей, мнений, задач”.⁷

Нападая на него в “Несвоевременных мыслях”, Горький пишет, что Ленин “считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу”.⁸ Год спустя, Горький в беседе с немецким писателем Эдуардом Фуксом жалуется, “что всякая свобода в стране уничтожена, что пресса придумана, что свободное выражение своего мнения невозможно, что запрещена всякая критика политических и экономических мероприятий советской власти, что русские интеллигенты — духовные работники — подвергаются неслыханному обращению и живут в ужасающих условиях”.⁹ Впрочем, критическое отношение писателя к Ленину заметно даже в статье, написанной по поводу его пятидесятилетия: “продолжаю думать, — как думал два года тому назад, — что для Ленина Россия — только материал опыта, начатого в размерах всемирных, планетарных.”¹⁰ Показательно, что Ленин потребовал немедленного снятия статьи или конфискации номера журнала.

Вообще Ленин был непреклонным, авторитарным политиком, а Горький идеалистическим художником с мистической верой в коллективную доброту человека. Критически относясь к идеологическим спорам, укладывающим жизнь в прокрустово ложе “учения”, писатель еще в 1903 году пишет Александру Скабичевскому: “Я не марксист и оным не буду во веки, ибо считаю стыдом исповедовать марксизм по-русски и по-немецки, ибо я знаю, что жизнь творят люди, а экономика только влияет на нее.”¹¹

Имея мало общего с Лениным, писатель все чаще нападает на его безразличное отношение к родной стране. Вот как передает его мысли Зиновий Пешков после того, как Горький был выдворен из России и попал в Берлин осенью 1921 года:

“Ленин провел всю свою жизнь за границей; своей страны не знает, и Горький неоднократно это ему говорил. Но Россия сама по себе совершенно безразлична вождю коммунизма. Он говорит, что она в его руках головня, чтобы поджечь буржуазный мир. Горький ему ответил: “Это головня из сырого дерева, способная лишь начадить и удушить тех, кто ее зажжет”.¹²

Но если Горький не был ленинистом, то во всяком случае был сталинистом, скажут недруги писателя. Конечно, это не так. Если с большой натяжкой можно сказать, что Горький

любил Ленина “с гневом”, то в отношении к Сталину любви вообще не было.

Возможно, что Горький, сознавая свою ответственность перед родиной, вначале создал себе иллюзии о возможности смягчить политику Сталина. В самом деле, надежды писателя на то, чтобы играть такую же роль, какую он играл в первые годы после революции, следует считать едва ли не главной причиной его возвращения на родину. В этом он достиг известного успеха. Показательно, что дорога к большому террору открылась только после его смерти. Но его надежды на демократизацию страны рухнули еще в 1934 году, когда отношение к нему со стороны властей заметно ухудшилось. Зорким писательским глазом он постепенно проник во все, что творилось на родине. Усилилась душевная дискомфортность писателя. И наконец он как бы прозрел и ужаснулся, оказавшись пленником в собственной стране. Где бы он ни был — в Москве, в Горках, в Тессели — он находился фактически под домашним арестом.

Отнюдь не ставши послушным слугой утвердившегося в стране режима, Горький, видимо, надеялся на победу сил, противостоящих Сталину. К сожалению, об этом мы до сих пор знаем очень мало, тем более, что в архивах КГБ горьковские материалы далеко не исчерпаны. Однако были выдвинуты гипотезы, что писатель принимал участие в деятельности антисталинской коалиции, что он в 1934 году посылал Максима Алексеевича с важным поручением к Кирову, вследствие чего медицинская папка сына “убога по содержанию”.¹³ Во всяком случае, заключает Вяч. Вс. Иванов, Горький оказался жертвой сталинского террора.¹⁴

В свете этого террора многие нападки на Горького представляются весьма несправедливыми. Возьмем для примера так называемое восхваление писателем Северного лагеря особого назначения (СЛОН) на Соловках. Известно, что Горький сначала не хотел туда ехать: поездка на Соловки была своего рода “социальным заказом”, вызванным сообщениями в западной прессе о заключенных, которые самым чудесным образом выбрались на свободу из “лагерей ужасов”.¹⁵ Как и следовало ожидать, эти репортажи произвели на Западе тяжелое впечатление, вследствие чего Горький был откомандирован дать “клевете” отпор.

Надеясь вымолвить слово об облегчении участи заключенных, Горький “послушно в путь потек” Но в отличие от пушкинского раба ему не удалось вернуться с ядом. Судя по всему, очерк “Соловки” является грубой фальсификацией, и на этот раз купюры, например о сопровождавшем его и потом покончившем с собой Матвее Погребинском, не указаны даже многоточием в Собрании сочинений писателя.¹⁶ Недаром Горький в только что опубликованном письме Ягоде жалуется на то, что потерял материалы к очерку. Следует предположить, что эти материалы были удалены у него помощниками самого Ягоды, которому очерк не понравился.¹⁷ О хирургических про-

цедурах, которые проделывались в связи с опубликованием этого очерка Горький потом рассказал П.Морозу: “Что же касается статьи с моими впечатлениями о Соловецких островах, опубликованной в печати, то там карандаш редактора не коснулся только моей подписи, — все остальное совершенно противоположно тому, что я написал и неузнаваемо”.¹⁸ Конечно, ставить такой документ в укор Горькому не приходится. По-видимому, то же самое относится и ко многим другим приписываемым Горькому документам, неведомо кто был их автором.

Вместе с тем несомненно, что Горький-публицист намного уступает Горькому-художнику. “Он великий человек и скромный человек”, — писал о нем Кнут Гамсун в феврале 1928 года. — “И то, что мы любим его еще больше (если это возможно), нежели почитаем, объясняется человечностью его души и глубиной его убеждений. Хотя мне приходится читать его на более или менее плохом “переводческом языке”, я не знаю никакого другого современного писателя, который захватывал бы меня с такой силой, как он”.¹⁹

Но и тут настало время пересмотреть некоторые взгляды и концепции. Хотя его место в русской литературе прочно обеспечено, но нельзя сказать, что все его вещи вошли в золотой ее фонд. В частности представляются слабыми наиболее тенденциозные его вещи, например, “Мать” и “Лето”, где рабочие не работают, и крестьяне не пахут землю, а все время строят воздушные замки. Думается, что включение повести “Мать” в программу русских школ нанесло репутации Горького много вреда. Во всяком случае не вызывают удивления сообщения о том, что школьники скучают при разборе такой идеологизированной вещи. Гораздо лучше было бы ознакомить подрастающее поколение с некоторыми шедеврами писателя. При этом я имею в виду не только классические его произведения вроде “Двадцать шесть и одна” и “Детство”, но прежде всего его поздние, зрелые вещи из цикла “Рассказы 1922-1924 годов”, например “Отшельник”, “Рассказ о безответной любви” и “Голубая жизнь”. Как это ни странно, но о последнем шедевре почти ничего не написано, во всяком случае на родине писателя.

Не менее сильна драматургия Горького, особенно его “картины” “На дне”, которые я сам недавно перевел на норвежский язык.²⁰ По-моему, эта вещь одна из наиболее важных пьес нашего столетия. При этом, в частности, интересна трактовка Горьким главной темы пьесы, то есть вопроса о “житейской лжи”. как известно, тема эта заимствована писателем из “Дикой утки” Ибсена, которую он сам смотрел в Художественном театре, еще не закончив пьесы. Стараясь поддержать в своих пациентах бодрый дух, доктор Реллинг в житейской лжи усматривает “стимулирующий принцип”, без которого обыкновенным людям жить нельзя: “Отнимите у среднего человека житейскую ложь, вы отнимете у него и счастье”.²¹

В основе утешительной философии Луки лежит та же мысль, только в ином контексте. Будучи воплощением надежды и

страдания, Лука вносит свет в жизнь ночлежников, возбуждая в них веру в лучшее будущее. “Слушай, старик: Бог есть?” спрашивает его Пепел. “Коли веришь,— есть; не веришь,— нет... Во что веришь, то и есть...” — гласит ответ Луки.²²

Вследствие утешительных слов горьковского странника ночлежники снова начинают надеяться и стремиться. В форме сказок и пословиц он делает все возможное, чтобы пробудить этих тупых бедняков на дне жизни. Ибо как ни опустились люди, они все еще обладают божественной искрой, которая в состоянии снова зажечь их. Благодаря жизненной лжи, воскресают даже те, кто наполовину мертв. С полным правом норвежский критик Сигурд Бэдткер считает Луку ключом ко всей пьесе:

“Собственно говоря, это драма о Христе, который снова ходит по земле. Перед нами современный, русский Христос. И ходит он в кругу проституток и великих грешников, рассказывая им, что все то, что они делали в своей нужде и слабости, неважно, лишь бы человеческие чувства все еще могли найти путь к их сердцам. Его имя Лука, и он сам ночлежник; все он видел, почти все прощает: над воровством он насмехается, с распутством шутит, даже убийство не так уж его волнует,— страшит его только жесткость сердца. Уча и утешая, он проповедует чистейший анархизм: нет закона кроме того, который царит в душе человека, нет права, кроме того, которое воспринимается самим человеком, как справедливое, нет Бога, кроме того, к которому человек сам чувствует тягу!”²³

Если истина не может дать человеку счастья, то не следует отвергать и ложь! Вот суть учения Луки. И никто в пьесе не может опровергнуть эту проповедь. Жалкая попытка Сатина указать на силу и гордость — бессильна. Ибо история показала, что “человек” отнюдь не “звучит гордо”, напротив, в гордом человеке чаще всего кроется преступление против человечества. “Если идеи Луки есть прошлое, то идеи Сатина — будущее”, — отмечает Ю.Юзовский.²⁴ Будем надеяться, что история показала неправоту исследователя.

Лука учит нас, что надобно, иметь уважение к себе самому и делать все для поддержки воли к жизни других. Ибо человеку нужна мечта, мечта о том, что, быть может, и не осуществится, но чего стоит ждать. “От Луки сияет”, — пишет Стейн Мерен, один из самых крупных поэтов Норвегии, и продолжает: “От Луки будет всегда сиять, даже тогда, когда Сатин уйдет из ночлежки и попытается жить, как верный марксист. Ибо Сатин, конечно, ни с чем не справится. Либо его убьют во второй или третьей волне убийств из-за его подозрительно оппозиционных настроений, либо идеологию ему заменит бутылка на пути к собственному падению”.²⁵

Горький интересен, как общественный деятель и значителен, как русский писатель. Но пик своей миссии он все-таки достигает как просветитель и гуманист.

Не будем распространяться о заслугах Горького-просветителя, — они известны всем. Но в трудные для России дни будет нелишне напомнить о Горьком-гуманисте.

В 1921 году в России вспыхнул голод. Вместе с патриархом Тихоном, которому потом пришлось поплатиться своей жизнью, тюремным заключением и странной, может быть, даже насильственной смертью, Горький поднимал международную общественность на организованную борьбу со стихийным бедствием. В частности, обращает на себя внимание воззвание писателя к Нансену от 13 июля:

“Обширные степи в южной России постигнуты, вследствие небывалой засухи, неурожаем. Это бедствие угрожает голодной смертью миллионам русских людей. Напоминаю, что русский народ вследствие войны и революции истощен и что его физическая выносливость ослаблена. Страну Льва Толстого, Достоевского, Менделеева, Павлова, Мусоргского, Глинки и других дорогих всему миру людей ждут грозные дни. Я прошу всех европейцев и американцев помочь русскому народу со всей возможной быстротой. Дайте ему хлеб и медикаменты!”²⁶

Призыв Горького возымел действие. Скажу более: без этого воззвания скорее всего не было бы никакой помощи вообще. Известно, что Нансен в это время, разочаровавшись в мелких соображениях политиков, хотел оставить свою обширную гуманитарную деятельность. Но обращение к нему Горького потрясло его и заставило его вернуться к той работе, за которую в 1922 году он получил Нобелевскую премию мира.

А что получил Горький за свое ходатайство о голодающих страны? Брань и выговор от наркома иностранных дел Чичерина! “Но если б Вы знали, какая масса спешного дела лежит на моих плечах!” — пишет Горький финскому профессору Микколе в конце июля. — “Только что приехал сегодня из Москвы, где прожил месяц в трагической суете и вот все еще не могу отдохнуть хотя бы полчаса, а устал страшно!”²⁷

Без авторитета и престижа Горького вряд ли пришли бы на помощь и американцы, далеко не сочувствовавшие тому, что в то время происходило в России.

В истории русской литературы много гуманистов: Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов. Быть может сострадание к бедным людям и есть главный признак русской литературы. Не может быть никакого сомнения в том, что Горький в ряду писателей-гуманистов занимает одно из самых почетных мест. По недавним подсчетам американского ученого, благодаря инициативе Горького, были спасены 10-20 миллионов людей.²⁸

Это тоже надо учесть при обсуждении Горького сегодня.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Огонек. — 1991. — 24, июнь. — С. 26.

² Вопросы литературы. — 1968. — № 3. — С. 16.

- 3 Лев Аннинский. И литература сделалась мне противна. // Дружба народов.— 1992.— № 4.— С.245-246. (245).
- 4 См. Gleb Struve, Russian Literature under Lenin and Stalin 1917-1953.— Norman, Oklahoma, 1971.— p.64.
- 5 Интересный разбор новейшей литературы о писателе дан в статье Andrew Barrat & Edith W. Clowes. Gorky, Glasnost and Perestroika: The Death of a Cultural Superhero? // Soviet Studies.— 1991.— Vol. 43, № 6.— pp.1123-1142.
- 6 См.: Jutta Scherrer. Gorkij — Bogdanov: Apercu sur une correspondance non publiée // Cahiers du Monde russe et soviétique, XXIX (1).— janvier-mars 1988.— p.41. Перевод наш.— Г.Х. См. также Georges Haupt & Jutta Scherrer. Gorkij, Bogdanov, Lenin: Neue Quellen zur ideologischen Krise in der bolschewistischen Fraktion (1908-1910).— там же.— XIX (3).— jul.— sept. 1978.— pp.321-334.
- 7 Приносим глубокую благодарность Ирине Ревякиной (ИМЛИ), предоставившей нам возможность ознакомиться с этим письмом, которое ныне хранится в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) и скоро будет ею опубликовано.
- 8 Новая жизнь.— 1917.— № 177.— 10(23)/XI-1917, см. М.Горький, Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре/ Вступительная статья, публикация, подготовка текста и комментарии И.Вайнберга.— Москва, 1990.— С.151.
- 9 Беседа с Горьким // Руль.— № 3164.— 24/IV-1931. Беседа имела место в Петрограде в двадцатых числах декабря 1918 года. Автор сообщения — Maurice Laserson, выпустивший в 1931 году в Берлине под псевдонимом "M.J.Larsons" книгу Im Sowjet-Labyrinth. Episoden und Silhouetten.
- 10 Коммунистический интернационал.— 12, второй год издания (1920).— стбл.1927.
- 11 РЦХИДНИ, ф.75, оп.1, д.161. Приносим глубокую благодарность Евгению Никитину (ИМЛИ), предоставившему нам возможность ознакомиться с этим письмом, которое скоро будет им опубликовано.
- 12 Вестник русского христианского движения.— 118.— II.— 1976.— С.255.
- 13 См. Горький, которого мы не знаем // Литературная газета.— 10/III-1993.— №10.
- 14 См. Вяч.Вс.Иванов. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы литературы.— 1993.— вып.1.— С.91-134.
- 15 См. S.A.Malsagoff, An Island Hell: A Soviet Prison in the Far North.— London, 1926. См. также Соловки — лагерь ужасов // Борьба за Россию.— 15/XII-1928.— №108; Советская ссылка.— Там же.— 26/I-1929.— №114.
- 16 См. Л.Я.Резников. Горький и Север: Поиски, факты, свидетельства, комментарии.— Петрозаводск, 1967.— С.40-42.
- 17 См. Л.Спиридонова. Свой человек... (Корреспонденция на М.Горки с Г.Ягода) // Орфей.— 1992.— № 1.
- 18 Социалистический вестник.— 34,1 (667), январь 1954.— С.18.
- 19 Гейр Хьетсо. Максим Горький в Норвегии // Русская литература.— 1977.— № 2.— С.152-162. (155).
- 20 Maksim Gorkij. Nattherberget. Oversatt fra russisk av Geir Kjetsaa.— Oslo, 1992.
- 21 Генрик Ибсен. Собрание сочинений. В 4 т.— Москва, 1957.— Т.3.— С.723-724.
- 22 М.Горький. Полное собрание сочинений.— Москва, 1970.— Т.7.— С.140.
- 23 S.B.(Sigurd Bodtke). Fahlstoms Teater. Maxim Gorki: Natasylet // Verdens Gang.— 1903.— 18/IX.—№ 270. Перевод наш,— Г.Х.
- 24 Ю.Юзовский. "На дне" М.Горького. Идеи и образы.— Москва, 1968.— С.141.

- 25 Stein Mehren. Pa bunnen. MaximGorkijs skjebnestund, Myten og den irrasjonelle fornuft. Del I. Ideologi og menneskebilde.— Oslo, 1977.—p.109. Перевод наш,—Г.Х.
- 26 См. Гейр Хьетсо. Максим Горький в Норвегии // Русская литература.— 1977.— № 2.— С.152-162 (158).
- 27 См. Гейр Хьетсо. Неопубликованное письмо М.Горького гельсингфорскому профессору И.Ю.Микколе // Scando-Slavica, Tomus 37.— 1991.— pp.101-107.
- 28 Хейнс Джонсон. Помощь по призыву Горького // Страна и мир.— 1992.— № 2.— С.19-21.

ТРАГЕДИЯ М.ГОРЬКОГО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ КРИТИКОВ

Наше отношение к Горькому претерпевает заметные изменения, что связано с переоценкой ценностей в его наследии, попыткой посмотреть на общепризнанного классика непредвзятым взглядом, отрешиться от всего того, что деформировало его образ. Характер этих изменений необратим и охватывает весь жизненный и творческий путь Горького. Меняется представление об исторической судьбе писателя, которое наполняется трагическим содержанием и позволяет увидеть то, что недавно было за пределами внимания исследователей. В большей мере это относится к послереволюционному периоду деятельности Горького, который рассматривался весьма односторонне, а сейчас захватывает нас драматизмом не до конца познанных противоречий и коллизий. В.Ф.Ходасевич называет 20-е годы в истории общения с писателем “потаенной эпохой горьковской жизни”. Найденное им определение аргументируется восстановленными страницами биографии Горького и может быть распространено на весь послереволюционный период.

Воспоминания В.Ф.Ходасевича, Е.Д.Кусковой, Н.В.Вольского и других деятелей русского зарубежья дают новый материал для размышлений о Горьком и это симптоматично¹. В нашем сознании происходит совмещение непохожих друг на друга образов Горького, увиденных как бы с двух “берегов”, что свидетельствует не только о расширении диапазона восприятия личности и судьбы, но и о разной интерпретации трагедии писателя.

Особое место занимает статья Е.Д.Кусковой “Трагедия Максима Горького” (1954 г.), в которой предпринята попытка понять трагедию писателя как крушение надежд и чаяний русской интеллигенции.

“Теоретически, по своим песнопениям, и не только по “Буревестнику”, октябрьскую революцию он должен был принять *полностью*, — пишет она. — Однако, *полностью он ее не принял*. Это можно доказать многими фактами. В чем же дело? В том ли, что сильны были в нем пережитки эпохи прошлого или же сама революция дала такие скачки, такие пируэты, которые никак не гармонировали с романтизмом Горького? Задача, решение которой должно быть дано его биографами”².

Проблема, как видим, поставлена по существу, без каких-либо уступок на незыблемый авторитет Горького, который, естественно, ограничивал возможности биографов в изучении сложных проблем его мировоззрения. Теперь мы можем сказать, что как “скачки”, так и “пережитки эпохи прошлого” в сознании Горького (Кускова понимает под последним то, что объединяло писателя с интеллигенцией), объясняют “кризисные” моменты в его “потраченной” биографии. Взгляд Кусковой на “Россию советскую” и эмиграцию как на “сосуды сообщающиеся”, позволяет рассмотреть Горького в широком контексте истории отечественной литературы. Разделенная революцией литература, утверждает она, продолжала жить общими тревогами и болями интеллигенции и граница этого отторжения, приходящаяся и на творчество “несвоевременного” Горького, помогает понять истоки и масштабы трагедии “романтика революции”.

Трагедия Горького, начавшаяся с разочарования в созидательных силах Октябрьской революции, как показывает Кускова, сделала его позднее “полуизгнанником”, привела к “мизантропии”, а в 30-е годы завершилась “страшной гибелью” художника в условиях сталинской диктатуры. Таков бескомпромиссный вывод Кусковой, который одновременно воспринимается и как закономерный финал истории их многолетнего знакомства.

Обращает на себя внимание, однако, некоторая двойственность Кусковой, которой не удалось свести всю сумму разнородных впечатлений о писателе к общему знаменателю. Вера в Горького претерпела серьезные испытания, но не была разрушена до конца, ибо, как признается Кускова, “совсем умереть духовно Горький не мог: запас духовности в нем был все-таки большой”³. И поэтому она отводит обвинение Горького в “продажности” и пытается найти другие мотивы, побудившие его вернуться на родину. В качестве решающего аргумента Кускова использует суждения Ф.Шалапина, “единственный голос”, который заставил ее внести коррективы в интерпретацию трагедии художника.

В отклике на смерть друга, отвечая его оппонентам и недоброжелателям, Шалапин изложил свою версию его “падения”: “Чтобы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения, знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки,— все это имело один единственный корень,— Волгу, великую русскую реку и ее стоны... Если Горький шел вперед порывисто и уверенно, то это шел он к лучшему будущему для народа; а если он заблуждался, сбивался, быть может с того пути, который другие считают правильным, это опять-таки шел он к той же цели...”

Высказывание Шалапина Кускова сочла нужным прокомментировать следующим образом: “Шалапин — не писатель и не политик. Он — певец. Горького судят писатели и политики. Разница — большая. Но то, что сказал он о Горьком как

человеке, значительно и нужно”⁴. Тем самым Кускова пытается как бы выйти за пределы непримиримого спора “писателей и политиков” с Горьким и найти объективные критерии в оценке его позиции, констатировать неразрывность Горького-писателя и Горького-человека как необходимый фактор познания исторического значения драмы художника.

Важная роль в современном понимании Горького принадлежит мемуарам В.Ф.Ходасевича, в которых обнаруживается много общего с подходом Кусковой в понимании причин драмы художника и ее исхода, но главное внимание автора переключается на область познания его характера, психологии. В малодоступной для многих исследователей сфере Ходасевич пытается познать и объяснить Горького как писателя и человека. Созданный им проникновенный портрет относится к лучшим достижениям мемуарного жанра в обширной литературе о писателе.

Свою цель Ходасевич видит, однако, в том, чтобы не выходить за границы воспоминаний и предупреждает об этом читателя. “Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве”, — поясняет он и ограничивает себя кругом личных наблюдений⁵. Тем не менее мемуарист выходит за пределы поставленной задачи и придает своим заключениям концептуальный характер. Из мозаики бытовых зарисовок возникает образ Горького — “упорного поклонника и создателя возвышающих обманов”, — который помогает разобраться в “необъяснимых” противоречиях его натуры.

В пристрастии Горького к “возвышающим обманам”, к спасительной мечте, иллюзиям, Ходасевич находит опорные точки для того, чтобы распутать “крайне запутанные его отношения к правде и лжи”, показать движущие мотивы его поведения. Тема “правды” и “лжи” в мемуарах Ходасевича, как и в статье Кусковой, позволяет обнажить внутренние импульсы Горького. Он вспоминает: “От раннего, написанного в 1893 г. рассказа о возвышенном чиже, “который лгал”, и о дятле, низменном “любителе истины”, вся его литературная, как и вся жизненная деятельность, проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде”, — “Я искренне и неколебимо ненавижу правду”, — писал он Е.Д.Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ошетилившись, со вздутой на шею жилой, выводит эти слова”⁶.

Так полемические заметки Кусковой пересекаются с мемуарами Ходасевича в понимании исходных предпосылок трагедии Горького — “ненавистника правды”, которая освещается ими (применительно к 30-м годам) с позиций полной непримиримости и расценивается как духовная капитуляция художника.

Концепция Ходасевича тем не менее заключает в себе труднодостижимую попытку, исходя от конкретных штрихов об особенностях характера писателя, объяснить его трагедию в целом, в том числе и последних лет жизни. Ходасевич не

общался с Горьким в 30-е годы и его суждения о том, что писатель ради спасения “главной иллюзии своей жизни” (вера в революцию, социализм) “продался”, стал “рабом и льстецом” упрощают проблему, не подкрепляются личными воспоминаниями, или, как поясняет мемуарист, “выходят за пределы поставленной задачи”⁷.

Между тем в работах современных критиков и публицистов наблюдения Ходасевича нередко преподносятся как своего рода открытие. Так, например, Н.А.Богомолов полагает, что Ходасевичу удалось разгадать “целостный художественный феномен” Горького и объяснить его “склонностью к постоянному самообману”, убаюкиванию себя и других “высокими словами”, которая подготовила его “последующую трагедию”.

Свидетельства такого рода мы находим в работах и других авторов, где авторитет Ходасевича используется не столько для выявления противоречий личности и судьбы Горького, сколько для его развенчания как беспочвенного мечтателя. В своих выводах эти критики идут подчас дальше Ходасевича, доводят его пронизательные наблюдения до малоубедительного завершения и тем самым придают им характер безоговорочного осуждения Горького.

В.Костиков в статье “Иллюзион счастья” пытается представить Горького как “одного из творцов великой легенды о пролетариате, о новом человеке, рожденном революционной бурей” и в этом видит ключ для объяснения его трагической судьбы⁸. Аргументы он находит в мемуарах Ходасевича и, опираясь на них, утверждает, что Горький в последние годы “и сам сделался частью этой легенды — и автором, и актером в грандиозном социальном эксперименте, разыгрываемом на подмостках шестой части света”. Трактовка Горького как лицедея, актера была принята многими критиками и журналистами как доказательство глубокого постижения его “психологического феномена”.

Трагедию Горького Костиков усматривает в том, что писатель в последние годы жизни прозрел, осознал “иллюзион XX века” как крушение своих идеалов. Попытка представить Горького как банкрота, ставшего свидетелем краха своих упований и надежд, с нашей точки зрения, неубедительна, так как она противоречит тому, что мы знаем теперь о нем из опубликованных писем Горького к Сталину, Молотову, Ворошилову, Бухарину, Томскому и другим деятелям⁹. Они расширяют представления о драматической судьбе художника, позволяют понять его в противоречивой динамике идей и настроений, но убеждают в закономерности его финала вплоть до последнего часа жизни. Поэтому теперь важнее, чем когда-либо, осознать, что Горький умер с верой в историческую правоту своего дела и что без этой веры невозможно понять подлинный трагизм его бытия.

Развенчание Горького, ставшее для многих пишущих о нем журналистов и критиков данью моде и что называется призна-

ком хорошего тона, приводит к гипертрофированному восприятию личности писателя. В статье Л.Сараскиной, подсказанной мемуарами Ходасевича, образ “писателя возвышающих обманов”, осмысливается как “тема сдачи и гибели человеческого духа”. Горький рассматривается как апологет сталинской политики и характеризуется как “первый актер” из “дьяволова водевиля”, олицетворение “материализованной бесовщины”¹⁰. Сараскина обвиняет Горького во всех смертных грехах и учиняет над ним суд, используя те же аргументы, что и Богомолов.

В результате “тема огромная, тяжелая, трагическая”, как ее называет Сараскина, превращается в мрачный гротеск, а попытка объяснить мировоззренческую эволюцию Горького путем аналогии его с героями “Бесов” (Петр Верховенский) не помогает понять драму жизни художника, уводит от истины. За пределами сокрушительной критики остаются вопросы, недоумения и возражения. В самом деле, можно ли считать Горького “главным идеологом режима”, утверждать, как это делает Сараскина, не скупясь на эпитеты, что “самые черные, самые безумно-жестокое и отвратительно-циничные идеи и лозунги сталинской репрессивной машины апробировались, а затем и внедрялись в массовое сознание с подачи Горького”.

Вместе с мемуарами Ходасевича воспоминания Р.Роллана привлекли внимание критиков и литературоведов к малоосвещенным страницам биографии Горького, дополнили ее недостающими фактами¹¹. В отличие от Ходасевича Роллан имел возможность наблюдать за Горьким летом 1935 года, когда гостил у него в Горках. Восторженный прием, оказанный Роллану в нашей стране, не помешал ему за парадно-официальным фоном и шумными овациями подметить контрасты и противоречия как в жизни советских людей, так и в быту, окружении Горького, которые влияли на настроение писателя. В глазах своего друга и высокоценимого писателя Роллан увидел невысказанную грусть и утверждал, что “тайники его сознания полны боли и пессимизма”.

Подлинную трагедию Горького Роллан усмотрел в его человеческой слабости, в желании отгородиться от всего того, что было несозвучно его идеалам и настроениям, как бы передоверив свою судьбу влиятельным покровителям из своего окружения. Метафорический образ “старого медведя”, у которого на губе кольцо, предстает в его мемуарах о Горьком как символ слабости духа писателя. При всем различии мемуаров Ходасевича и Роллана в интерпретации трагедии Горького оба автора сходятся в признании того, что оказавшись на родине в атмосфере всенародного признания, он добровольно взял на себя роль человека “тщетно пытавшегося видеть в деле, в котором он участвует, только величие, красоту, человечность” (Роллан), и поэтому оказался в безвыходной ситуации¹².

Близость двух авторитетных свидетелей в понимании трагедии Горького, как видим, воодушевила критиков и дала им повод для маломотивированных оценок. Поэтому нелишним

будет напомнить, что включение нового, ранее недоступного материала предполагает его научное осмысление, соотнесение с уже освоенным документально-биографическим материалом. Исследователю важно при этом, не поддаваясь искушению “ниспровержения” известного классика, найти объективные критерии в характеристике его наследия, не сбиться на агрессивно-полюемический тон и поспешные выводы. К сожалению, многие критики не избежали этого соблазна и утратили ощущение целого в многосложной личности художника. Наблюдающееся стремление к тиражированию образа Горького, раскрытию его многоликости как средства познания его сущности не привело к плодотворным результатам.

Б.Парамонов мобилизует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы убедить нас в том, что Горький — “агрессивный плебей” с “комплексом неполноценности”, а причина его трагедии в совмещении в нем взаимоисключающих друг друга сущностей¹³. В “двоящейся и троящейся личности Горького” Парамонов обнаруживает то босяка, то интеллигента, то строителя типа Якова Маякина, которых писатель ненавидит в себе и в этом раздвоении критик находит проявление присущего ему “комплекса” Автор статьи утверждает, что состоящая из противоборствующих начал личность Горького, скрывает в себе потенциальную возможность для превращения в свою противоположность, и тогда просветитель, культуртрегер становится “насильником-комплексантом” Сомнительная логика Парамонова, оснащенная научно-философской терминологией, далеко уводит его от реальной фигуры художника, анализ сплошь и рядом подменяется весьма произвольными субъективными построениями и домыслами автора.

Современная критическая мысль в названных работах утратила общемировоззренческие ориентиры в подходе к анализу наследия Горького. Ее переориентация, к сожалению, проходит с издержками и непростительными просчетами. Истоки трагедии Горького нужно искать в национально-исторических условиях переломного времени, в катастрофических по своим последствиям столкновениях его идеалов с противоречиями этого времени, в личности самого писателя, взявшего на себя культуросозидающую миссию в эпоху войн, революций и массовых репрессий. Горький часто использовал крылатое выражение “между молотом и наковальней” для характеристики различных представителей интеллигенции, оказавшихся в обществе между противостоящими силами, но судьбоносный смысл этого афоризма можно отнести и к нему самому. Занятая Горьким позиция между правительством и духовной элитой, между большевизмом и радикальной интеллигенцией, обнаруживала нередко шаткость его положения, определяла “акты” всемирно-исторической драмы художника, ищущего пути “примирения” искусства и власти, культуры и политики, приводила его на разных этапах жизни к новым разочарованиям и надеждам.

В “зигзагах” биографии Горького, в “хаосе” его мыслей и чувств угадывается своя последовательность, идеи и принципы, которым он оставался верен, и завершающие его жизнь годы не являются исключением. Поэтому трудно согласиться с теми авторами, которые, демонстрируя преимущества раскрепощенного мышления, отказывают Горькому в понимании 30-х годов, выводят писателя за пределы гуманистической литературы. Позиция Горького, если посмотреть на нее глазами нашего времени, действительно, представляется противоречивой. Многие публицистические статьи Горького являют собой пример утомительно-однообразной дидактики, а некоторые из них (“Если враг не сдается,— его уничтожают”) воспринимаются ныне как доказательство нравственной ущербности художника. Их нарочитый морализм не производит должного впечатления на современников. Но позволительно ли судить о классике, принимая во внимание только факты, выявившиеся в период гласности, и отвлекаясь от обстоятельств минувшего времени. Из книг И.Шкапы, А.Орлова мы знаем, что тщательно разработанная система мер призвана была изолировать Горького от реальной жизни, от тех ее противоречий, которые могли нарушить душевный покой писателя, помешать сделать его послушником Сталина.

Однако сталинский план обольщения Горького натолкнулся на его сопротивление (несмотря на домашнюю цензуру, многие факты все же доходили до него). Горький явно не спешил реагировать на просьбы своего “покровителя”, а в ряде случаев отказывался от их выполнения. Отношения Горького и Сталина, несмотря на внешне благополучный характер, заключали в себе истинно драматическое содержание, без которого нельзя себе представить трагедию художника¹⁴. Историкам и литературоведам еще предстоит развязать тугой узел, связывающий этих совершенно непохожих друг на друга людей, для того, чтобы определить дистанцию между ними, выявить различие их подхода к интеллигенции, писателям, старым большевикам. Мемуарист И.С.Шкапа, близко знавший Горького, приходит к выводу: “Сегодня, когда думаю о Горьком, о поистине трагических последних годах его жизни, я понимаю, что живой Горький был не нужен Сталину, как человек совершенно полярный “вождю”¹⁵.

В этой ситуации Горькому важно было сохранить себя как личность, не потерять свое лицо, а для этого нужна была внутренняя сила, самообладание. Поэтому нельзя согласиться с интерпретацией Роллана, увидевшего в отсутствии этих качеств у Горького причину его душевных терзаний. Путь к недавнему прошлому для автора “Несвоевременных мыслей” был навсегда отрезан целой серией “покаянных” выступлений после возвращения в СССР, полным признанием ошибок и прославлением своих вчерашних оппонентов. Оставалось уповать на свои идеалы, мечты и на тот “оптимизм, который закрывал себе глаза”,

по словам Роллана, на все, что не укладывалось в сознании писателя.¹⁶

Именно в этом Горький находил силы для того, чтобы умирять бури в душе и сохранять канонический образ для миллионов людей. Маска была необходима для того, чтобы скрыть его трагическую раздвоенность, но было бы неправильным принимать ее за выражение истинной сути художника, его личность за своего рода созданную им же самим “массовую иллюзию”, неотъемлемую часть “золотого сна” для совершения лицедейства, на чем настаивал Ходасевич. В сознании Горького утвердилась подводящие итоги его жизни своя доминанта, вера в Россию, в ее народ, с которым его связывали, по справедливому мнению Шалапина, глубокие корни, неделимая судьба. Эта вера подавляла в Горьком его бывшие и вновь возникавшие сомнения и тревоги, позволяла чувствовать себя представителем народных масс и в годы сталинской диктатуры. Народная основа цементировала личность Горького, помогала подчас соединять в нем несоединимое, выдерживать психологические перегрузки времени.

Время ударных маршей и героических строек навязывало Горькому свои стереотипы, свои критерии и мерки, диктовало как бы свою волю, в которой трудовой героизм масс, их порыв в будущее трудно было отделить от сталинского курса на индустриализацию и коллективизацию, реальную личность Сталина от того символа веры, каким он становился для миллионов людей. Горький весь принадлежал своему времени и в нем нужно искать причины, позволяющие понять силу и слабость писателя, его достижения и заблуждения, его прозрения и иллюзии. Движение миллионов, строящих новую жизнь, завораживало Горького зримой реальностью и масштабностью и он готов был на многое закрывать глаза ради претворения своей мечты в реальность, ради главного, дела всей жизни.

Не стоит поэтому разочаровываться в Горьком и впадать в грех упрощения его трагедии, сводить ее к предвзятым обобщениям, сложное к простому, а исследовать с усердием неизвестные страницы жизни и творчества художника, в особенности архивные материалы. Не вина, а беда Горького была в том, что его статьи и афоризмы использовались для оправдания политики массовых репрессий, подавления всякого инакомыслия, свободы творчества. Специалистам предстоит многое изучить в биографии писателя, вдумчиво, не поддаваясь эмоциям, восстановить достоверную картину его жизни, понять пределы возможного и невозможного в его деятельности, познать истинный и глубоко поучительный смысл его трагедии.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ходасевич Владислав. Белый коридор. Воспоминания // Серебряный век.— Нью-Йорк, 1982; Кускова Е.Д. Трагедия Максима Горького // Но-

- вый журнал.— Нью-Йорк, 1954.— кн. 38; Вольский Н.В. Встречи с Максимом Горьким // Новый журнал.— Нью-Йорк, 1965.— кн.78.
- ² Кускова Е.Д. Трагедия Максима Горького.— С.231.
- ³ Там же.— С.240.
- ⁴ Там же.— С.244.
- ⁵ Ходасевич Владислав. Воспоминания о Горьком.— М., 1989.— С.14.
- ⁶ Там же.— С.16.
- ⁷ Там же.— С.46.
- ⁸ Костиков Вячеслав. Иллюзион счастья // Огонек.— 1990.— № 1.
- ⁹ Известия ЦК КПСС.— 1989.— № 1,3,5,7; 1990.— № 5,7,9,11; 1991.— № 6,8.
- ¹⁰ Сараскина Л. Страна для эксперимента // Октябрь.— 1990.— № 3.— С.168.
- ¹¹ Московский дневник Романа Роллана. Наше путешествие с женой в СССР. Июнь-июль 1935 // Вопросы литературы.— 1989.— № 5.— С.182.
- ¹² Там же.
- ¹³ Парамонов Борис. Горький, белое пятно // Октябрь.— 1992.— № 5.
- ¹⁴ См. публикацию: Горький, которого мы не знаем // Литературная газета.— 1993.— 10 марта.— С.6.
- ¹⁵ Шкапа И. Семь лет с Горьким.— М., 1990.— С.364.
- ¹⁶ Письмо Р.Роллана к М.Горькому от 3 февраля 1930 г. (Архив А.М.Горького).

МИФОПОЭТИКА М.ГОРЬКОГО (К постановке проблемы)

Мифопоэтика и ее категории (миф, мифомышление, художественный мифологизм, архетип, архаический ритуал, “поэтический космос”, “народно-мифологический слой” произведения и весь комплекс “мифологического”) введены в исследование художественной системы Горького, его эпики — “малого эпоса” “Мать” и философской прозы — социально-философского романа “Жизнь Клима Самгина” с целью выработать и обосновать предлагаемый автором статьи методологический подход к поставленной проблеме. Понятие и термин мифопоэтика уже обрели статус общенаучных, но их употребление в современном литературоведении намного опережает теоретическую разработку и методологическое обоснование соответствующего понятийно-терминологического аппарата. Мифологизм в литературе — понятие типологическое, и учеными выявлено уже несколько его национально-исторических типов. Однако и у нас, и за рубежом мифопоэтика традиционно обращена к изучению нереалистических направлений — декадентства, авангардизма, модернизма и пр. /“текст-миф” символистов, мифологизм футуристов, художественно-эстетическая модель мира в русском экзистенциализме и т.д./. Лишь в последние два десятилетия ученые обращаются к анализу мифопоэтики реалистических произведений — эпики и философской прозы, прежде всего философского /интеллектуального/ романа. Категориями мифопоэтики охватываются сущность и закономерности бытования художественного мифологизма, “народно-мифологического слоя” произведения, “поэтического космоса”, глобальной картины мира, художественно-эстетической модели мира в произведениях писателей XX века.

По критерию и на уровне мифопоэтики в историко-литературном процессе двух последних столетий различаются /генетически, содержательно, функционально и т.п./ реалистические эпика и философская проза. В реалистической философской прозе модель мира выстраивается антропоцентрически; в эпике поэтический космос характеризуется антропокосмизмом, ему свойственен онтологизм, представления о единстве космоса и человека в нем, равновеликость макрокосма и микрокосма,

через их изображение решаются вечные вопросы о бытии человека и Вселенной.

В реалистической эпике двух последних столетий поэтический космос восходит к первобытному мифу и архаическому ритуалу — через их опосредование мифопоэтической моделью мира; в исторической и народно-национальной трансформации он художественно воссоздается в тексте, структуре, повествовании и произведении писателей-эпиков, чье творчество порождается в основном земледельческой культурой и цивилизацией, восходящими к Матери сырой Земле, простору-пространству и другим основным мифологемам и бинарным оппозициям первобытного мифа. Средством художественного воплощения поэтического космоса предстает мифологизм эпики, ее “народно-мифологический слой”.

В отличие от эпики в философской прозе XIX—XX веков “поэтический космос” воссоздается как художественно-эстетическая модель мира, восходящая к мифопоэтической модели мира, опосредованно через нее вбирающая первобытный, языческий и монотеистический миф и ритуал; эта модель мира антропоцентрична, ибо в философской прозе — онтологической и гносеологической — космос, включающий социум, познается и существует через сознание и самосознание человека. Фундаментом философской прозы служит урбанистическая цивилизация, породившая моделирование, но и восходящая к древнему архетипу града, огороженного пространства человеческого поселения во Вселенной и т.п. Это своеобразие мифопоэтики философской прозы столь принципиально и существенно, что ее авторами типологически сходная структура художественно-эстетической модели мира сохраняется и для поэтического космоса их эпики; это выявляется во всех аспектах мифопоэтики — “модели мира”, “образе автора” и “точке зрения” Художественная система М.Горького в этом аспекте наиболее репрезентативна.

Своеобразие художественной системы М.Горького — среди писателей-современников и последователей — состоит в том, что в ней по принципу дополнительности функционирует эпика всех жанровых разновидностей, прежде всего эпопея, и философская проза, прежде всего роман: для эпики характерно бытование “поэтического космоса”, для философской прозы /всех жанровых разновидностей, а также философской драмы и даже поэмы “Девушка и смерть” и др./ — художественно-эстетической модели мира.

В структуре и тексте эпики и философского романа XX века своеобразно соотношены “социально-актуальный слой” с “народно-мифологическим слоем”, генетически восходящим к первобытному мифу и удерживающим на протяжении всей истории культуры свойственную ему систему мифологем и их бинарных оппозиций. Последние взаимодействуют в произведении с общественным сознанием, социальной, этической и философской проблематикой — “социально-актуальным слоем” — эпохи

кризиса аграрной и становления урбанистической цивилизации, порожденных им /кризисом/ трагических социальных потрясений и всемирно-исторических переломов, характеризующих XX век. Тем самым в тексте, повествовании, структуре горьковского произведения создаются поэтический космос или художественно-эстетическая модель мира, обладающие общечеловеческой значимостью и всемирно-историческим смыслом. Через них прочитывается и анализируется автором статьи национальный образ России в эпике и философском романе Горького, его поэтический космос как всечеловеческий, что представляется особо значимым и остро актуальным для сегодняшней социокультурной ситуации у нас в стране и в мире.

Поэтический космос “Матери”, пути и способы его создания сориентированы Горьким не на первобытный миф и архаический ритуал, к которым генетически восходит земледельческая цивилизация, и не на языческие мифы, вбирающиеся в него опосредованно через фольклор, а на мифы раннего христианства, апокрифы, прежде всего о хождении Богородицы по мукам, народно-социальные утопии, духовные стихи и другие пласты низовой /демократической/ городской культуры, на которые опирается и богоискательство писателя, в “малом эпосе” выраженные прежде всего в духовных странствиях и слове Матери. Через посредство становящейся личности Матери и внутри нее синтезируется мир. В героической повести Горького “поэтический космос” воссоздается не в традиционном объективном эпическом повествовании /как у М.А.Шолохова/, а во внутренних монологах и несобственно-прямой речи Ниловны; через ее видение, восприятие и оценку изображены мир и жизнь: “Мать слышала его слова точно сквозь сон, память строила перед нею длинный ряд событий, пережитых за последние годы, и пересматривая их, она повсюду видела себя. /Выделено мною.— А.М./ Раньше жизнь создавалась где-то вдали неизвестно кем и для чего, а вот теперь многое делается на ее глазах, с ее помощью. И это вызывало у нее спутанное чувство недоверия к себе и довольства собой, недоумения и тихой грусти...”¹.

В первой части повести Ниловна видит дом, фабрику и слободу как человеческое поселение на земле; как модель мира она увидит слободу только покидая ее.

Дом — в мифопоэтической традиции — предстает образом обжитого и упорядоченного мира, в нем постепенно и трудно устанавливается душевный лад и духовный порядок, ограждающие дом от хаоса в противоборстве ему. От “этого дома”, по слову Матери, начинается ее путь в Мир, путь Павла и собранных им в доме товарищей как Жизнь и Судьба. Маленький дом на краю слободы, у обрыва к болоту и лесу в трудной борьбе превращается из профанной периферии в сакральный центр, к нему ведут все дороги, и от него расходятся все пути, вокруг него, как Мировой оси, вращается жизнь не только слободы, но и всего мира. Дом становится символом мудрости как мироустроительницы /”Премудрость построила себе дом...”

Притчи 9,1/, он соединяет тех, кто понял правду и стоит за нее. Потому дом космоизируется, он расширяется до Мира, выстроенного премудростью — не божьей, но человеческой, потому и объединяет в себе Сердце Матери и Разум Сына и его товарищей. Во второй части поэтический космос предстает как путь матери — жизненный и духовный. Этот путь начат ею еще в первой части дорогой на фабрику /этим путем рабочих Горький начинает повествование/, а его кульминацией становится Первомайское шествие. Вторая же часть вся целиком — это путь Матери в пространстве, от дороги в город до последней дороги в слободу с речью сына, ее крестного пути. Путем Ниловны собирается все пространство — город и городская квартира, тюрьма, улица, кладбище, зал суда; село и дегтярный завод, постоянный двор, крестьянская изба; и последняя остановка в пути — вокзал. В природном космосе второй книги сакральным центром изображен город /зал суда и вокзал/, сакральной периферией — деревня, и основная сакральность заключена в дороге, странствиях и мытарствах Матери, Сына, Андрея, Рыбина, Егора Ивановича, Софьи и других. Возникает космос в “эпической полноте объектов”, как Универсум, а потому складывается и новый член бинарной оппозиции земля-город; им изображена Россия и основной мировой ориентир в ее космосе — горизонталь /дорога, путь/. Так будет выстроена впоследствии и модель мира в философской прозе, прежде всего в романе “Жизнь Клима Самгина”; в философской драме сохранится принцип космоизации дома, характерный для ранней прозы и “Матери”.

Но это не только горизонтальное движение, вбирающее пространство, это вертикальное движение — духовное становление личности Ниловны, рост ее сердца и души. “Трудность пути — постоянное и неотъемлемое свойство: двигаться по пути, преодолевать его уже есть подвиг, подвижничество со стороны идущего подвижника, путника”². На таком пути достигаются высшие сакральные ценности, преодолеваются препятствия, что изменяет статус человека, становящегося подвижником и героем. Этому пути причастны Павел и его товарищи, Рыбин, все, кого собрал и соединил ради Правды путь Матери. И все странствия предстают духовным Путем /лестницей/ Матери, Павла и рабочих, Рыбина и крестьян, интеллигенции, русского народа. Путь Матери и Сына рассекает и собирает на себя народ, Россию, как и в социально-философском романе “Жизнь Клима Самгина”, но там это не путь центрального персонажа (Климу Самгину дано местопребывание), а путь народных масс, собирающий на себя Россию. Как и в повести, отодвигаются в профанную периферию “хозяева” жизни и мира, уже обречшие себя на гибель, накопив злобы, которая на них падет — “Несчастные!..” — по последнему слову Матери. Следовательно, в тексте Дом и Путь воссозданы как мифологемы и мировые символы /по А.Ф.Лосеву/.

В художественной цельности произведения с Матерью — и только с ней! — сопряжены все мировые стихии: Огонь /искры,

солнечный свет, звезды, костер и т.д./; Земля /твердь, дорога, улица, площадь и пр./; Вода /болото, снег, снежинки и пр./; Воздух /масляный и жирный воздух фабричной слободы, свежий и чистый — в лесу, и пр. Ветер — зимний, осенний, холодный, белый, косматый, враждебный, слепящий и пр./. Все природные стихии для Ниловны и революционеров обретают значение мировых символов: огонь разума, свет правды, изгоняющий темноту, освещая божий дом — землю; каждый из людей будет как звезда перед другим и т.д. Мифологемы во всем их сложном и многозначном концептуальном значении и цельности, а не только ключевыми словами, предстают в тексте и структуре произведения Сердце Матери и Разум Сына в их драматически сложном взаимодействии. Сердце и Разум противодействуют, не понимают друг друга, причиняя страдания сердцу; но оно /сердце/ и воспринимает разум, горящий огнем правды, и первую речь о правде Павел произносит перед матерью, потом уже говорит ее другим. В пространстве текста сердце и разум еще не раз будут сталкиваться в драматически острых коллизиях, но сама жизнь приведет их к окончательному единению, когда Мать принесет в жертву свое Сердце ради торжества Слова /Логоса, Разума, Мудрости/ Сына. В этом нелегком пути становится и Мудрость, Разум Матери, с этой точки зрения выстроен весь текст, прежде всего финал, где героическая гибель Матери показана через ее сознание и в таких муках искавшееся и найденное последнее Слово. Именно потому путь Матери еще и путь от страха к бесстрашию, от лжи жизни /ложной жизни/ к истине и правде-справедливости, от природного /естественного/, хотя и искаженного “черной жизнью”, к социальному, к культуре. Это путь воскресения человека.

И это делает типологически сходными изображения поэтического космоса (через текст, тип повествования, точку зрения в структуре, два “слоя” произведения)- в эпопее /”малом эпосе”/ “Мать” и модели мира в социально-философском романе “Жизнь Клим Самгина”; но это же отличает изучаемые произведения от социально-психологической прозы писателя, сближая их с автобиографической трилогией и примыкающими к ней рассказами, по типу повествования и образу автора тяготеющими к философской прозе. Продолжая традиции своей ранней новеллистики, Горький в прозе послеоктябрьской резко усиливает ее философский потенциал, поставив уже целью и задачей решение собственно философских проблем в художественной форме.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А.М.Горький. Собр. соч. В 18 т.— М.: ГИХЛ, 1960.— Т.4.— С.331.

² В.Н.Топоров. Пространство и текст. // Текст: Семантика и структура.— М., 1983.— С.259.

РОЛЬ М. ГОРЬКОГО В МОДИФИКАЦИИ ФИЛОСОФСКОГО РОМАНА XX ВЕКА

Противостояние в русском обществе, исторически сложившееся в XX веке, затрудняло или делало односторонними оценки многих литературных явлений, в том числе взаимосвязи М. Горького с таким широким явлением, как модернизм. И, конечно, не случайно, писательница первой волны русского зарубежья Н. Н. Берберова видит лишь “злобу”, которую испытывал Горький к художникам разных времен, так или иначе стоящих на “авангардистских” — по отношению к классическому реализму — позициях.

Однако, примечательны “взаимоотношения” Горького, например, с экспрессионизмом. Та же Н. Н. Берберова неоднократно подчеркивает близость его к Герберту Уэллсу, который говорил, что “его воля — сильнее реальности и разум — единственное божество”. “И к реальности и к разуму Горький относился точно так же. Он признавался, что всю жизнь “менял факты” так, как ему это было нужно”¹.

На самом деле, можно заметить, как в творчестве Горького наблюдается в разное время в разной степени — большое стремление к выражению (*expressio*), не уступающему изображению, а иногда и превалирующему над ним. Отсюда — нередко тяготение к заостренному выражению авторской идеи и столкновению, “диспуту” идей (последнее особенно характерно было для романов Достоевского). В письме к Л. Андрееву в 1902 году Горький нацеливает писателя на своеобразное облачение в одежде тех “спутников человека”, которые оформились в нравственно-философские системы: “Ты — пиши, знай. Пощипли “Мысль” мещанскую, пощипли их Веру, Надежду, Любовь, Чудо, Правду, Ложь — ты все потрогай!”². Эволюционирующей к экспрессионизму Андреев так и называет свой рассказ 1902 года — “Мысль” Здесь главной героиней стала Мысль, та, что сначала вознесла нищего до доктора Керженцева “на вершину высокой горы”, откуда было видно ему, “как глубоко внизу копошились людишки” “с их вечным страхом перед жизнью и смертью”³, и которая затем (это уже андреевское) “изменила” ему, вырвалась из-под его контроля, поставила его на грань шаткой относительности между нормальным и ненормальным.

Сам Горький, тоже в форме торжественного речитатива, прибегая к условной форме искусства, в поэме "Человек" (1903) противопоставляет "Мысль" Человека "спутникам его творческого духа" — Любви, Надежде, Ненависти, Вере и вечному спутнику Человека "немой и таинственной смерти" "Мысль" здесь (и это уже горьковское) — "подруга Человека", она "в борьбу вступает и со Смертью".

Можно также кратко, штрихом обозначить и другую "крайность" в концепции человека, также влиявшую на творческий метод писателя. Так, наряду с гимном беспредельным возможностям человеческого разума, Горький, как и представители многих модернистских течений, нередко склонен был констатировать в своем художественном творчестве не только детерминированность (обусловленность средоу) человеческой психики, но и наличие трансцендентных, находящихся за пределами познания "потемок души". Последнее явно роднит его с Достоевским, который писал брату: "Человек есть тайна. Ее надо разгадать — я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком"⁴. Горький также напишет в одном из писем к Ромену Роллану о том, что всегда хотел быть исследователем "тайн души человеческой, загадок жизни".

Так уже в 90-е годы XIX века можно наблюдать не только тяготение к символизму в романтике Горького, но и стремление проникнуть в "тайны души человеческой". В сюжете рассказа "Коновалов" (1897) можно, пожалуй, как и "Записках из подполья" Достоевского, наблюдать своего рода эксперимент. Здесь человек по причинам, так же не поддающимся познанию, разрушает свой "хрустальный дворец" (свое возможное светлое будущее), опровергает формулу "дважды два четыре". На самом деле: почему пекарь Коновалов, добрый "философ", любящий природу, жалеющий людей, Капитолину, "вдруг" (совсем, как у Достоевского) "сходит с круга", оставляет Капитолину, превращается в "босьяка" и, наконец, добровольно уходит из жизни?

В рассказе того же года "Супруги Орловы" оправдывается формула Мити Карамазова: "Бог с дьяволом спорит, а поле битвы сердца людей". Это одновременно и беспредельная любовь и нежность и — зверские запои и побои. Это и нелогичность поведения: Матрена терпит и прощает, когда, казалось бы, не следовало прощать, и не прощает тогда, когда это было необходимо, когда Григорий стал другим и когда замаячил для них "хрустальный дворец" (в виде работы и уважения в холерном бараке). В итоге — своими руками разбитые жизни. Итак, тайные, непознанные пружины человеческого сознания и подсознания, человеческой психики на грани нормального и ненормального.

В 20-е годы XX века, когда особенно обостренно велись дискуссии вокруг человека, возрос интерес к учениям о двойственности человеческой психики, когда человек стал особенно пристально просматриваться с точки зрения не только созна-

ния, но и подсознания, в том числе в прозе Л.Леонова, Б.Лавренева и других, Горький также включается в общий поток творческих поисков. Именно тогда пишет он рассказ “Отшельник” (1923), в герое которого соединяются несоединимые, с точки зрения логики крайности: неисчерпаемая любовь Савелия к людям и та крайне безнравственная жизнь, которую он прожил. Рассказ “Сторож” (1923) из цикла “Автобиографических рассказов” также повествует о соединении в человеке (в служащих железнодорожной станции — участниках ночных оргий “Монашья жизнь”) несоединимого: “божественное” преклонение перед красотой песни и пляски и дьявольское, которое “жило, ворочалось” — “что-то темное, страшное”, так что автор-повествователь “чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное”.

Итак, Горький, как видим, всегда был в “контексте” творческих поисков в искусстве, что и сказалось благотворно на культивированном и утверждаемом им типе философского романа XX века.

Что же он утверждал, в чем специфика его романа? Что он сам наследовал и какое наследство он нес писателям русской и мировой литературы?

Историко-литературная наука проделала большую работу по выявлению творческих связей Горького с его предшественниками от Пушкина до Чехова и Короленко. Раскрытию темы “Горький и Достоевский” долгое время мешала мысль о преимущественно негативном якобы отношении Горького к этому великому классику русской литературы. Однако воздействие Достоевского на литературу XX века не было столь объемлющим, если бы оно не усиливалось также через авторитетную горьковскую традицию.

Думается, будет не парадоксальным утверждение, что из двух гениев, которые, по выражению Горького, “потрясли весь мир”, Достоевский был ему ближе, чем Толстой. Как ни глубоко человечны поиски правды Константином Левиным или Дмитрием Нехлюдовым, они проходят в условиях не столь катастрофических, как в романах-трагедиях Достоевского. Искатели истины и правды у Толстого по этой причине не стоят на острой грани борьбы сознания, в то время как ищущие и страдающие герои Достоевского всегда стоят перед выбором “Pro et contra” (“За и против”) — такое название большого раздела романа “Братья Карамазовы” — свидетельство тому. Обостренное чувство необходимости выбора, постоянное напряжение и “страдания разума” порождали и психику “на пределе”, “на грани”.

В романах Достоевского давно выделено их идеологическое начало как напряженнейшая “битва идей”. Однако “битва идей” присутствует почти в каждом значительном произведении. Величие Достоевского в том, что он, синтезировал социальное, философское и психологическое начала, развернув “битву идей” общечеловеческого содержания, где проблемы

познания, веры, нравственности, идеала поднимаются до уровня последнего логического предела, — сделал эту “битву” организуя стержнем своих романов. При этом он не хочет ждать тех сумерек, когда, по крылатому выражению Гегеля, вылетит сова Минервы, он хочет понять логику истории и морали сейчас, в эпоху ломки, хаоса, брожения. В “Дневнике писателя” Достоевский выделяет “жизнь разлагающуюся” и “жизнь вновь складывающуюся” и задает вопрос, кто же “хоть чуть-чуть может определить и выразить законы этого разложения и нового созидания”

В романах Достоевского в меру своей культуры, положения и возраста философствуют почти все герои: и главные (в “Братьях Карамазовых” это Иван и Алексей Карамазовы, старец Зосима и др.) и герои “второго” ряда (старик Карамазов, Смердяков) и “третьего” (госпожа Хохлакова, подростки Лиза Хохлакова и Коля Красоткин) и т.д. Этот вихрь идей предстает в своей неслаженности, противоречивости, бурных противоборствах, без полного “разгрома противника”, без наличия победителей.

В таких “романах-трагедиях” можно наблюдать тяготение к драматургическому роду поэзии, и в этом их специфика, отличающая их от типологически родственных им романов Толстого — тоже специально-философских и психологических. Здесь ослаблен бытовой рисунок, подчиненную роль играет любовная коллизия; почти полностью исчез пейзаж.

Философский аспект всегда был ведущим в творчестве Горького, в том числе и в автобиографической трилогии: жизненные университеты Алеши Пешкова — это не только сопротивление окружающей среде, но и поиски самого главного — организующей человека идеи. К итоговому своему произведению, самому “рационалистическому” роману Горький шел всем своим предыдущим творчеством. И не случайно сам писатель предупреждал, что “Жизнь Клим Самгина” — это роман не для всех: его чтение предполагает у читателя наличие определенной философской культуры. Не случайны также и такие признаки — “спутники” философского романа, как, во-первых, отсутствие внешней сюжетной занимательности (здесь Горький не наследует дар Достоевского творить остросюжетный, “детективный” роман, видимо, потому, что тяготеет все-таки не к роману-трагедии, а к эпическому освоению мира, где все трагические фигуры не в центре повествования, в центре же — “заурядгерой”). Здесь, далее, из художественного контекста почти полностью исключен быт, к минимальному количеству сведены любовные коллизии и играют подсобную роль в высвечивании и уточнении той или иной идеи, волнующей персонажей; минимальное место занимает в тексте и пейзаж (в большинстве случаев это справки о сезонном времени действия).

Горький неоднократно подчеркивал, что его интересуют прежде всего “вопросы коренные, вопросы духа” Эти вопросы и явились организующим началом “Жизни Клим Самгина” —

самого “интеллектуального” произведения в творчестве писателя, где искусство органически связано с философией, стремящейся пролить свет не только на многие социальные явления, но и на самые темные закоулки психики человека: здесь перед нами, как и у Достоевского, гениальный синтез социального, философского и психологических начал.

Вместе с тем можно вычленить и то, что делает Достоевского Достоевским, а Горького — Горьким, то есть то, что формировало новую, уже горьковскую традицию. В романах Достоевского акцент на нравственно-философских проблемах, хотя он пытается просмотреть и философско-исторические тенденции в развитии общества и всего человечества (много значит в этом отношении хотя бы Легенда о Великом инквизиторе и Христе в структуре романа “Братья Карамазовы”). У Горького философско-исторический аспект превалирует над нравственно-философским (хотя последний и играет немаловажную роль в романе). Не случайно “битва идей” у Горького перерастает в “битву” целых оформившихся философских систем (именно по этому пути пойдет, скажем, Томас Манн в своем романе 50-х годов “Доктор Фаустус”).

Тяготая к роману-трагедии, синтетический роман Достоевского стремится к сжато-хронологически-времени действия (эпическая полнота изображения, — как в пространстве, так и во времени, — достигается здесь емкостью художественного образа и путем введения так называемых “двойников”, о чем мы скажем ниже.). Горький же не только использует емкость образной типизации и прием введения “двойников”, но и осуществляет эпическую полноту также и иным путем — энциклопедическим показом жизни многочисленных слоев общества на фоне конкретных исторических событий, на большом промежутке времени (40 лет). Стремление к исторической конкретике и большому охвату действительности будет также характерно для романа XX века. Так, например, действие романа Томаса Манна “Доктор Фаустус” в основном также проходит в течение 40 лет (эпilog — похороны героя через 10 лет — не в счет, поскольку главный герой Адриан Leverkюм, в безумии, прекратил на оставшиеся 10 лет свои решения “вопросов коренных, вопросов духа”).

Наконец, можно выделить и ту историческую перспективу, которая венчает роман Горького: она конкретна, опирается на судьбоносные для России переломы истории. У Достоевского — вера (в общих чертах) в нравственное перерождение в “Преступлении и наказании” (“его воскресила любовь”), надежда на “деятельное добро” в “Братьях Карамазовых” (мальчики у большого камня, после похорон Илюшечки Снегирева, откликаются на призывы Алеши Карамазова посвятить свои жизни добру).

Перевод нравственных решений в плоскость конкретно-исторических судеб своей страны будет характерен для многих философских романов XX века. Это можно видеть и в указан-

ном романе Т. Манна, где писатель, наследуя традицию романа Достоевского, одновременно в чем-то идет в русле традиции Горького (не случайно он скажет: “Достоевский — но в меру”): трагедия композитора Леверкюна тесно сплетена с конкретно-исторической трагедией Германии, несущей вину перед самой собою и народами Европы; повествователь, друг Леверкюна, молит о “чуде” — “боже, смилуйся над бедной душой моего друга, моей отчизны!”⁵.

Особого внимания заслуживает проблема образной типизации в романах Горького: он также наследует специфику романов Достоевского и, одновременно, утверждает свою, горьковскую. Насыщенность романов Достоевского философским содержанием обусловила некоторые существенные особенности в способах типизации жизненного материала, которыми пользовался художник. Синтезирование в образе сложнейшей философской, широкой социальной и глубокой психологической сущностей предполагало предельное расширение объема образа — нередко до границ “всечеловеческого” символа: образ вбирал в себя не только национально-русское, но и мировое содержание, не только драмы данного периода истории, но и целой эпохи, еще не завершенной и до сих пор. Именно в этом плане — и только в этом — следует говорить об эпическом начале в романах Достоевского.

Именно эту традицию Достоевского воспринял и развил Горький. В самом деле, очень трудно, например, ответить на вопрос: какая “социальная” (то есть групповая) сущность типизирована в образе Алеши Пешкова? Поразительна широта и глубина исторической, философской и психологической обобщенности образа Клима Самгина. На почве какой национальной культуры на протяжении очень большого отрезка времени не дебатировались и до сих пор не дебатуются “фразы” Клима Самгина, вроде таких, как: “человек только тогда свободен, когда он совершенно одинок” или “социальные драмы — ничто в сравнении с трагедией индивидуального бытия” и многие другие?

Весьма значительное место в решении вопроса о восприятии и развитии литературной традиции в философском романе XX века занимает проблема так называемого “двойничества” как способа конструирования художественного образа.

Сам прием “двойничества” или “зеркальности” не являлся открытием Достоевского, его неоднократно использовали художники и ранее, как в западноевропейской, так и в русской литературе. Но только в творчестве Достоевского он стал органической и важной частью самой системы художественного мышления, принципом построения образа. Прием “двойничества” свидетельствовал как об устойчивости индивидуального стиля писателя, так и о тяготении его романов к драматургическому роду поэзии: он стремится персонифицировать не только возможные, развитые до логического конца черты, лишь намеченные в главном герое, чаще — в его “идеѐ” (сочетания типа:

Раскольников — Свидригайлов — Лужин, или Иван Карамазов — Смердяков), но и объективировать, персонифицируя, внутренние противоречия героя (сочетания типа: Иван Карамазов — чёрт — Великий инквизитор). Одновременно писатель расширяет рамки охвата действительности, выявляя социальную, философскую, психологическую почву и историческую перспективу осуществления на практике “идеи” главного героя.

В “Жизни Клима Самгина” прием “двойничества” является непрерывно действующим принципом построения образа Клима Самгина и одновременно поразительно емким способом расширения энциклопедического или — на языке искусства — эпического содержания романа. О близости Горького к Достоевскому в художественном использовании приема “двойничества” свидетельствуют “вещие” сны Голядкина-старшего о “совершенно подобных” из повести “Двойник” и Клима Самгина (тоже о “совершенно подобных”): трудно отрицать их общность как “жанровую”, так и смысловую. При создании образа Клима Самгина Горький широко пользовался приемом “подстановки” к герою так называемых “параллельных” образов — “двойников” (Томилин, Безбедов, Козлов, Нехаева, Митрофанов, Никонова). Горький развивает эту традицию Достоевского, наполняя “второй” образ более широким социальным и конкретно-историческим содержанием. Вместе с Горьким этот прием осваивали Л.Андреев, Л.Леонов, М.Булгаков, Томас Манн и другие.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Берберова Нина. Железная женщина.— М., 1991.— С.300.

² Горький и Андреев. Неизданная переписка. // Литературное наследство.— М., 1965.— Т.72.— С.150.

³ Андреев Леонид. Полн. собр. соч. В 8 т.— Спб., 1915.— Т.2.— С.134.

⁴ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т.— Л., 1985.— Т.28.— С.63.

⁵ Манн Томас. Доктор Фаустус. // Собр. соч. В 10 т.— М., 1960.— Т.5.— С.658.

М.ГОРЬКИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ НАЧАЛА ВЕКА (1898-1904)

Проблема “Писатель и общество” Было время — делался акцент на второй части проблемы, в наши дни — конечно же! — на первой. Сегодня рассуждать о писательской личности, абсолютно свободной от каких-либо внешних влияний, повинующейся лишь внутреннему голосу и провидению — значит просто повторять очевидное.

Однако всегда был и остается вопрос, а что же общество? Как оно ведет себя по отношению к писателю? Если рассматривать вопрос не теоретически, а исходя из конкретной историко-литературной ситуации, то окажется, что общество как бы и не чувствительно к тому, что для художника является главным — его суверенность. Оно правит свой бал, и даже предъявляет писателю требования, не считаясь, вправе ли оно так поступать со своим кумиром. Пример Горького — наглядное тому подтверждение.

В 1900 г. Меньшиков признавал: “Он (Горький — С.З.) всем нужен, все зовут его в свидетели, как человека, видевшего предмет спора — народ”¹... Почему Горький, а, скажем, не другой современник — Лев Толстой? Вот уж кто знал народ! К голосу Толстого прислушивался весь мир. Как на один из примеров действительности его нравственно-философских идей в мировом масштабе можно указать на гандизм — учение Махатма Ганди, состоявшего с середины 90-х годов в переписке с русским писателем. Находясь под сильнейшим воздействием Толстого, Ганди впоследствии успешно осуществил в Индии программу ненасильственного национально-освободительного движения.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что и в России авторитет Толстого был непререкаем. Вот результаты одного из социологических опросов, по которому читателям предлагалось назвать десять величайших современников планеты. Первое место занял Лев Толстой. Горький — третье, пропустив вперед Эдисона, Чехов — одиннадцатое². Видимо, такова уж особенность общественного сознания: осознав, что заимело гения, общество как бы удовлетворенно успокаивается на этом. В журнально-газетной периодике то и дело проскальзывала мысль: люди давно внимают учению Толстого, но пришло новое

время, и его настроение ускользает от великого писателя и философа. А.Волынский в своей “Книге великого гнева” написал об этом так: Толстой находится “в самом центре современных духовных движений, но стоит в этом центре неподвижно, как большой камень, через который хлещут живые молодые волны”³.

Сегодня, оценивая подобные суждения, можно было бы отметить самонадеянность молодых волн, беспечно пробежавших мимо такой глыбы, как Лев Толстой. И не только. Обходили эти волны и завещанное Достоевским, и богатейшее, накопленное к началу нового века, наследие русской философской мысли.

Видимо в общественном развитии неизбежен момент, своего рода полоса нетерпения. Общество как бы обременено своим духовным достоянием. Достояние это требует кропотливой, настойчивой работы, которая не дает скорых результатов в обновлении нравственной атмосферы и улучшении социальной ситуации. Соотечественники хотят быстрее получить ответы на наболевшие вопросы. И здесь именно Горький, его идеи и образы оказались тем желанным ферментом, который привел общество в брожение. Понятно, почему Зинаида Гиппиус, сравнивая Горького с Чеховым в части постановки так называемых “назревших” вопросов, отдает предпочтение первому: “Он (Горький.— С.З.) “в самый центр” попал ... он гений, тот гений, который теперь нужен нашей вопросной литературе. Его хотели — его получили, он есть, он пришел Горький — та пища, которая кажется теперь вкуснее хлеба насущного”⁴.

“Вопросная литература” исподволь готовила такое совпадение читательского ожидания и писательской устремленности. Если в первой половине XIX века Гоголь мог меланхолически заметить “скучно на этом свете, господя”, то уже Чехов в конце века устами своего героя выразился со всей определенностью: “нет, больше так жить невозможно”. Правда, осуществление своего идеала Чехов связал с дальней перспективой, с жизнью, которая наступит “через двести, триста лет”; но есть у Чехова и мотив, выражающий охватившее общество нетерпение. Имеется в виду знаменитый вопрос-метафора из рассказа “Крыжовник”: “Есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам, или затянет его илом, в то время как быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост?”⁵.

Мысль о возможно быстром преодолении сущего, как говорится, носилась в воздухе порубежного времени. Представляется, что и широкое тогда увлечение в России философией Ницше подпитывалось надеждой на ускорение общественного прогресса. Идея рывка — от простого человека к ницшевскому сверхчеловеку — это было в духе времени.

Итак, Горький максимально обостряет чеховскую формулу. Вместе со всеми героями-босяками писатель как бы удаляется

за пределы действительности, становится на обочине ее и заявляет, что это вообще не есть жизнь. Что нужна другая жизнь — или никакая. Горький, отмечалось в одной из статей, бросил дерзкий вызов обществу, изолгавшемуся в своих добродетелях и пороках, спросил его: “Почему вы так довольны собой и в то же время боитесь всего, точно совершили какое-нибудь преступление? — И в этом вопросе слышится упрек и негодование”⁶. Никто из собратьев Горького не говорил со своими современниками так вызывающе, не указывал на царящие в обществе лживость и лицемерие. Хотя, казалось бы, раздавались голоса и из довольно высоких сфер. В одной из статей приводились слова из речи обер-прокурора Синода Победоносцева: “не внешние враги страшны, а внутренние, ложь — ложь, с которой нас уверяют, что все везде обстоит благополучно”⁷.

Но, видимо, для потрясения нужно слово художника. Поднатрещивший читатель открывал в рассказах Горького характеры, доселе ему неведомые. Дело, конечно, не в босяке как социальном типе: здесь-то совершенно никакой новизны не было. Как справедливо заметил Чуносков (Ясинский), если бы Горький был “певцом” босяков как таковых — он не поднял бы читателя!”⁸. Герой Горького поразил публику необычайностью своего нравственного статуса. Изгой общества, человек “бывший”, поверженный, падший, — и вдруг — такая властность натуры, если хотите — аристократизм духа, жажда свободы, презрение к благам “культурной” среды, отсутствие страха, даже страха смерти. Главное — их принципы трудно оспорить, ибо горьковские персонажи — маргиналы, обычные критерии и мерки им не подходят, для них невозможен хоть малейший компромисс с тем, что считалось нормальной жизнью. Они неуязвимы в своем неприятии сущего, и, как пояснил в своей статье Андреевич (Соловьев) — “непобедимы”⁹.

Говорить о славе, которая пришла к Горькому — значит повторять общие места. Но следует, хотя бы указать на материализацию этой славы: многое, связанное с именем Горького становилось приметой социального быта той поры. Открытие новых рабочих домов, реконструкция ночлежек, благотворительная работа — информацией об этом были полны газеты двух столиц. Возник и своего рода театральный бум: подмостки занимали пьесы о “бывших людях”, о персонажах Горького, о нем самом. Ощутимо горьковская слава сказалась на русской журналистике, в которой появилась масса новых сюжетов из жизни низов. Что касается самих босяков, то они и милостыню просили именем своего Максима, и книгами его торговали и даже входили, как говорится, в образ. К примеру, один из петербургских челкашей не пожалел денег на такой номер: заметив “в толпе деревенского парня-ротозея” швырнул “ему в лицо только что украденные полторы-две тысячи со словами: жри и подавись, деревенская морда”¹⁰.

Конечно, в таких сообщениях немало курьезного, и все же подобные материалы небезынтересны исследователям функциональной природы искусства, социологии литературы.

Представляется, что в прежних изучениях Горького мы, исходя из радикальной настроенности художника, поторопились в этой связи обособить его. Между тем, как говорится, до него было дело всему обществу. Писатель воспринимался как явление общенациональное. Он действительно стал “всем нужен”. Любопытно, что среди первых, кто поддержал Горького, были не только марксистские издания, но и газеты “Московские ведомости”, “Гражданин” Особенно последняя. Это она напечатала заметку графа Петра Кутузова “Мысли русского читателя”, в которой Горький был назван писателем “необычайным по возвышенности и чистоте совести”¹¹. Подымая вопрос о национальной идее, газета поместила в связи с этим несколько статей, в которых шла речь о Горьком как писателе подинно русском, заслугой которого является то, что он обратил внимание на болезнь, поразившую общество. Кстати сказать, в это же время мысль о Горьком, как явлении исторически обусловленном, была выражена и в поэтической форме: внимание общественности привлекло стихотворение Тана (Богораза) “Максиму Горькому”, в котором вспоминаются былинные богатыри, и писатель представлен как “Ильи последний внук” и “крестовый брат” Васьки-новгородца.

Другой вопрос — с каким знаком (плюс или минус) расценивало общество идеи, пафос произведений Горького, саму личность писателя, его гражданские акции и т.д. Диапазон мнений здесь необычайно широк. Слава, успех Горького зиждлись на противоборстве полярных суждений. Если прибегнуть к упрощению (единственная возможность краткой характеристики), то условно критику и читающую публику можно разбить на два больших конфликтующих лагеря. Представители одного из них подходили к произведениям Горького с меркой жизненной правдоподобия и, в результате, заняли резко отрицательную позицию. По их мнению, писатель, с одной стороны, тратит свой талант на описание грязи, или, как выразился один из рецензентов, “мусорной кучи человечества”¹², а с другой — искажает сам предмет изображения, ибо таких босяков или “бывших людей” в жизни нет. Именно отсюда произрастала концепция, согласно которой произведения Горького — это апология грубой силы, культ героя, который стремится стать “по ту сторону” добра и зла и т.д. К ней близко было мнение о Горьком как антихристианском писателе, выпадающем из традиции русской литературы (статьи в журналах “Вера и разум”, “Странник”, “Вера и церковь”).

Всему этому находились контраргументы в противоположном лагере. О каких реальных босяках применительно к произведениям Горького может идти речь? — заостряя вопрос, спрашивали там. Если вы преследуете этнографический интерес — читайте Свирского, Якубовича-Мельшина, В.Дмитриеву. Вы нахо-

дите у Горького культ силы, цинизм? Нет, пафос его произведений — идеал свободной личности, отбросившей условности общепринятого; босяк — не столько сколок с реальности, “сколько “греза, мечта, образ чисто лирический, созданный тоской” по должному.

И даже вопрос об антихристианстве Горького оказался не таким однозначно ясным, как можно было полагать. Некто Н.О-въ опубликовал отчет об одном из общественных собраний Москвы, на котором обсуждался вопрос “согласны ли с христианским учением” идеи произведений Горького. Не оспаривая отрицательного ответа, прозвучавшего на собрании, автор заметки вместе с тем считает “совершенно неправильным” характеризовать взгляд Горького “как исключительно и всецело антихристианский”. В “горькизме” (так названы взгляды Горького) “есть много элементов, порожденных протестом христианским настроением автора: защита босяка и протест против тех, кто относится к нему с презрением” Воззрения Горького близки к учению Христа, призывавшего любить каждого, “ибо в каждом живет человек”. Горький защищает такой взгляд “пылко, горячо, неумеренно”. Между тем в обществе “во взглядах на жизнь царит филистерство. В человеке уважают не человека, не образ и подобие Божие, в нем живущее, но что-то второстепенное: ум, талант, трудоспособность, полезность, богатство, происхождение, красота, светскость, любезность и т.п. Филистер, создавший идола из свойств человека, умиляется и преклоняется перед добродетелями и пороками, забывая о нем самом. Против этого протестует Горький”¹³. Как видим, нашлись аргументы и для такого прочтения Горького. И это не единичный случай. Тот же, упоминавшийся выше, Петр Кутузов, писал, что, по его мнению, Горький “является единственным и не узанным пока на Руси, в образе художника, — апостолом человеколюбия...”¹⁴. Не лишним будет вспомнить и мнение Льва Толстого, который 11 мая 1901 г. записал в своем дневнике: “Мы все знаем, что босяк — люди и братья, но знаем это теоретически; он же (Горький. — С.З.) показал их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры их неверны, преувеличены, но мы все прощаем за то, что он расширил нашу любовь”¹⁵. Об этом же заметка в записной книжке Толстого: “благодаря Горькому мы узнаем братьев там, где не видали их прежде”¹⁶.

Но в страстном приятии или решительном отрицании Горького возникал вопрос, который как бы в один миг гасил распри и приглашал к раздумьям: Каков идеал писателя? В чем его вера?

Здесь возникало немало сомнений. Не в том дело, что общество не улавливало мировоззренческие и социальные ориентиры писателя. При всей определенности идейно-художественного развития Горького многие, в том числе маститые и расположенные к художнику критики, считали его положительную программу в известной степени абстрактной, малосодержа-

тельной, и, что особенно подчеркивалось, не укорененной в традиции русской литературы. Обращалось внимание на якобы происшедший отрыв от ближайших десятилетий. Скажем, в шестидесятые годы в литературе отчетливо выделялась “крестьянская идея”, которая по сути и вывела на выдающееся место Глеба Успенского. Горький же не уповал ни на босяцкий мир, ни, тем более, на мир крестьянский. Он был сильнейшим в русской литературе начала нового века по своему отрицающему пафосу, но по части положительного идеала... В обществе возникало много вопросов. И как следствие — “Открытое письмо Максиму Горькому” Эрастова. В аллегорической форме автор показал реакцию читательской массы на произведения писателя, который как бы ведет читателя по всем закоулкам жизни, но просвета, выхода из круга гнетущих видений не дает: показанная им однажды “Разумная воля” разбивается о “стену Рока”¹⁷.

Своим открытым письмом Эрастов претендовал на выражение широкого общественного мнения. И не без оснований: если исключить радикалов, то многие еще жили надеждой, что кардинальные перемены в стране возможно осуществить и эволюционным путем, надо только найти оптимальные и разумные решения наболевших социальных проблем. Суть такого умонастроения можно уловить в одной из статей цикла “Маленьких мыслей” Серенького, построенной как диалог философа с крупным администратором. Рассуждая о причинах, как сказано в статье, “нашего общественного и государственного разложения”, собеседники приходят к выводу, что нацеленная на перемены национальная идея может быть плодотворна тогда, когда забота о 140 миллионном народе сочетается с заботой об укреплении государства. Действия же лишь “во имя отрицания и разрушения” “гроша ломаного не стоят”. Но кто обладал такой универсальной идеей? Ее, по мнению автора статьи, нет ни у Толстого, ни у Горького, сколь ни уповало общество на своих кумиров¹⁸.

А что же писатель? Неоднократно звучавшая в горьковедении мысль о том, что художника мало интересовало то, что о нем писали, не верна по существу. Горький всегда был в курсе литературно-критической полемики, дискуссий, и не мог не учитывать разногласия суждений и о своем творчестве, и о литературе вообще. Тем более что именно в ту пору находился в полосе сложных мировоззренческих и творческих поисков. Слава действовала на него двояко: вместе с обретением уверенности в себе росло чувство ответственности за свое слово, неясной представлялась перспектива. В письме к Чехову между 6 и 15 января 1899 г. Горький так описывал свое состояние: “и вот я — лечу. Но рельс подо мной нет, я свежо чувствую и не слабо, думать же — не умею,— впереди ждет меня крушение”¹⁹.

В своем росте писатель пережил болезнь, которую можно назвать романтической неприкаянностью идеала. “У меня ду-

ша — бродяга, вечно рыщет где-то вне земли и вечно чего-то настойчиво ждет и просит”, — признавался он в одном из писем этого времени²⁰. “Вне земли” — это что касается идеала. В то же время писатель не мог не быть на земле уже хотя бы потому, что сводил с действительностью свои счета. И то размежевание, к которому Горький стремился, не означало “отмежевания”. Писатель жил в атмосфере своего времени, эволюция его вся пропитана ее духом. Отсюда, кстати, и то ускорение в его развитии, за которым порою не успевала следить профессиональная критика. Горький довольно быстро расстался с ницшеанским флером, который любил набрасывать на некоторых своих сверхбосяков; вообще после пьесы “На дне” стал отходить от “босяцкого” материала, писать другие характеры.

Думается, что и суждения о нем клерикальных авторов не прошли мимо его внимания, как и то, что происходило на заседаниях религиозного философского общества в Петербурге, и бытовавшие в обществе идеи толстовского учения. Горький задумывается о сущности христианского гуманизма и, как всегда, находит свою дорогу, что вскоре скажется на его романе “Мать”, затем приведет к идее богостроительства и в повести “Исповедь”.

Но опять же, писатель по-прежнему занимал позицию “острого угла”. “Нетерпение” захватывало не только общество, но всецело владело Горьким. В отрицании сущего писатель не считал в данное время возможным остановиться, оглянуться, а, имея в виду учение Толстого, даже не советовал идти “вглубь себя”, ибо, как заявил в письме к Пятницкому, “совершенствоваться мы будем потом, когда сведем счета”²¹. Пройдет некоторое время и интуиция художника обнаружит неправоту такого радикализма. А пока — писатель, как и все общество, терял и обретал одновременно.

Ни в каком воображении невозможно представить Горького в роли художника, который творил согласно величавой пушкинской формуле: “Ты — царь, живи один”. Русская литература XX века дала миру блестящую плеяду писателей, верных этому завету. Горький — иной по своему творческому складу. Он не мог бы затвориться в “башне из слоновой кости”, а находился в тигле общественных катаклизмов. Писатель испытывал сверхизбыточное давление, идущее от общества. И в силу своей творческой индивидуальности, и в силу состояния общества Горький оказался в мощном силовом поле общественного притяжения, и по сути, с самого начала, был обречен на ту роль в литературной и социальной жизни XX века, которая стала его судьбой.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Меньшиков М.О. Критические очерки.— СПб., 1902.— Т.2.— С.7.
- ² См.: Новости дня.— 17 апреля.— 1903.
- ³ А.Л.Волынский. Книга великого гнева.— СПб., 1904.— С.167-170.
- ⁴ Мир искусства.— 1900.— № 17-18.— С.86-87.
- ⁵ А.П.Чехов. Полн. собр. соч.— Т.10.— С.65.
- ⁶ Андреевич (Соловьев Е.А.). Очерки текущей русской литературы // Вольница.— Жизнь.— 1900.— № 4.— С.311.
- ⁷ Русское обозрение.— 1901.— № 1.
- ⁸ Ежемесячные сочинения.— 1900.— Март.— № 1.— С.19.
- ⁹ Андреевич (Соловьев Е.А.). Очерки текущей русской литературы // Вольница.— Жизнь.— 1900.— № 8.— С.246.
- ¹⁰ Петербургская газета.— 1 февраля.— 1901.
- ¹¹ Гр. Петр Кутузов. Мысли русского читателя. // Гражданин.— 1900.— 17 августа.— № 62.
- ¹² С.Соломин (Стецкий С.Я.). Босаяцкий кошмар // Новости и биржевая газета.— 20 апреля.— 1903.
- ¹³ Н.О-въ. Христианство во взглядах Горького // Русский листок.— 20 марта.— 1903.
- ¹⁴ Гр. Петр Кутузов. Мысли русского читателя // Гражданин.— 1900.— 17 августа.— № 62.
- ¹⁵ Л.Н.Толстой. Полн.собр. соч.— Т.54.— С.98.
- ¹⁶ Там же.— С.249.
- ¹⁷ Г.Эрастов. Светит да не греет. Открытое письмо Максиму Горькому.— 1902.
- ¹⁸ Серенький. Маленькие мысли. // Гражданин.— 19 декабря.— 1902.
- ¹⁹ М.Горький. Собр.соч. В 30 т. Т.28.— С.57.
- ²⁰ Архив А.М.Горького.— Т.5.— С.40.
- ²¹ М.Горький. Собр.соч. В 30 т. Т.28.— С.225.

М. ГОРЬКИЙ И А. БОГДАНОВ

(История отношений по материалам переписки
1908-1910 гг.)

Я подготовила к изданию — на французском и итальянском языках — до сих пор неизвестные и малоизвестные документы по истории русской социал-демократической интеллигенции в эмиграции, прежде всего “левых большевиков”, основанных ими партийных школ на Капри и в Болонье, а также группы “Вперед”. Часть этих документов — около 200 единиц — составляет архив А.А.Богданова, оставленный им в Париже перед возвращением в Россию летом 1913 г. Сейчас этот архив находится в Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco в Риме. В той же коллекции — и материалы Григория Алексинского, бывшего секретаря партийных школ (частично — они проданы в Колумбийский университет, в архив Бахметьева). Самая важная часть римской коллекции — письма, написанные различными корреспондентами Богданову между 1908 и 1913 г.: в первую очередь Горьким, Михаилом Вилоновым, учеником и соратником Богданова, затем — Марией Федоровной Андреевой (второй женой Горького), А.В.Луначарским, И.И.Скворцовым-Степановым, Ст.Вольским (А.С.Соколовым), В.А.Базаровым, М.Н.Покровским и М.Н.Лядовым, словом, “левых большевиков”, как их тогда называли¹.

Основными вопросами, которые дискутировались в этих письмах Богданову, были: 1) подготовка новых общеобразовательных книг для рабочих в горьковском издательстве “Знание”; 2) подготовка и публикация “Рабочей энциклопедии” (проект Богданова и Горького); 3) обсуждение программы деятельности социал-демократических школ на Капри и в Болонье и формирование “рабочей интеллигенции”; 4) создание литературной группы “Вперед”; 5) разработка концепции “пролетарской культуры”; 6) и наконец, самый существенный момент в этих письмах — обсуждение политического, философского и идеологического конфликта между Богдановым и Лениным в рамках большевистской фракции.

Документы эти важны для освещения кризиса внутри партии после революции 1905 г. По мнению Богданова было крайне существенно для большевизма не только получить новый импульс после неудачи революции, но и осмыслить новую концеп-

цию, новые дефиниции. Письма отражают эти стремления. Один из самых интересных аспектов этих документов — отношения между Горьким и Богдановым в эти годы. Однако хотелось бы подчеркнуть, что мое исследование не является полным, так как в нем не используются материалы российских архивов. Приводя далее в тексте цитаты из двух названных выше архивов, мне хотелось поблагодарить Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco и архив Бахметьева за разрешение их использования. Более подробное изложение материалов содержится в подготовленном мною издании переписки М.Горького и А.Богданова.

Я не хочу подробно останавливаться на исторических и политических деталях, скажу только, что этот период (1908 по 1910 гг.) был временем, как хорошо известно, окончательного раскола между Лениным и Богдановым. Они стали политическими соперниками со второй половины 1907 г. и непримиримо разошлись по вопросам тактики, теории и философии.

По поводу идеологической и философской атмосферы этого периода позвольте мне упомянуть основные публикации, которые обсуждались как Богдановым и Горьким, так и другими участниками переписки. В 1908 г. вышли роман Богданова “Красная звезда”, повесть Горького “Исповедь”, а также первый том книги Луначарского “Религия и социализм”, в которой он излагал основы теории богостроительства. Луначарский считал, что человечество нуждается в религии и, что социализм — это “самая совершенная религия”, которая была создана за всю историю человечества. В том же 1908 г. Богданов пишет книгу “Приключения одной философской школы” (в которой автор подвергает атаке плехановскую “ортодоксию” и его авторитарную концепцию марксизма и где он косвенным образом критикует и Ленина) и выходит коллективный сборник статей левых большевиков “Очерки по философии марксизма” Под влиянием Богданова Горький начал писать эссе “Разрушение личности”, законченное в 1909 г. В свою очередь Ленин приступил к работе “Материализм и эмпириокритицизм”, которая вышла в 1909 г. почти в тот же момент, когда второй коллективный сборник левых большевиков “Очерки философии коллективизма” (включая эссе Горького, статьи Богданова, Базарова, Луначарского) появился в издательстве “Знание”

1910 год характеризовался различными политическими и философскими публикациями группы “Вперед” и выходом книги Богданова “Вера и наука” (критика “Материализма и эмпириокритицизма” Ленина). И наконец, в 1911 г. вышла первая книга Богданова с обоснованием концепции “пролетарской культуры” — “Культурные задачи нашего времени”

Как я уже упоминала ранее, подготовленные нами к изданию письма в первую очередь показывают отношения между Горьким и Богдановым, т.е. эмоциональные, духовные и интеллектуальные узы, которые их связывали. В большей части этих писем незримо присутствует третий человек, которого корреспон-

понденты (Горький, Богданов, Луначарский, Вилонов) называют главным образом “Старик” или “Ильич”, т.е. Ленин. Присутствие “Старика” в этих письмах безусловно усиливает исторический, политический, а также историографический интерес к нашей публикации. Как известно, отношения между Горьким и Лениным во всей их сложности, в этот период в достаточной степени не изучены ни советскими, ни западными историками. Различные же издания писем Ленина и Горького, появившиеся после 1920 г., показывают, только без каких-либо объяснений, что их переписка оборвалась в апреле 1908 г., после визита Ленина на Капри, и временно восстановилась к концу 1909 — началу 1910 гг., не говоря уже о том, что письма Горького были опубликованы в неоправданно сокращенном варианте. Ничего не было сказано о большинстве писем Богданова к Горькому. Издания “Архива А.М.Горького”, “Летописи жизни и творчества Горького” либо почти полностью умалчивают об их отношениях, либо дают искаженную информацию.

Таким образом, наши новые источники о Горьком и Богданове одновременно проливают свет как на их отношения, так и на те фундаментальные идеологические и политические проблемы, которые разделяли Горького и Ленина (не только на протяжении этого периода).

В письмах к Богданову начала 1908 г. Горький настроен очень критически по отношению к Ленину². Хотя до апреля 1908 г. (до визита Ленина на Капри, где Ленин виделся также и с Богдановым, Луначарским и Базаровым) Горький стремился примирить Ленина, как политического лидера большевистской фракции, с теми, кого он считал “философами партии” (Богданов, Луначарский, Базаров), сам писатель был на стороне этих людей. Так, Горький писал Богданову, комментируя резкое письмо, которое он получил от Ленина в марте 1908 г.³: “Луначарский прав, когда говорит, что Ильич не понимает большевизма, — но я так верю в силу его мозгов и уверен, он поймет” Однако после ленинского визита на Капри, где Ленин резко критиковал сборник “Очерки по философии марксизма”, Горький теряет веру в примирение с Лениным. Он все больше негодует по поводу методов и маневров, которыми пользовался Ленин в своей политической и идеологической дискуссии с Богдановым. “Кризис имеет характер провокационный”, — написал Горький Богданову и добавил: “Но провокации не может быть места в наше время, в нашей партии” По мнению Горького, политическая звезда Ленина стала терять свой блеск: “Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за собой не только разных юнцов, но и людей серьезных”

Письма Горького начала 1909 г. содержат резко негативные оценки позиции Ленина по отношению, в частности, к идее создания партийной школы на Капри. Так, Горький писал Богданову: “Глубочайшее мое убеждение: Ильич — политиканствует. Богданов должен предоставить ему полную свободу в этом, если Богданов понимает всю важность своего значения

как крупнейшего организатора идейного в наши дни” Горький советовал Богданову: “Мой совет — я его обдумал — отойдите ото зла! Заявите о вашем выходе, и пусть многоопытные и почтенные товарищи, вроде Каменева, расхлебывают сами кашу, ими заваренную. Мы же должны сгруппироваться около школы — это фокус, в коем следует сконцентрировать всю нашу энергию”⁴.

Горький не раз подчеркивал “историческую уместность и исторический характер этой полемики” — между ленинцами и богдановцами — “для нашей партии”.

“Нашей задачей является философская и психологическая реорганизация партии”, — писал Горький Богданову в начале 1909 г. — “И мы в силах задачу сию выполнить — к выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии. Тратить же ее на мелкие стычки, бумажную войну, на трепки Каменевых, которые даже и трепки хорошей не достойны — так бесплодно тратить душу нельзя”

Идеологией партии должен был стать, по мнению писателя, “эмпириомонизм”, а инструментом для реорганизации партии — партийная школа. Горький был глубоко убежден, — о чем свидетельствуют его многие письма первых месяцев 1909 г. к Богданову, — что реализация этого проекта в конечном итоге заставила бы Ленина подчиниться и присоединиться к Богданову и его сторонникам: “Товарищ Ленин уважает кулак — мы осенью (когда партийная школа будет организована. — Ю.Ш.) получим возможность поднести к его носу кулачище, невиданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль впереди у него” В это же время Горький заявил, что раскол, который неминуемо разделит большевистскую фракцию, будет результатом двух противоположных философских концепций. “Отзовизм” же в глазах Горького, был лишь поводом, избранным Лениным, который хотел ускорить раскол. Однако Горький не считал, что этот раскол будет окончательным: в его представлении, без сомнения, рабочие будут на стороне “эмпириомонизма” и “эмпириомонизм” победит. Он писал: “Так как рабочая публика решительно встанет на сторону эмпириомонизма — раскол должен выражаться во временном умопомешательстве товарища Ленина” И он доказывал это следующим: “Когда же оный товарищ (Ленин. — Ю.Ш.) увидит, где сила и где Партия, он придет в себя, для этого он слишком партиен, все-таки”

Все усиливающееся критическое отношение Горького к Ленину, которое можно проследить по письмам, было результатом полного одобрения, и даже более того, его избыточного энтузиазма по поводу философской и политической альтернативы Богданова. Горький видел в Богданове “наиболее интересного и возможно наиболее важного философа в Европе” Самому Богданову он писал об этом: “Для меня, чем более я вчитываюсь в Ваши книги, все яснее, глубже и шире видна Ваша воистину революционная мысль, и — не примите за лесть, — мне кажет-

ся, что в лице Богданова не только российский пролетариат узнает и оценит своего философа”⁵.

Сам Горький не был философом и вряд ли он понимал всю сложную философскую систему богдановского эмпириомонизма. Несомненно, его более всего привлекала богдановская концепция “коллективизма”. В этом смысле эссе Горького “Разрушение личности” (существенная часть этого сочинения почти буквально была воспроизведена Горьким в 1934 г. в его знаменитой речи на Первом съезде советских писателей) представляет наиболее откровенное заимствование богдановских идей коллективизма (хотя и очень упрощенное). Когда Горький предложил первый вариант своего эссе Ленину для публикации в “Пролетарии”, Ленин рекомендовал ему: “Все, хоть косвенно связанное с богдановской философией, перенести в другое место”⁶.

При чтении работ Богданова Горький идентифицировал богдановское понятие социализма с “активностью” и “волюнтаризмом”, а единственную реальную силу видел в классе и партии, основой которых является коллектив как противовес индивидуалистическому мышлению и индивидуалистической деятельности партийных лидеров этих лет (в частности Ленина). Идея Богданова научить пролетариат развивать “коллективную волю”, “коллективные чувства” и “коллективные ощущения” казалась Горькому гораздо важнее, чем присвоение средств производства пролетариатом исключительно посредством классовой борьбы. После поражения первой русской революции 1905-1907 гг. Горькому особенно импонировала идея Богданова о подготовке пролетариата к новой революции посредством формирования “нового сознания пролетариата” “Пролетарская философия” Богданова, его “философия борьбы пролетариата” (так назывался один лекционный курс Богданова в партийной школе на Капри), его идеи, касающиеся “пролетарской культуры” (включая подлинную “пролетарскую науку” и подлинное “пролетарское искусство”) были в те годы для Горького “воистину революционной мыслью”, так как Богданов демонстрировал в своей “философии труда и фабрики”, что мир — это сумма “коллективного опыта” рабочего человечества. Так, летом 1908 г. он писал Богданову: “Мироощущение, коим вы насыщены — на мой взгляд, самое мощное... и самое удачное усилие понять и победить противоречия между человеком и космосом — выше, красивее, победоноснее этого еще ничего не было на земле. Если “китаец из Кенигсберга” был человеком, который завершил философское обоснование индивидуализма и тем окончательно отрезал человека от мира — вам суждено историей положить первые камни фундамента философии будущего, той философии, коя не только миропонимание, но именно ощущение связи с миром, той философии, которая должна возвратить человека на его место — в центр процесса жизни, должна гармонизировать его — изменить физически. Я уверен, что известная система мысли может выровнять, гармо-

низировать нервы человека — более — я чувствую, как ваше мышление выпрямляет людей”⁷.

По сравнению с богдановской “философией активности” ленинский и плехановский ортодоксальный марксизм казался Горькому ничем иным как “историческим фатализмом” После чтения книги Ленина “Материализм и эмпириокритицизм” Горький (он отказался издать книгу в издательстве “Знание”) заключил, что “Ленин религиозно мыслит” Письмо, которое Горький написал Богданову в июне 1909 г. (он послал его на имя жены Богданова)⁸ содержит впечатления по поводу философской работы Ленина и тем самым представляется чрезвычайно интересным: “Получил книгу Ленина, начал читать и — с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, профану, его философские экскурсии напоминают, как это ни странно — Шаропова и Ярморкина, с их изумительным знанием всего на свете — наиболее тяжкое впечатление производит тон книги — хулиганский тон!

И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей “нового типа”, “творцов новой культуры”. Когда заявление “я марксист” звучит, как “я — рюрикович!” — не верю я в социализм марксиста, не верю! Я слышу в этом крике о правоте своем — ноты того же отчаяния гибели, кои столь громки в “Вехах” и подобных надгробных рыданиях.

Все эти люди, взывающие городу и миру: “я марксист”, “я пролетарий”, — и немедля вслед за сим садящиеся на головы ближних, харкая им в лицо — противны мне, как всякие баре; каждый из них является для меня “мизантропом, развлекающим свою фантазию”, как их поименовал Лесков. Человек — дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским чувством — самолюбию своему.

Ленин в книге своей — таков. Его спор “об истине” ведется не ради торжества ее, а лишь для того, чтоб доказать: “я марксист! Самый лучший марксист это я!”

Как хороший практик — он ужаснейший консерватор...”⁹

Важную часть римской коллекции Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco составляет переписка Богданова и рабочего “Михаила” (Вилонова). Мы располагаем более чем двадцатью письмами, касающимися контактов Богданова и Вилонова с партийными организациями в России (фактически после того, как Большевицкий Центр, то есть — в первую очередь — Ленин, стал возражать против создания партийной школы “левыми большевиками”). Богданов пытался получить одобрение партийной школы на Капри от местных партийных комитетов в России. Мы имеем целую серию документов (в большинстве своем написанных Богдановым и переправленных в Россию Вилоновым), из которых видно, насколько значительным было в эти годы влияние Богданова на рабочее движение внутри России. Богданов и Вилонов, активно поддерживаемые Горьким, пыта-

лись также повлиять на Троцкого, чтобы тот помог в организации их партийной школы. Предполагалось, что Троцкий мог бы пропагандировать идеи Богданова по проблемам рабочего образования, формирования “нового рабочего сознания”, короче говоря, создания “пролетарской культуры” в газете “Правда”, издаваемой в Вене.

На протяжении шести месяцев (с августа по декабрь 1909 г.) деятельность Богданова и Горького была сосредоточена вокруг работы партийной школы на Капри, где в это время жил и Богданов, ввиду чего их характер отношений этого периода позволяют воссоздать многие официальные документы, касающиеся работы партийной школы¹⁰.

Переписка Горького и Богданова возобновилась, когда Богданов вернулся в Женеву в конце 1909 г. для создания группы “Вперед” Однако в этот период между двумя союзниками возникает напряжение. Тон писем Горького охлаждается все больше и больше — по отношению и к Богданову, и к их общим предприятиям. В определенной степени ухудшению отношений между Горьким и Богдановым способствовала взаимная неприязнь М.Ф.Андреевой и сестры Богданова, Анны Александровны, жены Луначарского. Свое последнее письмо к Богданову, написанное в конце 1910 г. писатель характеризовал — “наша последняя беседа”: “Я, как вам известно, очень уважаю и ценю вас — мыслителя и революционера, но не стану отвечать на ваши письма: вы пишете их слишком строго и так, точно вы унтер-офицер, а я — рядовой вашего взвода”

Несколько позднее Горький писал к Алексинскому, секретарю группы “Вперед”: “Кажется, что он (Богданов.— Ю.Ш.), по натуре своей — не революционер, а систематик, человек с высокоразвитым стремлением к синтезу, и как всякий такой человек — консервативен и деспотичен. Людей же — всех! — презирает, числя себя безгранично умнее и значительнее их, отсюда его небрежное отношение ко всем. Но талантливый человек! И я глубоко уверен, что он многое сделает”¹¹.

Оценка Богданова в этом письме напоминает нам ту критическую характеристику, которую Горький дал Ленину только два года тому назад. В 1912 г. Горький спрашивал Алексинского в одном из писем об адресе Богданова, так как он хотел послать ему свою новую книгу. Это наша последняя информация об отношениях Горького и Богданова.

Мне хотелось бы закончить свое выступление цитатой из первого письма римской коллекции, написанного Горьким в начале 1908 г. после прочтения “Красной звезды” Богданова, названной писателем “первым русским утопическим романом”: “Книга и понравилась мне и нет. Чем понравилась? Светлой, глубокой верой, тихой, прозорливой радостью, с коей автор смотрит в будущее.

Не понравилась — излишком мудрости, несколько холодной и овевшей лица героев скукой, коя не должна быть ни ведома, ни присуща им — как мне кажется.

И еще тем, что читатель из массы — дорогой и родной наш — не найдет — боюсь — в рисунке вашем очертаний достаточно твердых, но увидит некий красивый туман; не встретит откликов на многие злые вопросы и почувствует раздражение на автора, как на человека, который крикнул, позвал куда-то, сказал — смотри! и — развернул картину, нарисованную слишком тонкими чертами, сложную, но одноцветную, приятную все-таки — но чуждую тому жадному глазу, который будучи утомлен серым колебанием буден, алчет красок ярких, очертаний резких.

Вас не обижает этот мой отзыв? Не обижайтесь, я вас крепко люблю, считаю вашу голову и сердце драгоценнейшими в современности, верую, что вы дадите огромные по смыслу, по идейной ценности книги. Но — мера моя, народ, единственный и неисчерпаемый источник осуществления всех возможностей, и я смотрю с его точки, что дает ему ваша книга? Вот”

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. об этом, например: Богданов А. История частной финансовой группы с.—д. большевиков. (1907-1912) // Родина.—№ 8/9.— М., 1992.— С.147 и др. Ср.: Ленин В.И. Полн. собр. соч.— Т.19.— С.9, 105.
- 2 Они хранятся в указанной выше коллекции в Риме. Сведения о коллекции и публикации отрывков из отдельных писем см. в наших статьях в журн. “Cahiers du Monde russe et sovietique”.— Paris, 1978.— Т.XIX (3), juillet-septembre.— P. 321-334; 1988.—Т. XXXIX (1), janvier-mars.
- 3 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч.— Т.47.— С.150-153.
- 4 Из писем после 9 (21) марта 1908 г. и середины марта 1909 г.; находятся в указанной коллекции в Риме.
- 5 Одно из мартовских писем 1909 г., находится там же.
- 6 Ленин В.И. Полн. собр. соч.— Т.47.— С.145.
- 7 Одно из писем середины 1908 г. указанной коллекции в Риме.
- 8 В переводе на итальянский письмо от середины июня нов. ст. 1909 г. опубликовано в 1982 г.: Fede e scienza. La polemica su “Materialismo ed empirio-criticismo” di Lenin / A cura di V.Strada.— Torino, 1982.— P.265-266. См. об этом в кн.: Россия и Италия.— М., 1993.— С.240. Там же см. отрывки письма в обратном переводе с итальянского на русский.
- 9 Письмо находится в указанной коллекции в Риме.
- 10 См. об этом в нашей публикации: J.Sherrer. Les ecoles du parti de Capri et de Bologne: la formation de l'intellectuelle du parti // Cahiers du Monde russe et sovietique.— Paris, 1978.— Т.XIX (3).— P. 259-284.
- 11 Письмо находится в Бахметьевском архиве (США. Колумбийский ун-т).

М.ГОРЬКИЙ И В.В.РОЗАНОВ
(О поэтике писателей-антиподов)

Трудно, а скорее и невозможно найти в русской литературе другого такого мастера слова, который так наособицу обосновался бы в ней, как это удалось В.В.Розанову. Он не просто полярен всем своим современникам и классикам XIX века, равно далеко отстоя от любого из них, но он и монополярен — ему нет антагониста ярко выраженного и единственного, занимающего место противоположного художественного полюса. В.В.Розанов в известном смысле слова противостоял не только Гоголю, Тургеневу, Толстому и Достоевскому (в чем-то тяготея к ним и перекликаясь с ними), но и противостоял как бы всей русской литературе, отчетливо сознавая это свое противостояние и в заостренной форме выражая неприятие литературы как литературы, высказываясь в пользу одного единственно-истинного документально-эпистолярного жанрового направления.

И при такой расстановке исходных позиций может показаться или не очень оправданным вынесение темы: Розанов и Горький, или ее сугубо факультативный статус.

Но это не совсем так. Речь как раз и пойдет о сложности и многоплановости внутренних констант и измерений такого феномена как русская литература.

Не станем здесь останавливаться из-за ограниченности пространства на личных сложных отношениях двух названных писателей, на их совершенно очевидном обостренном внимании друг к другу, а также на не вежливостью только продиктованных комплементах и достаточно высоких взаимооценках в переписке¹. Не станем также говорить и о типологически-несоизмеримых гранях таланта названных писателей.

Гораздо существеннее в рамках нашего разговора наметить, например, такое сопритяжение и соотталкивание художественных миров М.Горького и В.Розанова, которое не исключает наличие общих поисков на ниве литературного портрета и автобиографического принципа осмысления жизни. Показательна и неожиданная перекличка, возникающая в самый острый и страшный момент истории, а именно появление “Несвоевременных мыслей” М.Горького и “Апокалипсиса нашего времени” В.Розанова, произведений и возникших где-то рядом и затем познавших общую участь, оказавшись открытыми на спецхра-

новских полках, и только ныне получивших новую жизнь. При всем несходстве они перекликаются друг с другом (чего не скажешь в этом контексте, например, об “Окаянных днях” И.Бунина) и обрели сегодня второе дыхание.

Не буду приводить соответствующих высказываний из “Несвоевременных мыслей”, ныне выпущенных в разных изданиях, они у всех, тем более у горьковедов, на памяти. Приведу лишь в randant к горьковским мыслям и фактам, соответствующий по остроте и сути фрагмент из Розанова: “вот один, старик, лет шестидесяти, и “такой серьезный”, Новгородской губернии, выразился: “Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть. То есть не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезать из его кожи ленточка за ленточкой”.

И далее: “Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и мир”².

Розанов, так же как и М.Горький, задается вопросом: “Что же произошло?”³ Так же как и мы сегодня задаемся подобным же вопросом, слыша публичные крики и призывы о выступлении с оружием в руках и видя видеокadres диких побоищ озверевших людей.

Или вот еще одна общая идея, мысль-мостик: “Мы умираем от единственной и основательной причины: неуважения себя. Мы собственно самоубиваемся... мы сами гоним себя”⁴.

Да, действительно, и Горький (у него подобная мысль проходит через все его зрелые творения) и Розанов правы: мы ведь сами гоним и губим себя и сейчас, и потому так яростно ищем виноватых и врагов — кругом и повсюду, чтобы самооправдаться, хватаемся за призрачную соломинку вместо того, чтобы созидать, творить, а не разрушать, растаскивать и ловчить.

В этих и многих других переключках писателей-антагонистов в главном, в исходных творческих принципах — актуальность нашей темы, актуальность живого опыта нашей литературы.

Но продолжим, хотя бы, пунктирно некоторые соприкосновения — переключки именно в творческих предпосылках двух художников. Они оба могли бы выставить многие свои творения под общим эпитафием.

Так вполне для этого подошли бы, например, розановские слова: “Благодари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай”⁵. Особенно цепко этот тезис вписывается в автобиографические и литературно-портретные жанры М.Горького и В.Розанова.

Или вот еще: “Мы всегда будем жить в чудесах и тайнах. Из них самое чудесное суть человека”, — это из переписки М.Горького и В.Розанова — письмо автора очерков “По Руси” в марте 1912 г. И как тут не вспомнить из страшного розановского “Апокалипсиса”, “гимна гибнущему человеку”, о котором “забыли” в страшное время катастроф и который тщетно взывает: “Победа создается не на войне, а в мирное время”⁶.

Итак, взаимное тяготение полярных миров и взаиморезонирование на общие беды человеческие и исторические в эпоху XIX и XX-ых веков. Но существуют и объективные, вне Горького и Розанова, силы и факторы их объединяющие целенаправленно и сущностно. Сошлемся на видение общей проблемы для творчества этих писателей в статье Л.Троцкого 1922 года — “Вне-октябрьская литература” Ее автор вычленяет в качестве закономерности литературы нового времени то, что отныне “революция стерла и смысла индивидуальную татуировку, вскрыв устойчиво-родовое-общее” в событиях и людях, как главное и определяющее в них”⁷, то есть абстрактно-идеализированное и условное воплощение романтики и героики движения масс.

Таков исходный антирозановский принцип, противопоставляющий общее — индивидуально-неповторимому, и вывод: “Розанов учил нас любить сладенькое, а мы бредили буревестниками” Возникает горьковский, таким образом, аккорд, хотя Горький в статье не назван. Но как видим, он вполне определенно означен и присутствует далее в прямом упоминании как Буревестника, так и Данко. Их романтико-риторический пафос как раз и противопоставлен розановской, как сказано в статье, “трусости перед жизнью и трусости перед смертью”.

Но самое существенное в данном случае для нас состоит в том, что таким образом трактуемое главное начало в “антирозановском” Горьком, по сути дела имплицитно-полюемически направлено и против собственного горьковского творчества и именно 20-х годов, то есть его автобиографического, портретно-личностного реализма, сближающегося в чем-то с розановским документализмом. Не приемлемо Троцкому и близко Розанову — вглядывание в неповторимо-ценностное, заповедное в каждом, то есть как раз в “индивидуальную татуировку”. Без этой установки и ее виртуозной во многом разработки немислимы персонажи таких горьковских произведений, как “По Руси”, “Ералаш”, очерк “Л.Н.Толстой”, в которых заострена стилистика индивидуализированно-личностного видения жизни, проявляет себя взаиморефлексия персонажного и авторского слова.

Вот здесь-то на этой прочной основе фактографического, личностного слова наиболее близко сходились траектории поэтики М.Горького и В.Розанова. Автор “Уединенного” говорит о своем стремлении “начать литературу с другого конца”, идя от “сердца” и “своей думки” (письмо М.Горькому 16.IV. 1911), но главное и для адресанта, и для адресата этого письма — “острый взгляд” в лицо человека во имя индивидуально-неповторимо-значимого и ценного в нем. Здесь и находится центр тяжести поэтики литературного портрета, портрета-очерка в творчестве обоих писателей, родоначальников во многом совершенно нового, своеобразного литературного жанра (собственно говоря, чрезвычайно редкого художественного открытия в мировой литературе — явление новой жанровой разновидности, о

чем говорится, в частности, в переписке Вяч.Иванова и М.Гершензона).

В 1917 году Розановым был создан очерк о жизни и творчестве Константина Леонтьева. К этой фигуре русского литературного небосклона Розанов обращался постоянно (еще в 1895 г. Владимир Соловьев, работая над статьей о К.Леонтьеве для “Энциклопедического словаря”, консультировался с Розановым и просил его о помощи). Очерк, о котором пойдет речь, написан был к 25-ой годовщине со дня смерти удивительного этого писателя — мыслителя, единственного, как выразился о нем Сергей Булгаков.

Показательно, что одним этим емким и достаточным словом сам В.Розанов воспользовался говоря о Святителе Московском — Филарете.

Единственный Филарет.

Единственный Леонтьев.

Одним этим словом называется, казалось бы, одно и то же, а по существу прямо противоположное, настолько насколько были противоположны между собой схимник оптинский и митрополит московский.

Но “единственный” — для Розанова установочный вполне приемлемый и для Горького творческий принцип. Исходя из своей предпосылки, Розанов пишет о Леонтьеве как о человеке “непонятом” и “непризнанном”, видя в этих определениях следствия из своей исходной предпосылки, а затем присоединяется к суждению С.Н.Булгакова о Леонтьеве, который называет последнего — очень верно в одном месте “Буревестником”. И за этим следует резкий и характерный розановский пассаж:

“... это не бедный, не скудный “Буревестник” Максима Горького, который вещал грозу всего на 24 часа завтрашнего дня, с полным и ясным днем, с миром и благовещием на все следующие дни, на целый год, на целую вечность... Возле Леонтьева все эти “Буревестники революции” оказываются какими-то куцыми, какими-то “публицистами плохой газеты с большим успехом на сегодня, в сущности, людьми совершенно мирными и добродетельными”⁸.

Суждение более, чем хлесткое и столь категоричное, что приведя его, казалось бы мы закрываем заявленную тему настоящего сообщения. Однако к сказанному нельзя отнестись однозначно, взяв его в одной плоскости. Если взглянуть повнимательнее на весь текст очерка о Леонтьеве, он демонстрирует нам во всем блеске розановский протеизм, многомерность и многосоставность свою, никак не допускающие сведения к одновалентным связям. Главная особенность очерка Розанова в отличие от его более раннего выступления о Леонтьеве в статье “Поздние фазы славянофильства” (1902) — необходимость воссоздать в некотором смысле целостно-живой, динамичный образ того сложного и неоднозначного характера, которому очерк посвящается. Нас в особенности интересуют такие характерные приметы очерка-портрета, мимо которых никак нельзя пройти.

Это прежде всего сложная многосоставная композиция, мозаичность, включение цитат и фрагментов интертекстовых (в частности, Булгакова), их комментирование и развитие, соотнесение авторского слова со словом другого лица, неожиданные живые выразительные штрихи, стилевая розановская разговорная “раскованность” для серьезных и метких обобщений. Не проглядывает ли, однако, в этих чертах, в этих приметах стиля и жанра розановского очерка нечто горьковское, характерное для его литературных портретов, для его поэтики этого жанра? Более чем несомненно, достаточно вспомнить такой горьковский шедевр как очерк “Л.Н.Толстой”, в котором горьковская поэтика, горьковский портретный реализм достигает максимальной эффективности, в особенности в удивительном варьировании и перетекании противоположностей, противоречий изображаемого лица.

Композиционная мозаичность — центральная особенность горьковского очерка-портрета, будь то “отшельник”, “знахарка” или “садовник”. Этот принцип господствует и в композиции очерка-портрета, зажатого между определениями Леонтьева как “некоего демона”, как “буревестника” и как “схимника Оптиной пустыни”.

Задержимся здесь чуть подробнее. Вспомним, как у Горького высвечивается Лев Николаевич Толстой: “Он похож на Бога... на этакое русского Бога” и “настоящего отшельника мира сего”⁹.

Здесь необходимо подчеркнуть: значимы не внешние приметы, не близкие слова: “схимник”, “отшельник”, речь идет не о сходстве характеристик самих персонажей и даже не о стилистических созвучиях, напротив, “схимник... Оптинский”, и “отшельник мира сего” семантически взятые в своем контексте — не притягиваются, а отталкиваются, будучи поставленными рядом. И так это и должно быть в отнесении этих слов с “единственным” Леонтьевым и “единственным” Толстым.

Означенные композиционно-стилевые контрасты и у Розанова и у Горького выполняют функции “обручей” в создании целостного образа. И существенно, что эти контрасты работая не на разрыв, а на целостное воссоздание личности, направлены против дихотомического расчленения живого человека на составляющие его противоположности. В очерках и Розанова и Горького это не растяжки-антиномии “широкого” человека, взятые сами по себе, когда за ними исчезает живая человеческая цельность характера, уходит живая жизнь человека только со своим неповторимо-изменчивым лицом, но еще менее это логические контраверсы, которыми любят манипулировать рационалисты. Перед нами контурное обозначение объемов для их конкретно-жизненного, хотя и не всегда последовательного заполнения многими и разными переходными свойствами и качествами. У Розанова это: “неотшлифованный самородок”, “пророк всевропейской катастрофы”, “человек языческой чувствительности”, “гонитель торжествующего мещанства” и т.д. и

т.п., включая художественную гипотезу: “Во времена Потемкина он наполнил бы жизнь шумом и звоном бокалов, эрмитажами и публичными библиотеками”.

Художественные аналогии приведенным структурам без особого труда каждый найдет и в очерке Горького о Толстом.

Но, конечно, дело не кончается структурно-поэтическим параллелизмом антагонистических портретных черт и перечней-определителей между ними. Дело не только в структурно-поэтических переключках разных писателей. Гораздо важнее их смысловая направленность и их звучание в контексте своей эпохи; приведенные, по необходимости бегло, парадигмы определителей, перечни разрозненных свойств и качеств вызывают о непозволительности деформаций человеческой личности, о недопустимости девальвации единственного, неповторимого в каждом человеке.

По-своему Розанов, по-своему Горький воссоздают, идя близкими путями, хотя каждый концептуально наособицу, целостную парадигму своих персонажей. Но главное состоит в том, что они идут путем, уводящим от рационалистической одномерности — к жизненной многомерности, от логического тождества — к словесной полифонии.

Уже не в очерке, а в “Опавших листьях” ставится вопрос: “Что же такое Леонтьев?” и следует неожиданное: “Ничего”. Слово еще более безбрежное, чем “единственный”. Слово у Розанова “играет” и всякий раз значит бесконечно многое. Оно “знает” о человеке все. Сразу же вслед за “ничего” — идет: “Он был редко прекрасный русский человек, с чистою, искреннею душою, язык коего никогда не знал лукавства: и по этому качеству был почти *unicum* в русской словесности, довольно-таки фальшивой, деланной и притворной”. И следует вывод: “В лице его добрый русский Бог дал *доброй* русской литературе доброго писателя. И — только”¹⁰.

“Единственный” — и “ничего”. “Добрый писатель” (от “доброто” Бога!) — и тут же это “и только”. А в зияния между этими словами-безмерностями, снова и снова идут “перечни”: “он кажется старцем и гением”, “он кажется мальчиком, охватившим ручонками того “кита”, на котором земля держится” — но вопрос “что же такое весь Леонтьев?”¹¹ остается открытым. Слово тем не менее наделено огромной дистанцией между лицом (в портрете Леонтьева — “тельце мешочком”, голова — “притворно вихрится”, “все что-то /нрзб./ и трусливое”¹²) и ликом человека. За внешним человеком — стоит человек внутренний с “замечательным лицом”, так и сказано о купеческой дочке, пошедшей на проповедование христианства среди фабричных (“Русский Нил”).

Выразительная энергия слова ведет Розанова: “Замечательное лицо”, “Единственный”, вплоть до метко обыгранного для внутренних интенций какой-нибудь частушки вроде “закурил бы — нет бумажки. Погулял бы — нет милашки”.

Горький ссылается на толстовский отзыв, автор “народных рассказов” хвалил его за то, что он “знает “фокусы языка”, но Толстому принадлежит и сердитое — о “книжном” характере горьковского слова.

Для нас же очень существенно то, что у Горького слово прежде всего изображает, оно обращено к внутреннему человеку через внешнего человека, через слово-жест. Так о самом Толстом в очерке о нем читаем: “иногда разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг — раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово” (16, 261). Можно сказать, графически вычерченная и запечатленная толстовская интонация.

Горьковский подход заключается в том, чтобы понять человека, главное в нем через внешнее проявление, объяснить внутреннего человека посредством акций изображаемого персонажа. Тогда как, по Розанову, родник жизни человека и народа “лежит в его отношении к трансцендентному миру”, в его отношении к совести, к душе, Богу, сущностям принципиально не изобразимым и в лучшем случае доступным, и то в определенных пределах, выражению своему в слове.

И тут следует говорить о розановской художественной вертикали в постижении человека и о горьковской горизонтали. У Розанова слово — лот в глубины души, в вечность, у Горького — средство широкого охвата жизни, панорамирования. Он сознательно не входит в сферу трансцендентного при создании характера автора “Третьего Завета” в очерке “А.Н.Шмидт” (1924 г.), корреспондентки Вл.Соловьева, имя которой С.Н.Булгаков вводит в ряд таких имен как Св.Тереза, Сваденберг, Якоб Беме. Овнешнение трансцендентности в принципе невозможно и писателю приходится признаться в непонимании “шмитихи”, “хитрейшей старушонки”, так же как многое из того, что она говорит ему о Вл.Соловьеве, о его письмах к ней, которые она комментирует по ходу дела.

Показав необыкновенное в обыкновенном человеке, писатель испытывает потребность, как обстоятельно показал К.Чуковский, во все новых и новых персонажах, идущих вереницей и в циклах его очерков, и в “Жизни Клим Самгина”.

Розановской интровертности противостоит горьковская интенсивная экстравертность, множественность, принципиально вовне ничем не ограниченная. Отсюда не раз уже отмечаемый “кинематографизм” горьковского видения жизни.

Но как бы ни были разведены между собой исходные предпосылки и особенности миров Розанова и Горького, расставившие их по краям художественных спектров русской литературы, может быть, именно недоступное одному, и доступное другому — и заставляло каждого из них подчас ревностно-заинтересованно, подчас резко-осуждающе и присматриваться и тянуться друг к другу.

А их творческий опыт — наглядное свидетельство недопустимости сведения русской литературы и ее бесконечного богат-

ства к каким-то замкнутым регистрам, в которые просто не помещаются такие несходные, неповторимые и значимые по-разному, но сущностные фигуры, такими были и Л.Толстой, и К.Леонтьев, и А.Н.Шмидт. И, конечно же, и сами Горький и Розанов, искавшие нужные слова и краски для запечатления и художественного выражения “широкого” русского человека. Естественно, что без подобных “красок” палитра русской литературы потеряет очень многое.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Подробнее об этом в моей статье “Обновление устойчивого. Очерк-портрет в творчестве М.Горького и В.Розанова” // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX — начала XX в.— М.: Наследие, 1992.
- ² Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени // В.Розанов. О себе и жизни своей.— М.: Московский рабочий, 1990.—С. 579-580.
- ³ Там же.
- ⁴ Там же.— С.582.
- ⁵ Там же.— С.575.
- ⁶ Там же.— С.583.
- ⁷ Сб. Минувшее.— Т.8.— 1989.— С.345.
- ⁸ Розанов В.В. О Константине Леонтьеве // Новое время.— 1917.— 22 февраля.— 7 марта.— № 14715.
- ⁹ Горький А.М. Полн. собр. соч.— М.— С.266,268.
- ¹⁰ Розанов В.В. Цит.соч.— С.315.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Розанов В.В. О себе и жизни своей.— С.757.

М.ГОРЬКИЙ И РАПП

Горький еще до революции был признан большевистской критикой первым пролетарским писателем, "крупнейшим", по словам В.И.Ленина, "представителем пролетарского искусства"¹. Однако отношение самого Горького к пролетарскому направлению в литературе было далеко не однозначным, а его взаимоотношения с организаторами пролетарского литературного движения — сложными и противоречивыми.

Начало истории РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) можно отсчитывать от конца 1922 г., времени создания литературной группы "Октябрь", составившей ядро будущей массовой организации. Большую роль в формировании идейно-художественной платформы группы сыграл журнал "На посту", издаваемый под редакцией Б.Волина, С.Родова и Г.Левича. От названия этого печально известного журнала руководители пролетарского литературного движения получили в начале 20-х годов кличку "напостовцы". Продолжая традиции Пролеткульта, напостовцы утверждали право на существование особой пролетарской литературы и основную цель видели в борьбе за создание таковой. К сожалению, унаследовали они и нигилистическое отношение к прошлому, к классической русской литературе, которую презрительно называли "буржуазно-дворянской". Подхватив наивный тезис пролеткультистов о том, что настоящая, т.е. пролетарская, литература может быть создана только писателями — выходцами из рабочей среды, они обрушили свою критическую "напостовскую дубинку" на лучших писателей из так называемых "попутчиков": А.Толстого, М.Пришвина, С.Есенина, Б.Пильняка и многих других.

Напостовцы отказывали в звании "пролетарского" писателя и причисляли к "попутчикам" и Горького. С "развенчанием" писателя в первом же номере журнала "На посту" выступил главный редактор газеты "Беднота" Л.Сосновский. Напостовцы прекрасно ориентировались в политической конъюнктуре, знали, что Горький в это время проживал за границей, находился в оппозиции к советским властям и был в опале у большевиков, а потому относились к нему почти так же, как к другим русским писателям-эмигрантам, в которых видели своих смертельных врагов. Отсюда и развязный тон, в каком позволяет себе писать о большом художнике критик-напостовец: "Ему бы

в келье под елью сидеть, да чтобы птички пели, да чтобы драки не было совсем” Вспоминая в своей статье “Бывший Главско-кол, ныне Центроуж” о прошлых революционных заслугах Горького, Сосновский сравнивал его с Соколом, который “записался в партию Ужей и стал Почетным Ужом, или Центроужом”².

Захватив в свои руки журналы “На посту”, “Октябрь” и “Молодая гвардия”, напостовцы повели активную борьбу со своими идейными и литературными противниками, прежде всего с писателями-“попутчиками”, группировавшимися вокруг возглавляемого А.Воронским журнала “Красная новь”. Борясь с Воронским, отрицавшим саму возможность создания какой-то чисто пролетарской литературы, напостовцы пытались отстранить его от редактирования “Красной нови”. Осенью 1924 года им удалось ввести в состав редколлегии журнала видного партийца, напостовца Ф.Раскольникова. Обосновавшись в “Красной нови”, Раскольников, дабы укрепить свои позиции, счел своим долгом заручиться поддержкой Горького, тем более что знакомы они были давно, еще с дореволюционных времен. Однако писатель был глубоко возмущен тем, что один из лучших журналов советской России, в создании которого принимали участие Ленин и лично он сам, из-за происков ненавистных ему напостовцев находится на грани развала. В ответном письме Раскольникову от 26 января 1925 года он резко и недвусмысленно обнаружил свою общественно-литературную позицию: “Ф.Ф., мое отношение к искусству слова не совпадает с Вашим... Поэтому: сотрудничать в журнале, где Вы, по-видимому, будете играть командующую роль, я не могу. М.Горький”³.

Писатель высоко ценил деятельность Воронского на посту редактора “Красной нови”, приветствовал его поддержку литературной молодежи из “попутчиков”, сочувствовал его бескомпромиссной борьбе с нигилистическими выступлениями лефовцев и напостовцев. В письме к критику от 12 февраля 1925 года Горький целиком процитировал вышеупомянутое письмо Раскольникову, чтобы Воронский мог его использовать в дальнейшей борьбе с литературными противниками. Далее писатель сообщал: “Считая позицию “напостовцев” антиреволюционной, антикультурной,— рассматривая самого Раскольника как парня невежественного и бездарного, я глубоко огорчен тем, что Вы ушли из “Кр. нови”, и уверен, что этот журнал “напостовцы” погубят. Не буду говорить о том, что Ваша работа в “Кр.н.” имела большое значение для русской литературы”⁴. Горький знал, что многие из его частных писем писателям становятся предметом общественного обсуждения, разговоров в редакциях, в литературной среде. Видимо, и на этот раз он надеялся, что его мнение станет известно в широких общественных кругах и обязательно дойдет и до партийных верхов. Возможно, Горький предпринял и еще какие-то решительные шаги (например, написал Н.И.Бухарину), чтобы восстановить

справедливость и не допустить разгрома “Красной нови”. Во всяком случае уже в марте 1925 года Воронский сообщал Горькому: “У меня в редакции произошли перемены: тов.Раскольников заменен Ярославским. Он — не “напостовец” Я снова получил возможность работать в “Нови”...⁵. Современники связывали возвращение Воронского в “Красную новь” с влиянием на события Горького. В марте 1925 года писатель М.Осоргин сообщал ему из Парижа: “Из России пишут, что там маленький поворот, облегчающий участь “попутчиков”: вернулся в “Красную новь” Воронский и ушел Раскольников. И пишут, что в этом Ваша рука. Сопоставляя с тем, что Вы писали мне (о Ваших “еретических письмах этому болвану Федору Раскольникову”), заключаю, что это так и есть. Еще пишут вообще о Вашем влиянии и о том, что в анкете о “писателях революции” Вы делите два первых места с Пушкиным...”⁶.

На нездоровые тенденции в советской культуре, на ожесточенную полемику разных литературных групп и грубую политику напостовцев, стремящихся захватить власть в литературе, Горький пытался обратить внимание партийного руководства страны. “Литературная молодежь,— писал он 23 июня 1925 года Бухарину,— восхищает меня. Отношение к ней “напостовцев” — дурацкое.

Все эти Родовы, Лелевичи, Вардины прежде всего бездарны. Да, видимо, и малограмотны. Не следует затискивать начинающих писателей в угол, хотя бы и в марксистский”⁷. Это письмо, написанное за неделю до обнародования исторической резолюции ЦК “О политике партии в области художественной литературы”, отвергавшей монополизм пролетарского направления в искусстве и призывавшей к свободному соревнованию различных литературных школ и групп, во многих своих мыслях и положениях совпало с основным пафосом партийного документа.

Появление резолюции ЦК о литературе углубило кризис и раскол в напостовском движении. В декабре 1925 года Воронский с удовлетворением сообщал Горькому: “Напостовцы” расплевались друг с другом и заняты взаимным истреблением”⁸. На конференции пролетарских писателей в начале 1926 года было решительно осуждено стремление руководителей напостовства к диктаторству, Родов, Лелевич и Вардин были выведены из всех руководящих органов пролетарских литературных организаций. Но, хотя “ультралевое” крыло напостовства было разгромлено, сущность этого движения мало изменилась. К руководству РАПП пришел бывший верный соратник “родовцев” Леопольд Авербах. Он не только возглавил эту организацию, но и журнал “На литературном посту”, сменивший скомпрометировавший себя орган “На посту”

Мало изменилось во второй половине 20-х годов и отношение Горького к деятельности рапповцев. Неприятие эстетических теорий и литературных методов, групповщины и комчван-

ства, процветавших в пролетарских литературных организациях, подтверждается, в частности, его письмами руководителю пролетарской группы “Кузница” писателю Ф.Гладкову. На вопрос последнего: “Вполне ли Вы с нами?” — Горький в 1926 году отвечал: “Я не могу быть вполне с людьми, которые обращают классовую психику в кастовую, я никогда не буду “вполне” с людьми, которые говорят: “Мы, пролетарии” с тем же чувством, как, бывало, другие люди говорили: “Мы, дворянство”⁹. О том, что Горький невысоко оценивал и художественные возможности, творческий потенциал пролетарских писателей, красноречиво свидетельствует его письмо 1928 года Р.Роллану. Среди “заметных фигур” советской литературы Горький из всей могучей когорты пролетарских авторов упомянул лишь А.Фадеева и С.Семенова, обильно приводя при этом имена “попутчиков” и “крестьянских” писателей¹⁰. Конечно, приведенный Горьким список субъективен; в нем сказались личные пристрастия и антипатии писателя. Не был, например, среди выдающихся поэтов назван В.Маяковский. Но в этой “субъективности” нашла отражение сознательная литературная политика Горького, его стремление выдвинуть на первый план талантливых писателей-“попутчиков” и “задвинуть” рвущихся к административной власти “пролетарских”.

Всю весну и лето 1928 года в Союзе широко отмечался 60-летний юбилей приехавшего, наконец, на родину Горького. На фоне всеобщего ликования выступления рапповцев звучали резким диссонансом. Они по-прежнему отказывали ему в звании “пролетарского”, “социалистического” писателя. Первым из лидеров РАПП понял ошибочность и опасность такой политики по отношению к Горькому Фадеев. Он созвал и провел совещание рапповского руководства, на котором решительно осудил позицию журнала “На литературном посту” и подчеркнул необходимость “решительного перелома в линии журнала... в отношении Горького”¹¹. Наметившийся перелом в отношении к Горькому со стороны руководителей РАПП был вызван, конечно, не каким-то внезапным прозрением или искренним раскаянием, а соображениями тактики и литературной политики. Вожди пролетарской литературы не могли не считаться с огромным воодушевлением в писательской среде, вызванным приездом Горького, а главное, с тем подчеркнутым уважением, которое оказывалось писателю партийными и государственными руководителями самого высокого ранга. Упрямо отстаивать прежнюю линию неприятия горьковского творчества в таких условиях было просто опасно, так как могло привести к потере командных постов в литературе.

Летом 1928 года у Горького установились и личные контакты с молодыми руководителями РАПП, в частности, с энергичным и деловым Л.Авербахом. Вскоре после отъезда писателя в Италию, Авербах послал ему свою только что вышедшую книгу “О задачах пролетарской литературы” и просил дать ей оценку. 17 ноября 1928 года Горький ответил ему большим письмом, в

котором продолжил свой давний принципиальный спор с рапповцами по фундаментальным вопросам искусства и текущим проблемам литературы. В письме впервые с такой ясностью выступила идея созыва всесоюзного писательского совещания, идея будущего объединения всех советских литераторов в едином Союзе. “Мне кажется,— убеждал Горький,— что Вам — Вашей группе — следует взять на себя инициативу организации совещания литераторов-коммунистов по вопросам текущей действительности... А затем совещание это организует съезд литераторов и ознакомит их со своей работой, прочитает несколько докладов, общая цель коих — единомышленная борьба с мещанским “ренессансом”¹².

Это письмо вдохновило рапповцев посвятить специальный номер журнала “На литературном посту” теме современного мещанства и борьбы с ним. Было решено привлечь к участию в номере Горького. Вскоре Авербах просил писателя: “Дорогой Алексей Максимович! Мы готовим специальный номер “На литературном посту”, целиком посвящаемый борьбе с мещанством... Нам очень хотелось бы что-либо получить от Вас — тем более, что мысль об этом явилась у нас в результате Вашего письма ко мне”¹³. Горькому идея налитпостовцев понравилась. Почти сразу он решил принять участие в журнале своих бывших врагов, прельщенный жгучей для него темой современного мещанства. 17 января 1929 года он писал своему секретарю П.П.Крючкову: “... Позвоните, пожалуйста, Авербаху в ред. “На лит. посту” и скажите: статью — дам”¹⁴. Как бы оправдываясь, что печатается в органе рапповцев, писатель сообщал И.Жиге 20 февраля: “Напостовцам я дал статейку о мещанстве, ибо они посвятили этой — моей — теме целую книгу”¹⁵. Так в февральском-мартовском номере “На литературном посту” появилась статья Горького “О мещанстве”. Как видим, от полного отрицания деятельности организаторов пролетарского литературного движения Горький перешел к постепенному перевоспитанию этой радикальной молодежи путем прививки ей культурных навыков и расширения ее духовного кругозора, даже к сотрудничеству с ней.

Сближение с Горьким оказалось как нельзя более кстати для лидеров РАПП, переживавших не лучшие времена. В конце 1931 года разразился конфликт между старой гвардией налитпостовцев — Л.Авербахом, В.Ермиловым, А.Фадеевым и др. и новыми членами рапповского руководства — Ф.Панферовым, В.Ильенковым, В.Ставским и др. К развернувшейся в прессе полемике подключилась “Правда” — орган печати, обладавший полномочиями верховного судьи не только в политике, но и в вопросах литературы. Причем на этот раз газета выступила против налитпостовцев в защиту Панферова и его группы. Чувствуя, что земля горит у них под ногами, “авербаховцы” изо всех сил старались заручиться поддержкой Горького. Возможно, именно с этим были связаны визиты к писателю в Сорренто зимой 1931-1932 года Л.Авербаха и А.Афиногенова.

Рапповцы буквально забрасывали Горького письмами, вероятно, рассчитывая на то, что он включится в открытую борьбу на их стороне. В марте 1932 года В.Киршон информировал Горького: "Дела у нас весьма "средние" (я имею в виду лит. фронт). Из бесед с Леопольдом (Авербахом.— Н.П.) по телефону я вынес впечатление, что он зверски нервничает и находится в состоянии "крайних мер" Из номера в номер в "Правде" и "Комсомольской правде" идет против нас кампания. Люди, поставившие своей задачей во что бы то ни стало нас сбросить,— действуют планово и продуманно"¹⁶. В это же время сам Авербах взывает о помощи, рассказывая писателю о "происках" панферовской группы: "В центре литературных событий последнего времени рецензии Серафимовича и Резникова... на роман Ильенкова и книжку рассказов Ставского... Со страниц "Правды" объявляют примером для советского писательства книжки, которые в лучшем случае можно отнести к более... или менее... честным середнякам произведениям, отнюдь не движущим советской литературы вперед..."¹⁷.

Всегда относившийся к травле писателей крайне отрицательно, Горький на этот раз не выдержал и ввязался в литературную драку на стороне "авербаховцев". В статье "По поводу одной полемики" он по сути разгромил восхваляемый Серафимовичем роман В.Ильенкова "Ведущая ось", обвинил автора в небрежной обработке жизненного материала, в "общем почти всем пролетарским писателям" недостатке знаний, отчего "они весьма часто пишут чепуху", в неубедительности героев, в "сомнительности его словотворчества" и т.д. и т.п. В заключение Горький делал вывод, что подобная практика захваливания слабых авторов из узкогрупповых интересов ведет к "организованному понижению культуры" и к "опрощению в литературе"¹⁸.

Статья Горького в поддержку "авербаховцев", напечатанная в "Известиях" 25 апреля 1932 года, не смогла спасти их положения. За день до этого, 24 апреля, было опубликовано знаменитое постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций", по которому РАПП — этот оплот партии в литературе на протяжении всех 20-х годов — был раз и навсегда "ликвидирован". Вероятно, это решение партии было приурочено к возвращению Горького в СССР. Оно было принято накануне его приезда и обнародовано в день, когда писатель пересекал советскую границу. Казалось бы, сбывались давние мечты Горького о прекращении бесплодной групповой борьбы, устранялась почва для бесконечных литературных дразг и ссор, создавались условия для будущего объединения писателей в единый Союз. Однако его не могла не смущать та жестокая, грубо-административная форма, в которой РАПП одним росчерком пера отстранялась от всех литературных дел. О скрытом недовольстве Горького грубыми методами произведенного в литературе "переворота" свидетельствует его фраза, оглашенная М.Козаковым на первом пленуме Оргко-

митета Союза писателей осенью 1932 года: “Я помню, как здесь, в Москве, сразу же после постановления ЦК... Алексей Максимович сказал: “Ликвидировать — слово жестокое”¹⁹.

Вскоре после обнародования постановления ЦК на РАПП и ее руководство со страниц официальной прессы обрушилась беспощадная сокрушительная критика, были закрыты все рапповские органы печати. В этой ситуации Горький как мог старался смягчить жестокую опалу бывших лидеров РАПП, пытался включить их в литературный процесс, приобщить к новым начинаниям и планам. Так на встрече большой группы писателей со Сталиным и другими партийными вождями, состоявшейся на квартире Горького 26 октября 1932 года, писатель решил во что бы то ни стало добиться “реабилитации” лидеров РАПП. В результате бурного собрания, в ходе которого Горький, по воспоминаниям И.М.Гронского, даже “расплакался и заявил, что он уйдет с совещания”²⁰, писатель добился-таки включения в состав Оргкомитета Союза писателей Авербаха, Ермилова и Макарьева. Он же говорил о судьбе Авербаха с самим Сталиным, выхлопотав у него согласие назначить бывшего руководителя РАПП секретарем ответственного издания — серии книг по истории российских фабрик и заводов. “Леопольд,— сообщал он Фадееву в августе 1932 года,— секретарь редакции “Истории фаб. и зав.”, это решено час тому назад хозяином, который хорошо знает, что Л.— даровит”²¹. Несомненно, что мысль о “даровитости” Авербаха Сталину внушил не кто иной как сам Горький. Дружеские отношения с бывшими рапповцами сохранялись у Горького до конца жизни. Знаменательно, что к постели умирающего писателя, наряду с самыми близкими ему людьми, были допущены Авербах и Киршон. Из архивных источников известно, что именно они отвечали 7 июня 1936 года по телефону на вопросы о состоянии больного²².

На первый взгляд кажется, что Горький после постановления ЦК о ликвидации РАПП круто изменил свою литературную политику: если раньше, на протяжении всех 20-х годов, он боролся с засильем напостовцев и рапповцев, то теперь грудью встал на их защиту. На самом деле главное направление его общественно-литературной деятельности осталось прежним. Его можно определить как борьбу за более человеческое, более культурное лицо сталинского социализма, за повышение качества социалистического искусства, за высокое литературное мастерство. Горький по-прежнему выступает против подавления творческой свободы, против партийного нажима и грубого администрирования в области литературы. Однако противник его после постановления ЦК 1932 года сменился. Если раньше функции подавления писательской свободы, командования литературным процессом осуществляли под руководством партии рапповцы, то теперь к власти над литературой пришла группа писателей-партийцев и литературных чиновников. Она-то и стала в дальнейшем главным объектом горьковской критики.

Изучение истории взаимоотношений Горького с пролетарским литературным движением советской эпохи свидетельствует о его резком размежевании с пролетарскими писателями, о неприятии их основных эстетических теорий, творческих принципов и методов литературной борьбы. В свою очередь организаторы пролетарского литературного движения враждебно относились к Горькому, отрицали его право на звание “пролетарского” писателя. Хотя рапповцы исходили при этом из своих узкоклассовых представлений и вульгарно-социологических посылок, они оказались по-своему правы: считать Горького только “пролетарским” писателем, хотя бы и “великим”, — значит обидно сужать общечеловеческое, общенациональное значение его творчества (все равно что Пушкина или Толстого зачислять в разряд “дворянских” писателей!).

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч.— Т.19.— С.251.
- ² На посту.— 1923.— № 1.— С.87, 88.
- ³ Архив А.М.Горького.— М., 1965.— Т.10.—Кн.2.— С.83.
- ⁴ Там же.— С.16.
- ⁵ Там же.— С.17.
- ⁶ Архив А.М.Горького, КГ-п. 55-12-10.
- ⁷ Известия ЦК КПСС.— 1989.— № 3.— С.182.
- ⁸ Архив А.М.Горького.— Т.10.— Кн.2.— С.27.
- ⁹ Горький М. Собр.соч. В 30 т.— Т.29.— С.484.
- ¹⁰ Литературное наследство.— Т.70.— С.20.
- ¹¹ Фадеев А. Собр. соч. В 7 т.— М., 1971.— Т.7.— С.35.
- ¹² Вопросы литературы.— 1986.— № 6.— С.170.
- ¹³ АГ, КГ-п.1-31-17.
- ¹⁴ Там же, ПГ-рл. 21а-1-180.
- ¹⁵ Там же, ПГ-рл. 15-8-13.
- ¹⁶ Там же, КГ-п. 35-18-3.
- ¹⁷ Там же, КГ-п. 1-31-1.
- ¹⁸ Горький М. Собр.соч. В 30 т.— Т.26.— С.295, 297.
- ¹⁹ Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей.— М., 1933.— С.108.
- ²⁰ АГ, МОГ. 3-25-7.— С.20.
- ²¹ Там же, ПГ-рл.47-1-3.
- ²² Там же, МОГ. 7-14-6.

М.ГОРЬКИЙ И В.И.ЛЕНИН
(Неизданная переписка)

В 1992 г. в России и за рубежом появились первые публикации ранее засекреченных писем Горького к Ленину, почти не замеченные исследователями. Речь идет о письме от 19 ноября 1918 г. (в нем писатель просил о бывшем великом князе Г.К.Романове — напечатано в книге “Гибель императорского дома. 1917 — 1919 гг.” Ю.Буранова и В.Хрусталева: М., 1992.— С.323-324) и письмах от 6 сентября, середины декабря 1919 г., а также осени 1920 (разных по конкретным поводам, но объединенных темой интеллигенция и революция), которые напечатаны в статье С.Г.Исакова “Неизвестные письма М.Горького В.Ленину” (“Revue des études slaves”, том 64, часть 1, Париж, 1992.— С.146-147, 149-150, 152). За ними последовали и другие, но все еще единичные публикации¹. Тем не менее это несомненное свидетельство назревшего общественного интереса к переписке Горького с Лениным, которая в преобладающей своей части и, по всей вероятности, обширной, остается неизвестной.² Значимость этих фактов подчеркнем напоминанием, что последнее издание переписки, оснащенное научным аппаратом и претендующее на полноту и непрерываемость, относится к 1969 г.³ После этого не появилось ни одного документа⁴. Изучение переписки, как и ее публикация, многие десятилетия жестко регламентировались партийной цензурой. Исследователи неизменно наталкивались на запреты “секретности” при всех попытках выйти из пределов “дозволенного”. Это и понятно: нарушение невидимых границ было сопряжено с риском разрушения неких важных приоритетов партийно-исторических (коммунистических) мифов: миф о Горьком и Ленине, их взаимопонимании, учительстве одного и ученичестве другого, был в их числе.⁵ Возможность новых подходов, исторически точного понимания отношений и переписки Горького с Лениным, открылась только тогда, когда процесс переоценки ценностей приобрел всесторонний характер. Раскованность общественного сознания, подлинная доступность государственных архивов для научного изучения, надо надеяться, в самом ближайшем будущем позволят по-новому раскрыть эту существенную сторону биографии и деятельности Горького.

Одновременно с настоящей конференцией осуществляется подготовка первой после долгого перерыва (более чем в 20 лет) достаточно объемной публикации — научной по своим задачам — писем Горького к Ленину. Она войдет в сборник “Неизвестный Горький”, который представит третий выпуск серийного издания “Горький и его эпоха”⁶. Публикация включит тринадцать писем Горького Ленину из ранее засекреченных фондов РЦХИДНИ и Архива А.М.Горького (в частности, полученных из бывшего Архива КГБ СССР), еще неизвестных или малоизвестных, т.е. недавно появившихся в периодической печати. Публикацию сопровождает необходимый научный комментарий, касающийся датировки писем, многих и очень разнообразных исторических реалий, упоминаемых в них, без чего их современное восприятие было бы неполным. Документы неоднородны, что отражает сложную судьбу наследия писателя. Здесь, например, одно из писем (от 29 мая 1921 г.) представлено черновиком⁷, по каким-то причинам оставленном в архиве писателя, несмотря на неоднократные “чистки” его специальными органами. Письмо знаменательно как немедленная реакция Горького на очередную волну массового террора⁸, связано с событиями, на которых началась в это время фабрикация “дела Таганцева”. Два письма — 15 и 16 сентября 1920 г. — печатаются по их перлюстрированным копиям⁹. Документы раскрывают совершенно неизвестный и весьма драматичный факт горьковской биографии: писатель в этот момент поставил ультиматум официальным органам в ответ на полный саботаж его усилий по организации книгоиздательского дела, он был весьма близок к решению об отъезде. Выявление каждого из писем имеет свою историю. Соотнесение писем с разным временем взаимоотношений Горького с Лениным (с 1908 по 1921 гг.) позволяет принципиально ставить вопрос о коренном изменении всей “модели” их отношений, совершенно новым их освещении.

Вновь выявленные документы переписки Горького ценны не только своей “информативностью”, не только тем, что дополняют наше знание о писателе. Вероятно, все эти письма, или почти все, из числа “ключевых”, очень важных во взаимоотношениях адресатов. Ряд писем связан с предельно острыми, конфликтными ситуациями — разрывами или почти разрывами отношений: не случайно же они засекречивались. И вместе с тем именно эти, так долго скрываемые письма по-горьковски интересны. В них — яркий отпечаток его личности, его самосознания, понимания человека и революции, его этики, культуры, что особенно ясно при сравнении этих ранее неизвестных писем с теми, которые давно известны. Их преобладающая часть — делового характера, они даже как бы внеэмоциональны (что в общем-то не характерно для переписки). Рассекреченные горьковские письма — именно в силу того, что они были сокровенными, исповедальными для него (в них он — русский социалист и утопист, деятель и делатель революции и культуры, стремившийся к их соединению и не понимавший

неизбежной трагедии их противостояния), заряжены всем разнообразием ищущей и борющейся за дорогое ей мысли, расцвечены откровением переживания. В этих письмах — и острота спора, и уколы полемики, и негодование, и надежда на понимание, которого ждут от единомышленника, и беспокойство за общие тревоги, и обида, даже отчаяние явно неслышанного. Последнее, очевидно, в подтексте, между строк, одного из самых трагичных писем Горького Ленину 29 или 30 июля 1921 г., в котором писатель стремился убедить своего кремлевского адресата в необходимости поддержки и комитета помощи голодающим, и вмешательства в таганцевское дело, — обращаясь к нему доверительно, даже обезоруживающе-откровенно¹⁰. Письмо, однако, не имело никаких положительных последствий: Ленин не внял высказанным доводам, а вскоре был разогнан и якобы контрреволюционный Помгол, расстрелян цвет русской интеллигенции.

Конечно, еще только первое обращение к ранее неизвестному ставит вопрос об общем объеме “скрытого” — либо, действительно, цензурой, либо, вероятно, хотя бы отчасти, и временем, т.е. пропавшего или пока не обнаруженного. Несомненно, что мы не знаем многих и многих писем Горького к Ленину. Об этом свидетельствуют, прежде всего, опубликованные письма Ленина в “канонизированном” составе переписки. Ведь, как правило, Ленин писал — в ответ — на послания Горького, оговорки об этом содержит чуть ли не каждое письмо, но опубликованы только письма Ленина, а не Горького. Сборник документов “В.И.Ленин и А.М.Горький”, имевший три издания, представляет из переписки дореволюционных лет лишь три полных письма Горького и сорок семь ленинских. Пропорции искажения (вернее, фальсификации) реального “диалога” советской поры, судя по этому же изданию, несколько иные. Но здесь действовали уже совсем другие законы обоюдности. О значительности “подводной” части “айсберга” этих лет переписки говорят косвенные данные. Вот одно свидетельство самого писателя. 13 июля 1921 г. он писал с горечью В.Г.Короленко: “... об аресте, болезни и смерти К.Н.Ляховича (зятя Короленко.— *И.Р.*) знал давно По этому поводу я послал телеграмму Ленину и Луначарскому, первый, очевидно, ничего не сделал, второй — бессилён ... горечь Вашего письма я очень чувствую, но — дорогой мой В.Г.— если б Вы знали, сколько я знаю тяжких драм! Не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию ... Не могу перевести из Крыма в Москву Тренева, Шмелева, Сергеева-Ценского, Деренталя — не могу вот уже третий месяц”¹¹. Горький упоминает здесь несколько обращений в правительственные инстанции, вероятно, и к Ленину, но о них ничего не известно по официальным источникам. Состав переписки советских лет остается в целом еще не установленным. Более того, он тоже многие десятилетия скрывался — прежде всего — идеологическими запретами, что породило разного рода трудности доступа к систематизирован-

ной информации, либо просто ее отсутствие. И тем не менее, первые шаги к “непознанному” во всех его частях должны обогатить наше восприятие Горького. Что же наиболее существенного следует выделить в связи с этим, памятуя о перспективе только “открывающегося целого”?

Всего два рассекреченных письма — начала февраля 1908 г. и начала ноября 1909 г.¹² — позволяют говорить, что прежде из-за официальной версии биографии писателя из переписки изымалась самая суть, ее главное историческое содержание, а именно — дискуссия о социализме, спор о его типах. В переписке с Лениным Горький был его оппонентом, яростные стычки приводили к размолвкам, а потом и к разрыву¹³. Ситуация поисков, расколов, противостояний была свойственна для внутреннего состояния российской социал-демократии в это время. Социалистическая идея утверждала себя трудно, драматично. Отнюдь не самые левые оттенки (Ленина и его приверженцев) получали веские оправдания — в явных успехах социал-демократии в Европе. Горький участвовал в борениях своего века, как и многие, был привержен революционной среде, но вместе с тем оставался чужд “ортодоксальному” — ленинскому — большевизму. Это особенно наглядно демонстрирует ноябрьское письмо 1909 г., связанное с одним из кульминационных моментов борьбы между сторонниками Ленина, а с другой стороны — А.Богданова. Горький отвечал на ленинское письмо по поводу раскола в каприйской школе, которое было своеобразным жестом протянутой руки, но только для Горького, а не для других организаторов ее. Последовал непримиримый и полемичный горьковский ответ. То предпочтение, которое Горький отдавал в нем богдановцам, не было кратковременным увлечением, не было ошибочным “отклонением” от “верного пути” (большевик-ленинцев)¹⁴. Позиция Горького заключала осознанную альтернативу, писатель и в последующем защищал свои взгляды как определенную систему. В “другом марксизме” Богданова и его сторонников (если пользоваться термином, к которому прибегает по западной традиции Б.Парамонов¹⁵) Горький находил развитие социалистической мысли, нечто ценное и новое для нее. Привлекало его более объемное представление о социализме, что для него было связано с комплексом взаимодополняющих идей — монизма, философии коллективизма, идеи пролетарской культуры. Социализм тем самым очерчивался не только как политическое учение по преимуществу, а как “целостное миропонимание” (что писатель подчеркивал в ноябрьском письме). Горьковские искания 1910-х гг. тяготели к социал-демократической модели социализма: соединению социализма и демократии, предпочтению преемственности в развитии, а не взрывов, гуманизации социалистического идеала. Позднее именно такого рода ориентация привела Горького к противостоянию большевикам в период октябрьского кризиса 1917 г., к острейшей критике ленинской позиции в момент переворота (она нашла выражение в цикле “Несвоевременных мыслей”). В

1917 г. писатель провозглашал программу “творчества новой культуры”, а пролетариат “мощной культурной силой в нашей темной мужицкой стране”¹⁶. В призме этих идей он рассматривал задачи и историческое содержание совершающейся революционной ломки.

Большая часть ставших недавно известными писем Горького к Ленину относится к 1919-1921 гг. Каждое из них по-своему дополняет горьковскую биографию этих насыщенных, драматических годов — или “стирая” так называемые белые пятна, или внося коррективы в то, что казалось вполне ясным и осознанным. Именно эти письма выявляют серьезность оппозиции писателя большевистскому режиму, принципиальность разногласий, а в связи с этим обосновывают неизбежность отнюдь не добровольной и неизбежной почти эмиграции¹⁷, а также сложность и противоречивость исторического принятия Горьким революции и ее гуманистической критики. Очевидным центром этих документов являются публицистические страстные протесты против красного террора, направленного против интеллигенции: прежде всего, письма от 6 сентября и второй декады того же месяца 1919 г.¹⁸ О заступничестве Горького за арестованных известно, письма по этим поводам печатались и раньше. Однако “запрещенные” — и по мотивам, и по силе реакции — отличаются от разрешенных на эту, “больную” для того времени, тему. Эти письма — не только призывы к милосердию, не только ходатайства-заступничества. Это — в первую очередь — политические декларации-протесты. Не случайно Ленин отреагировал на них с яростным гневом, убежденный в необходимости террористических мер, обвиняя писателя в мягкотелости и недалекости¹⁹. Однако современники, не защищенные от произвола революционной власти, восприняли письмо от 6 сентября 1919 г. именно как политический манифест против террора. О том, что оно “ходило по рукам” в Петербурге, позднее вспоминал И.И. Манухин²⁰. Следует подчеркнуть реальный драматизм горьковских обращений к Ленину в сентябре 1919 г. Именно в то время, когда писатель протестовал против “варварской и позорной тактики”, “истребления научных сил страны”, “мозга народа” — Ленин высмеивал “левых” меньшевиков и всех других, кто “особенно любит возмущаться “варварскими” приемами борьбы”²¹. Горький отстаивал необходимость “союза” власти с интеллигенцией, Ленин — неограниченность диктатуры революционного пролетариата. Реальное противостояние позиций касалось не частных, а существенных сторон: представлений о социальной базе революции, отношения к методам борьбы. Горький, “социалист по духу”²², не принимал “революционизма” в теории и практике, защищал революцию как культурно-социальное строительство. Утопизм обрекал писателя на крайнюю сложность позиции: связывая с революцией будущее России, он сотрудничал с новой властью, но и оста-

вался в оппозиции к ней. Острота горьковского сопротивления, оппозиционности, полемики с Лениным и представителями революционной власти не могли не осложнять его положения, обрекали его на отторжение от реальных “творцов” “нового мира”. Позднее писатель не смог сказать всей правды об этом в очерке “В.И. Ленин”, где, казалось бы, он должен был сделать это²³. Внутренним пафосом, даже публицистически-страстной стилистикой письма-декларации близки принципиально “Несвоевременным мыслям”: писатель отнюдь не легко расставался со своими коренными убеждениями, примиряясь с жестокостью исторической данностью.

Расскреченные письма первых советских лет содержат немало фактов, касающихся созидательных усилий писателя, его попыток — увы безуспешных — направить деятельность новой власти в цивилизованное русло, использовать огромный потенциал “старой” интеллигенции, представителей небольшевистских партий.

Как свидетельство органической причастности Горького быту революционных лет, тем жестоким будням — болезненным и страшным — по-своему выделяется письмо 29 или 30 июля 1921 г. В нем писатель убеждал Ленина в необходимости доверия к Всероссийскому комитету помощи голодающим, защищал арестованных по таганцевскому делу, одновременно протестуя против действий ЧК по нему как очередной провокации. Горький писал о работе Комиссии по улучшению быта ученых, об организации помощи голодающим-беженцам на месте — в Петрограде, защищал от гонений одного из церковнослужителей по просьбе многочисленных рабочих (из пригорода Петрограда). Каждая фраза письма — новая просьба, новое свидетельство страданий и тягот людей. Писатель врос в тяжелые будни революции, к нему стекались просьбы о помощи, о защите от произвола, “к Горькому” — “шли” буквально “все”, “шли” интеллигенты и рабочие. И в то же время чуть ли не каждая строка письма, неся тяготы людей — нечеловеческого времени — была предъявлением счета власти. Письмо писалось в момент, когда надежды повлиять на течение дел — и частных, и общих — уже оставляли Горького. И был прав в предчувствии: оно не помогло.

Те письма, которые еще предстоит открыть исследователям, еще не известные, несомненно, помогут отчетливее проследить развитие отношений адресатов как в полном объеме, так и на отдельных этапах неизбежных “расхождений”.

Сейчас очевидны первые, хотя и предварительные итоги “возвращения” неизданной переписки Горького с Лениным. В ней запечатлен реальный трагический опыт нашей истории, что вызывает огромный интерес к ее изучению. Уже первое обращение к этой части горьковского наследия существенно меняет понимание эволюции и целостности позиции писателя в дореволюционное время, своеобразии и неортодоксальности его социа-

листических убеждений, позволяет ввести в его биографию новые факты — расширяя, в частности, представления о деятельности послереволюционных лет, реальном драматизме сотрудничества с большевиками, оппозиции им. Дальнейшая задача заключается в том, чтобы ввести все новые факты в контекст художественного творчества писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В газ. "Труд" (1993.—16 февраля) опубликовано пять писем под заголовком "...Красные" тоже не товарищи мне": Письма М.Горького В.Ленину". Публикация подготовлена И.Селезневой и Н.Надеждиной. В журн. "Кентавр" (1993.— № 1.— С.60-62) опубликовано сентябрьское письмо 1919 г. (без даты).
- 2 Напоминю обращение научной и художественной интеллигенции сразу же после событий августа 1991 г. с Открытым письмом к В.В.Бакатину по поводу полной засекреченности КГБ СССР и неправомерно долгом хранения на таком режиме всей переписки Горького с Лениным 1918-1922 гг. (Независимая газета.— 1991.— 29 августа).
- 3 Речь идет о сб.: В.И.Ленин и А.М.Горький: Письма. Воспоминания. Документы.— Изд. 3-е, доп.— М., 1969.
- 4 Одно исключение — сообщение в "Правде" (1976.— 7 мая) в статье В.Молчанова "Письмо с Капри: Поиски, находки" о недавно обнаруженном за рубежом письме Горького Ленину — лишь подтверждает это: письмо не было опубликовано, а информация о нем давала фальсифицированные сведения.
- 5 К сожалению, Горький сам сделал немало для утверждения этого мифа в своих позднейших высказываниях. В частности, во второй редакции очерка "В.И.Ленин", написанной в 1930 г.
- 6 Он намечен к выходу в конце 1994 г. в изд-ве "Наследие" при ИМЛИ им. А.М.Горького (М.).
- 7 Архив А.М.Горького, ПГ-рл.23-44-3. Беловой автограф не найден.
- 8 В ночь на 27 мая 1921 г. в Петрограде было арестовано 180 человек. См. сб.: В.И.Ленин и ВЧК. Сборник документов. (1917-1922 гг.).— Изд. 2-е, доп.— М., 1987.— С.431.
- 9 Они недавно переданы в Архив А.М.Горького из бывшего Архива КГБ СССР.
- 10 См. письмо в РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 1, ед.хр. 26253.
- 11 АГ, ПГ-рл.20-8-34.
- 12 РЦХИДНИ, ф.2, оп.1, ед. хр. 26354, 2577.
- 13 Об этом см. воспоминания Н.Валентинова в его кн.: Малоизвестный Ленин.— Париж, 1973.— С.156.
- 14 Такой была общепринятая точка зрения на период каприйских разногласий Горького с Лениным. См., например: Овчаренко А. Публицистика М.Горького.— М., 1958.— С.240.
- 15 См. его статью — Горький, белое пятно // Октябрь.— 1992.— № 5.— С.158 и др.
- 16 Новая жизнь.— Пг., 1917.— 6(19), 10(23) декабря.
- 17 Как "полу-изгнание" рассматривала отъезд Горького за границу в 1921 г. Е.Кусова. См.: Новый журнал.— Нью-Йорк, 1954.— Кн. 38.— С.239.
- 18 См. указанные публикации в газ. "Труд" и журн. "Кентавр"
- 19 См. письма Ленина 15 и 18 сентября 1919 г.// Ленин В.И. Полн. собр. соч.— Т.51.— С.47-49, 51-52.
- 20 Новый журнал.— Нью-Йорк, 1967.— Кн. 86.— С.156.
- 21 Ленин В.И. Полн. собр. соч.— Т.39.— С.62.

²² Новая жизнь.— Пг., 1917.— 7(20) декабря.

²³ Речь идет о редакции 1924 г. Хотя Горький и продолжал в ней полемику с большевиками, говоря, например, об “упрощенности” подхода Ленина к жизни, но уступками “поминальному” жанру, обязывающему говорить прежде всего “хорошее” об ушедшем, порождал начало “легенды” о Ленине — идеализацию его исторического облика. Свою несомненную роль сыграли также другие причины: и собственная эволюция писателя, и диктат политических обстоятельств.

К ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРВОГО ВАРИАНТА ОЧЕРКА “В.И.ЛЕНИН”

Первая публикация на русском языке первоначального варианта воспоминаний о Ленине стала для Горького весьма драматичным фактом.

22 января 1924 г., уже на следующий день после смерти Ленина, А.Н.Тихонов отправил Горькому телеграмму, а вслед за ней и письмо, с просьбой написать для вновь организованного им журнала “Русский современник” воспоминания о Ленине. Тихонов писал, что даже готов задержать выход первого номера журнала, так как публикация горьковских мемуаров сыграет огромную роль в судьбе этого издания.¹

Вскоре с аналогичной просьбой к писателю обратились В.А.Десницкий, предполагавший издать сборник воспоминаний о Ленине, и О.Ю.Шмидт, возглавлявший Госиздат. Как известно, Горький в этих просьбах отказал и обещал рукопись “Русскому современнику”. “Спасибо Вам большое за рукопись об Ильиче. Ждем ее с нетерпением”, — писал Тихонов Горькому 30 января.²

Менее чем за десять дней Горький написал воспоминания о Ленине, о чем сообщал в ряде писем уже в начале февраля, неоднократно добавляя при этом, что не вполне удовлетворен своей работой, однако считал рукопись законченной. Уже через несколько дней М.И.Будберг выехала в Берлин, где, как она писала Горькому 12 февраля, передала рукопись воспоминаний сначала для чтения на вечере в память Ленина. Именно в Берлине впервые прозвучали отрывки из горьковских мемуаров, которые читала М.Ф.Андреева. Далее Будберг сообщала в письме: “Статья переписана на машинке, теперь значит надо отправлять в Париж Тихонову. New York Herald уже взял, прямо набросился, также и Berliner Tageblatt”.³ Таким образом, уже к середине февраля горьковские воспоминания о Ленине поступили для публикации в несколько зарубежных изданий.

Тогда же, 12 февраля, Горький писал в Берлин своему постоянному корреспонденту профессору Ф.А.Брауну, соредактору по журналу “Беседа”: “В Петербурге выходит первый “независимый”, но, разумеется, подцензурный журнал “Русский современник”. Редакция: Тихонов, Замятин, Чуковский. Журнал “толстый”, исключительно литературный, пригласили

меня сотрудничать. Что-то будет?"⁴ Такой вопросительной интонацией писатель заключил суждение о будущем журнала, изначально понимая его весьма относительную независимость, неслучайно написав это слово в кавычках.

Однако еще 20 февраля Горький не имел перепечатанного на машинке экземпляра своего очерка. "Очень огорчен тем,— писал он Крючкову,— что воспоминания о Ленине так задержались".⁵ По-видимому вскоре машинопись очерка была отправлена Тихонову, который телеграфировал 3 марта: "Рукопись получил".⁶ Но уже через два дня, 5 марта, Тихонов вновь шлет телеграмму: "Редакция просит разрешения сделать небольшие сокращения политической части рукописи. Ждем ответа. Пишем".⁷ Через три дня, 8 марта, вновь телеграмма от Тихонова: "Одно письмо сокращениями получил. Будет ли второе. Без просимых редакцией сокращений печатать невозможно, поверьте".⁸ К сожалению, ответных писем Горького Тихонову с указанием, что именно сократить, нет в Архиве писателя, в том числе и в фонде Тихонова, в части, относящейся к переписке редакции "Русского современника". Можно лишь предполагать, случайность ли это? Однако безусловно, что предложенные писателем сокращения, если таковые и были, не удовлетворили редакцию журнала. Об этом свидетельствует пространное письмо Тихонова Горькому от 22 марта, которое до сих пор не было опубликовано. "Посылаю Вам статью о Владимире Ленине в том виде, как она будет напечатана,— писал Тихонов.— Прочитав ее, я уверен, вы согласитесь, что сокращения, очень незначительные, которые мы позволили себе в ней сделать, нисколько не меняют ее содержания. Они были необходимы для нас. Мы журнал литературный исключительно. Всякие отступления от чисто литературных тем ставят нас перед двойной опасностью, внутренней и внешней. Внутренняя — это редакция и сотрудники — люди разных мнений, иногда совершенно не похожих на те, что изложены в статье, внешняя — давление со стороны и возможность закрыть журнал, разрешение на который удалось добиться с огромным трудом. Как раз здесь все эти опасности встали перед нами во весь рост.

Я нисколько не сомневаюсь, что живи Вы здесь с нами, Вы первый бы предложили изменить статью. Многие, что в ней сказано, звучит здесь в Москве совсем не так, как предполагает автор. Многие о чем писал в общем плане, становится здесь конкретным лозунгом, который будет использован совсем не в интересах автора и его целей. Некоторые фразы, употребленные автором без злого умысла, дадут повод к оправданию поведения, которое, я уверен, возбудило бы у самого автора, глубокое возмущение. К сожалению, в письме очень трудно изложить всю совокупность причин, принудивших нас к такому необычному для нас обращению с чужой рукописью, но я думаю, Вы поймете, что мы действовали правильно.

Хотелось бы конечно, чтобы наши поправки были внесены и в списки рукописи, которые будут печататься в других издани-

ях, как в России, так и за границей. Разница текстов может быть чревата для нас многими неприятностями".⁹

Именно то, чего опасался Тихонов, уже произошло: сначала, как мы отметили, текст ряду зарубежных изданий передала Будберг. А 14 марта Ф.А.Браун сообщил Будберг, что Крючков дал ему для перевода на немецкий язык статью Горького о Ленине. "Я взялся перевести в неделю,— писал Браун.— Статья мне очень понравилась, надеюсь, что перевод выйдет хорошо".¹⁰ Таким образом, пока редакция "Русского современника" в страхе перед цензурой продолжала "редактировать" горьковский текст, все переводы для зарубежных изданий осуществлялись по первоначальному авторскому варианту.

Основной аргумент Тихонова, что журнал чисто литературный, выглядит, мягко говоря, наивно, ибо написать о Ленине и своих взаимоотношениях с ним и не коснуться в той или иной мере политики, было просто невозможно.

Как отреагировал на это письмо Горький, мы, к сожалению, не знаем, так как его ответного письма нет в Архиве, а в последующих письмах к Тихонову писатель более не касается этой темы. Да и в их столь частой переписке (по материалам Архива писателя) наступил довольно длительный перерыв.

А тем временем работа над горьковским текстом в редакции и в цензуре продолжалась. И, наконец, 5 апреля Тихонов обращается к члену редколлегии журнала А.М.Эфросу, по-видимому передавшему очерк в Главлит: "Сообщите нам, пожалуйста, окончательный текст Горького. Надо верстать".¹¹

Около 10 мая 1924 г. вышел первый номер "Русского современника" с публикацией горьковских воспоминаний, озаглавленных "Владимир Ленин" (как известно, авторское заглавие в рукописи — "Человек"). К середине мая идентичный текст воспоминаний появился в отдельном издании. Именно этот сокращенный текст в течение трех лет был известен русскому читателю. С него уже в 1924 г. были сделаны переводы на армянский и грузинский языки.

Что же было изъято редакцией журнала, а возможно и не без участия цензуры? Как следует из "Описания рукописей Архива Горького" очерк впервые напечатан в журнале с незначительными редакционными изменениями и с пропуском нескольких абзацев рукописи. Готовя много лет тому назад 1924-ый год в "Летописи жизни и творчества Горького" я, не имея возможности привести письмо Тихонова, написала в примечаниях к статье о первой публикации, что воспоминания о Ленине были напечатаны "с небольшими сокращениями политического характера, которые сделаны редакцией журнала, по-видимому, с разрешения Горького".¹²

О незначительных редакционных изменениях в первой публикации очень кратко сказано и в комментариях к академическому собранию сочинений Горького.

Однако при сличении белового автографа, состоящего из 35 страниц, с текстом первой журнальной публикации, нами отме-

чено изъятие примерно трех с половиной страниц рукописного текста, т.е. около одной десятой объема рукописи. Редактуре подверглись страницы 1, 3, 12, 13, 14, 21, 22, 26, 34 рукописного текста. Вряд ли это можно считать незначительным сокращением. А главное — были изъяты чрезвычайно важные концептуальные строки. Косвенным подтверждением того, что Горький не был согласен с этими сокращениями, было почти полное и дословное включение автором этих страниц и абзацев в текст очерка, напечатанный в XIX т. сочинений Горького, вышедшем в изд-ве “Книга” в Берлине в 1927., а затем и в XX т. Собрания сочинений, опубликованном в ГИЗе в 1928 г.

Отметим лишь наиболее значительные сокращения. Так, были изъяты около двух страниц рукописного текста, где Горький говорил о том, что Ленин своими “тезисами” приносил в жертву русскому крестьянству “политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию”. Именно на этих страницах писатель развил свои мысли о преобразующей роли интеллигенции в жизни России. В этой связи он писал о Каприйской школе, о деятельности “Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук”. А завершались эти страницы словами о том, что “начинание это (т.е. “Свободная ассоциация”. — Л.И.) было уничтожено Октябрьской революцией, средства “Ассоциации” конфискованы”. Восстановленные в изданиях 1927-1928 гг., эти страницы почти полностью включены и во вторую редакцию очерка о Ленине, написанную в 1930 году. Однако здесь они заключаются критической авторской самооценкой — “так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался”. Следует уточнить, что не 13 лет назад, а всего лишь два года назад Горький не считал свою оценку ленинских “тезисов” и суждения о роли интеллигенции ошибочными.

Вряд ли есть необходимость говорить о том, почему Горький должен был так написать. Если в спорах с Лениным он еще мог отстаивать свою позицию, то полемизировать с его “наследниками” он уже не мог и вынужден был закончить вторую редакцию очерка заново приписанной фразой, что эти “наследники” “работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал”.

Второй, изъятый в “Русском современнике”, большой отрывок начинался фразой: “много писали и говорили о жестокости Ленина” (с. 21-22) и составил около полутора рукописных страниц. Высказывая в общей форме суждения о том, что “у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали “обыденной жизнью”, писатель приводил эпизод, рассказывающий о поведении участников съезда “деревенской бедноты”, загадивших ценности Зимнего дворца именно в силу этого чувства. Попутно хочу заметить, что как мне представляется, именно этим стремлением руководствуются

и многие авторы статей о Горьком, появившихся в последние годы, то есть “стремлением принизить выдающегося человека до уровня понимания своего”.

Однако не меньший вред приносят и попытки ложной сенсационности, предпринятые как бы и в защиту писателя. Так, в январе 1990 г. журнал “Молодой коммунист” опубликовал первоначальную редакцию очерка “В.И. Ленин” с подзаголовком: “Первая публикация в СССР полного авторского варианта очерка”. В действительности это всего лишь перепечатка с берлинского издания, повторенного в 1928 в ГИЗе. Автор публикации А. Казаков заявляет, что спустя 63 года это первая публикация в СССР первоначального варианта очерка. Но если Казаков не считал берлинское издание советским, то XX том гизовского Собрания сочинений с идентичной публикацией очерка нельзя “не заметить”. Подобный непрофессионализм так же не способствует выявлению истинной позиции Горького.

Таким образом, если впервые пресс послеоктябрьской цензуры Горький-публицист испытал в 1918 г. при закрытии газеты “Новая жизнь”, то Горький-писатель в полной мере ощутил его при напечатании воспоминаний о Ленине. Публикация первого варианта очерка, написанного Горьким еще без самоцензуры, была искаженной и не отвечала воле автора и его тексту.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ АГ, КГ-п. 76-1-21,22.
- ² Там же, КГ-п. 76-1-24.
- ³ Там же, КГ-рзн. 1-157-55.
- ⁴ Там же, ПГ-рл. 6-35-22.
- ⁵ Там же, ПГ-рл. 2а-1-42.
- ⁶ Там же, КГ-п. 76-1-25.
- ⁷ Там же, КГ-п. 76-1-26.
- ⁸ Там же, КГ-п. 76-1-27.
- ⁹ Там же, КГ-п. 76-1-30.
- ¹⁰ Там же. КГ-изд. 3а-3-8.
- ¹¹ Там же, Фонд А.Н.Тихонова, Кн.п. 71645.
- ¹² ЛЖГ.— вып. 111.— С.374.

М.ГОРЬКИЙ И В.И.ЛЕНИН

Разрушение легенды

Тема “Горький и Ленин” была приоритетной в традиционном советском горьковедении,— за разрешение ее брались лишь самые маститые, официально признанные исследователи.

В 30-х — 50-х годах сложилась определенная концепция, согласно которой Горького и Ленина, двух действительно крупных исторических деятелей, связывала горячая, даже несколько идиллическая дружба, единомыслие и взаимопонимание. И если первый иногда недопонимал и ошибался в оценке социально-политических явлений, то второй — разъяснял и направлял¹.

Огромность и серьезность этой темы не позволяют сразу и вдруг пересмотреть все ее аспекты. На это потребуется время и время. Сейчас возможно лишь критическое осмысление отдельных периодов взаимоотношений Горького и Ленина, сопоставление их взглядов на определенные политические явления, анализ конкретных эпизодов их общения.

Одним из кратковременных заблуждений Горького представлялось его сотрудничество с группой “Вперед”. Исследователи этой темы делали акцент на быстрое (сразу же после Каприйской школы) прозрение писателя под влиянием Ленина и возвращение к сотрудничеству с большевистской фракцией РСДРП. Анализ документов, связанных с этим периодом,— как уже известных, так и некоторых новых,— приводит к иным выводам.

Каприйская рабочая школа, функционировавшая в августе — декабре 1909 г., по существу, закончилась провалом. Отказ Ленина участвовать в школе, идеологический раскол в среде рабочих, между “учениками” и “учителями”, некрасивые счеты и дразги (в буквальном смысле слова) между дамами-патронессами, которые взялись обустроить быт рабочих, наличие среди учеников (как выяснилось позже) нескольких провокаторов, засланных охранкой,— все это свело на нет результаты обучения и саму цель школы — дать политические, экономические и культурные знания рабочим-пропагандистам. “... Померла моя надежда № 101-й”, — к такому печальному итогу пришел Горький².

К концу обучения тяжелыми и сложными стали его отношения с коллегами-учителями: “Алексинский — жалчайшая лич-

ность, ибо он дегенерат и нигилист”, — написал Горький Амфи-театрову 4(17) или 5(18) января 1910 г.³

Положение дел в Каприйской школе, нелестные отзывы Горького об Алексинском (также — о Богданове и Луначарском) стали известны Ленину уже в начале ноября 1909 г. от Н.Е.Вилонова. 3(16) ноября 1909 г., после беседы с ним, Ленин написал Горькому обширное письмо, в котором, не скрывая удовлетворения от раскола, поспешил отделить Горького от каприйских лекторов, связать его имя и авторитет с рабочим движением и выразил надежду, что теперь они “встретятся *еще не врагами*”⁴. То есть, до этого момента Ленин готов был видеть в Горьком идейного противника.

Ответ Горького в ноябре 1909 г. на это письмо вошел в научный оборот только в начале 1993 г.⁵ Как видно из него, Горький отлично понял, что за комплиментарными фразами о “таланте художника”, о “громадной пользе” его для рабочего движения скрывается намерение заманить в свой стан, и высказал свое к этому отношение: “... порою мне кажется,— писал он Ленину,— что всякий человек для Вас — не более как флейта, на которой Вы разыгрываете ту или иную любезную Вам мелодию, и что Вы оцениваете каждую индивидуальность с точки зрения ее пригодности для Вас,— для осуществления Ваших целей, мнений, задач”.

Ленин ответил на это очень мягко, осторожно обходя все острые темы, объясняя их “иной точкой зрения на весь современный момент”. Даже лексика ответа не типична для Ленина: “Насчет приезда — это Вы напрасно”; “... насчет отталкивания рабочих тоже напрасно”; “... я думал, что беседы у нас с Вами не выйдут беседа у нас с Вами *все же* получилась,— не без задоринки, конечно...”⁶.

Несмотря на явное нежелание Ленина идти на конфронтацию, Горький не был убежден, что “беседа получилась”, — переписка прекратилась. Но Ленин внимательно следил за политическими настроениями Горького, получая сведения о нем окольными путями. 14(27) марта 1910 г. он сообщил Вилонову: “С Горьким переписки нет. Слышали, что он разочаровался в Богданове и понял фальшь его поведения”⁷.

Первым после перерыва написал Горький в середине марта ст. ст. 1910 г. Но прежде чем предпринять анализ этого письма, должно обратить внимание на следующий факт: за 1910 год известно четыре письма Ленина к Горькому и одно — к М.Ф.Андреевой. В этом году они виделись на Капри, где Ленин прожил с 18 июня ст.ст. до 1(14) июля. Письма же Горького к Ленину за 1910 г. считаются неразысканными. И когда ниже мы будем говорить о горьковских письмах к Ленину, это будет не прямое обращение к текстам Горького, а опыт реконструкции (или, точнее, выявления) тематики их на основе ленинских ответов.

Итак, первым написал Горький в середине марта ст.ст. 1910 г. Ленин ответил 29 марта (11 апреля) 1910 г. По этому

ответу можно заключить, что письмо Горького не было дружеским. Горький предъявил адресату какие-то претензии, на что Ленин ответил так: “Ругал ли я Вас и где? Должно быть, в “Дискуссионном листке” № 1 Посылаю его”⁸. В № 1 “Листка” опубликованы “Заметки публициста”, где Ленин адресовал Горькому отнюдь не ругательства, а весьма лестные слова, в частности, очень известное: “...Горький — безусловно крупнейший представитель *пролетарского искусства*”⁹.

Следующая тема, затронутая Горьким в письме, также высказана им не бесстрастно. “Теперь насчет объединения,— ответил Ленин,— факт или анекдот? — спрашиваете Вы. И далее подробно изложил свой взгляд на необходимость объединения большевиков с другими социалистическими партиями, фракциями и течениями так, как если бы говорил со своим единомышленником. Он даже принял некорректную оценку Горького (“анекдот”) и еще более заострил ее: «“анекдотическое” в объединении сейчас преобладает ... подает повод к хихиканью, смешкам и пр.»¹⁰. Опять-таки Ленин ищет понимания, явно игнорируя некоторую агрессивность горьковского тона, навязывая ему свою точку зрения. Он не хотел замечать инакомыслия Горького, и его не смутила резкость адресата. Между тем других своих политических оппонентов за меньшую “провинность” он изничтожал не столько контраргументами, сколько жесткими, даже грубыми, выпадами против личности. В том же письме: “экий подлец этот Потресов”; “болван (или жулик) Потресов”; “пустозвон Троцкий”.

Вероятно, и после этого письма Горький промолчал.

Через три месяца Ленин приехал на Капри из Парижа с единственной целью обратить Горького в свою веру. Но за несколько дней до того Горький получил два письма: из Парижа от Алексинского, написанное 10(23) июня 1910 г. и из Женева от Богданова с датой 14(27) июня 1910 г. Оба корреспондента оптимистично оценивали политический успех группы “Вперед”, писали о подготовке нескольких сборников членами группы, просили у Горького материал и сообщали о положении дел в России.

Алексинский, в частности, писал: “В России оживление: приток в партию очень сильный, в Москве возобновились митинги и массовки по окрестностям (как в 1904 и начале 1905 г.)”¹¹. Богданов: “Тяга к организации со стороны рабочих огромная. Впередовцы в П-рге, Москве и центре пользуются наибольшим сочувствием”¹².

Встреча с Лениным состоялась под впечатлением этих сообщений лидеров группы “Вперед”.

18 июня ст.ст. 1910 г. Пятницкий записал в дневнике: “К обеду приезжает Ленин... Возвращаюсь к чаю. Разговор между Лениным и А.М. ... Вернулся в 3 часа ночи: еще спорят”¹³. Запись эта, опубликованная в двух официозных изданиях именно в такой редакции, много раз цитировалась в литературе о Горьком, кочуя из статьи в статью, из монографии в моногра-

фию. Между тем текст Пятницкого в обоих изданиях фальсифицирован. Подлинная его запись такова: “К обеду приезжает Лен. Возвращаюсь к чаю. Разг. между Лен. и А.М.— М.Ф. старается прекратить, предлагает разойтись. Я простился и ушел. Гулял. Вернулся в 3: еще спорят”¹⁴.

Часть фразы Пятницкого, выброшенная из текста, меняет психологическую картину встречи. Между Лениным и Горьким происходит не просто разговор, но жесткий спор, который длится почти полсутки, от обеда до трех ночи, и достигает такого накала, что Андреевой приходится чуть ли не разнимать собеседников.

Единодушия нет с первого дня, что косвенно подтверждает позднее сам Горький. В очерке “В.И.Ленин” (1924 г.) в письме к Н.К.Крупской (1930 г.) Горький расскажет, как они ездили на рыбную ловлю, беседовали о литературе, играли в шахматы, и как бы между прочим заметит, что Ленин мог “часами вести спор с товарищем” Товарищем Ленина на Капри был Горький, и многочасовые споры велись, конечно, не о шахматах и не о рыбной ловле.

Именно потому, что “товарищ” оставался при своем убеждении, первое письмо на Капри Ленин адресовал не ему, а М.Ф.Андреевой. Это письмо от 1(14) августа 1910 г. о партийных делах, докладах, Конгрессе явно предназначалось Горькому, хотя в тексте ему адресовано лишь довольно сухое — “Привет А.М.”¹⁵.

За это время слухи о “разочаровании” Горького в Богданове стали известны самому Богданову (от Малиновской, тогда — члена группы “Вперед”) и в письме от 27 сентября ст.ст. 1910 г. он спрашивал Горького: верно ли, что тот окончательно порвал с впередовцами¹⁶. Мы не знаем, что Горький ответил Богданову, но Малиновской он прочел довольно жесткую нотацию в письме и не подтвердил версию о разрыве: “Не стоит распространять обо мне слухи, не имеющие никакого отношения к серьезному и, вероятно, одинаково дорогому для нас делу ... И особенно не стоило сообщать об этом А.А.— он интересный писатель, ценный мыслитель, но в личных отношениях человек неустойчивый, грубый и туповатый”¹⁷.

Не трудно заметить, что сильное раздражение против Богданова Горький не переносит на его политическую и философскую доктрину.

Прошло четыре месяца со времени встречи на Капри, когда от Ленина пришло письмо Горькому. Поводом его была надежда получить от Горького и каприйской эмигрантской колонии деньги на “Рабочую газету”.¹⁸ Горький не ответил.

В это же время он принял решение не ехать в Болонью, где впередовцы организовали вторую школу для рабочих. Амфитеатрову в письме от 2(15) декабря 1910 г. объяснил отказ нежеланием “встречаться с людьми неприятными”. К “неприятным людям” Горький относил безусловно только Богданова, ибо

уточнил в том же письме: “давно уже отказался от всяких сношений с ним. И вообще с ними...”¹⁹.

Это было принято советскими исследователями как аргумент в пользу полного разрыва Горького с группой “Вперед” Между тем, “с ними” — с Г.А.Алексинским и А.В.Луначарским, отношения оставались деловыми и доверительными. Письма к ним неизменно исполнены уважения и взаимопонимания. Характерны даже обращения: “Дорогой Григорий Алексеевич”, “Дорогой товарищ”, — это Алексинскому; “Уважаемый товарищ”, “Уважаемый Анатолий Васильевич” — Луначарскому.

Что же касается отношения Горького к группе “Вперед” как политическому течению в РСДРП, об этом можно судить по следующим фактам. Объясняя Малиновской в письме от 26 января ст.ст. 1911 г. свой отказ участвовать в Болонской школе теми же мотивами, что и Амфитеатрову, Горький заключил: “Можно работать в одной линии и не встречаясь лично”²⁰. И эта одна линия с впередовцами прослеживается у Горького довольно явно, хотя бы по отзыву его о втором сборнике “Вперед”.

В начале марта ст.ст. 1911 г. он сообщил Алексинскому: “Прочитал второй выпуск “Вперед” и Вашу статью — хорошо! Без комплиментов — статья превосходная по цельности настроения, по силе и ясности языка и, разумеется, по мысли”. Алексинскому принадлежит в сборнике программная статья “Долой самодержавие”, открывающая книгу, в которой между прочим автор пишет об идейном расхождении группы “Вперед” с течениями в РСДРП “меньшевистского и ленинско-плекхановского толка”.

“И вся книжка хороша”, — заключил Горький, принимая таким образом и статью несимпатичного ему Богданова “Социализм в настоящем”²¹.

Сборник кажется Горькому таким актуальным и созвучным моменту, что он считает необходимым распространить его в России и сообщает Алексинскому адрес, по которому можно осуществить нелегальную пересылку.

Ленин, однако, не терял надежды и использовал любой повод, чтобы наставить Горького на путь истины. 6(19) ноября 1910 г. петербургская “Речь” опубликовала объявление о выходе с нового года журнала “Современник” под редакцией Амфитеатрова, “при постоянном сотрудничестве Максима Горького”. Едва получив газету, 9(22) ноября Ленин из Парижа отправляет на Капри возмущенное письмо-отповедь. Негодованию Ленина в адрес еще не вышедшего журнала нет предела: “Что это? Как это?”, журнал без направления “будет неизбежно срамиться и срамить своих участников”, “это вещь нелепая, несуразная, скандальная и вредная”²².

И что же Горький?

Он дважды пишет Амфитеатрову, но не отказывается от участия в журнале (на что рассчитывал Ленин), он просто просит убрать из объявления слова о постоянном сотрудничестве

ве и имя свое печатать “в строку с именами всех других сотрудников”²³.

Только и всего.

Пишет Горький и Ленину, и опять-таки только по ленинскому ответу 21 декабря ст.ст. 1910 г. можем мы судить о содержании горьковского письма. Прежде всего он защищает журнал от выпадов Ленина и определяет его направление словами “реализм, демократия, активность”; считает, что “Современник” будет бороться против “легенды о Толстом и религии его”.

Ни с одним из горьковских суждений Ленин не согласился.

«А Вы,— отвечает Ленин,— точно дразните: “реализм, демократия, активность”. Вы думаете, это — хорошие слова? Слова *скверные*, всеми буржуазными ловкачами на свете используемые...». Содержание невышедшего журнала и еще не написанных статей Ленин авансом подверг разному: «Читаю сегодня в “Речи” содержание 1-й книжки и ругаюсь, ругаюсь, где же “Современнику” бороться против “легенды о Толстом и религии его”. Это — Водовозов с Лопатиным? Шутить изволите»²⁴.

Ленин не уделил бы столько внимания критике “Современника”, если б не участие в нем Горького. Ленин борется не против журнала, он борется за Горького, желая перетянуть известного писателя на позиции большевиков, добываясь его участия в партийной прессе, его сотрудничества — идейного и материального.

Горький не поддается.

Отдадим ему должное. Как сильная, неординарная личность Горький никогда не поддавался ничьим влияниям и внушениям. Раздраженно отвергал всякие предположения на этот счет. Так 3 марта 1924 г. он писал Е.П.Пешковой: “... пора бы перестать говорить о том, что я подчиняюсь чьим-то влияниям — меня особенно раздражают намеки на чьи-то “влияния” и прочее в этом духе. Довольно бы уж! Если б на меня действовали “влияния”, то я, разумеется, давно подчинился бы Влад. Ильичу,— который умел великолепно влиять,— и теперь я грыз бы бриллианты, распутничал с балеринами и катался в самых лучших автомобилях в действительности, а не в воображении г-жи Гиппиус и г-на А.Яблоновского”²⁵.

Итак, за весь полуторогодовой период, рассмотренный нами, между Горьким и Лениным согласия не было ни по одному пункту. Горький явно симпатизировал впереводцам, оставаясь вне партийных структур. Попытки Ленина выправить “серьезные ошибки философского и политического характера” не имели успеха, хотя в предисловии к сборнику “Ленин и Горький” они — эти попытки — квалифицируются как “замечательный пример силы и плодотворности партийного руководства”²⁶.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Квинтэссенция этой концепции изложена в предисловии к тому переписки, вышедшему под грифом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Института мировой литературы им. А.М.Горького Академии наук СССР.— См.: В.И.Ленин и А.М.Горький. Письма, воспоминания, документы.— М.: Изд. АН СССР, 1958.— С.5-7.
- ² ЛН.— Т.95.— С.179.
- ³ Там же.— С.179.
- ⁴ В.И.Ленин. Полн. собр.соч.— Т.47.— С.220. Курсив мой — Л.См. Далее отсылки к текстам Ленина даются только по этому изданию с указанием тома и страницы.
- ⁵ Письмо обнаружено и подготовлено к печати И.А.Ревакиной для изд.: М.Горький. ПСС. Серия *Письма*.— Т.7. Опубликовано ею в сб.: Неизвестный Горький.— М. Наследие, 1994.— С.25.
- ⁶ В.И.Ленин.— Т.47.— С.221, 222.
- ⁷ Там же.— С.241.
- ⁸ Там же.— С.248.
- ⁹ В.И.Ленин.— Т.19.— С.251.
- ¹⁰ В.И.Ленин.— Т.48.— С.250.
- ¹¹ АГ, КГ-ОД. 1-40-8.
- ¹² АГ, КГ-ОД. 1-22-55.
- ¹³ Сб.: Ленин и Горький.— С.355. То же в изд.: Летопись жизни и творчества А.М.Горького.— Вып.2.— М.: Изд-во АН СССР, 1958.— С.135.
- ¹⁴ АГ, ФКП. Д-Пят. 5-1-17. (курсив мой — Л.См.) Многоточие в угловых скобках обозначает купюру, текст которой не связан с ленинской темой.
- ¹⁵ В.И.Ленин.— Т.47.— С.264.
- ¹⁶ АГ, КГ-ОД.1-22-57
- ¹⁷ Сб.: Архив А.М.Горького.— Т.XIV.— С.334, 336. Курсив мой — Л.См.
- ¹⁸ В.И.Ленин.— Т.48.— С.1. Письмо от 1(14) ноября 1910 г.
- ¹⁹ ЛН.— Т.95.— С.247.
- ²⁰ Архив А.М.Горького.— Т.XIV.— С.340.
- ²¹ Цитируется впервые. Письмо подготовлено С.В.Заикой для публикации в изд.: М.Горький. ПСС. Серия *Письма*.— Т.8. Напомним, что в ноябре 1910 г. в "Знании" вышла книга: А.Богданов, И.Степанов. Курс политической экономии.— СПб., 1910. Ни одна книга в "Знании" не выходила без ведома и одобрения Горького.
- ²² В.И.Ленин.— Т.48.— С.3-5.
- ²³ ЛН.— Т.95.—С.237,239.
- ²⁴ В.И.Ленин.— Т.48.— С.11,12.
- ²⁵ Письмо публиковалось с большими купюрами (в частности, опущен весь цитируемый здесь текст) в сб.: Ленин и Горький.— Изд.2.— М.,1961.— С.236. То же — в сб.: Архив А.М.Горького.— Т.IX.— С.234-235. Полностью подготовлено мною для изд.: М.Горький. ПСС. Серия *Письма*.— Т.14. Опубликовано в журн."Вопросы литературы".— 1993.— Вып. V.— С.229-230.
- ²⁶ Сб.: Ленин и Горький.— М., 1958.— С.6.

“ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА” В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОСТИ

25 лет назад, в связи со столетием со дня рождения А.М.Горького, в стенах ИМЛИ проходила юбилейная конференция под названием “Горький и современность”. Основное ее направление — плодотворность горьковских традиций для мирового литературного движения (доклады Р.М.Самарина, Л.М.Юрьевой “М.Горький и мировой литературный процесс”, Д.В.Затонского “Жизнь Клима Самгина” и некоторые проблемы современного зарубежного романа” и другие¹).

Это был, несомненно, новый аспект в отечественном литературоведении, поскольку предшествующие годы посвящены были, большей частью, проблеме новаторства Горького как основоположника нового художественного направления, что в свое время тоже было важно и необходимо.

Юбилейная конференция 93-го года в ИМЛИ — “Наследие М.Горького в контексте времени” — при внешней схожести со своей дальней предшественницей имеет иную направленность. С появлением за этот период неизвестных или неиздававшихся прежде материалов, значительно сложнее раскрывающих жизнь и творческую судьбу писателя, многое стало подвергаться не только законному пересмотру, но и перетолковыванию наоборот, с противоположным знаком.

Но пока исследователи изучали и публиковали новые документы, а критики спорили о них, сама жизнь начала доказывать действенную актуальность и непреложную жизненность творчества Горького.

Современная действительность до удивления стала напоминать нам сцены, эпизоды, ситуации и лица, запечатленные в его произведениях. Кажется, будто все они ожили и шагнули из рамы художественной непосредственно в реальность. На каждом шагу мы видим и наблюдаем людей “дела” и босяков, “дачников” и “последних”, вновь возникают ночлежки и роскошные виллы; многочисленные партии и сообщества растут, как грибы; вспыхивают забастовки, повторяются своего рода Ходынки, происходят манифестации, радения, разномастные религиозные движения запугивают людей страшным судом и концом света и так далее и тому подобное².

Все это говорит о том, что горьковская правда художественная становится правдой исторической. Произведения классика советской литературы начинают свою вторую жизнь: искусство выходит в действительность.

Поистине, настоящее художественное произведение — “зеркало, поставленное на большой дороге” В этом образном афоризме таится двойной смысл: зеркало, поставленное на большой дороге, не только дает отражение происходящего, но и по законам обратной связи, возвращает в действительность отраженную в нем жизнь.

Сказанное всего более относится к итоговому творению Горького, раскрывающему 40-летнюю историю России на рубеже двух предшествующих столетий — XIX и XX, парадоксальным образом возобновляющуюся ровно через столетие, в наше время, на рубеже XX и XXI вв. Это тем более знаменательно, что долгое время — фактически с появления первого тома и вплоть до наших дней — произведение это многим казалось сугубо книжным, излишне интеллектуализированным, безжизненным.

Роман Горького начинается с того, с чего собственно и начиналась жизнь и литература: с жизни самого слова, “главного деятеля эпохи” (по выражению писателя), “первоэлемента литературы”.

Внутренняя организация произведения, необычная структура его сюжетных и фабульных связей складывается и саморазвивается на наших глазах так, будто художественный мир — творится впервые, возникает из хаоса, непосредственно из слов: сначала было слово, слово стало делом, омонимы-синонимы, мотивы-лейтмотивы сами “повели” сюжет³.

Именно слову доверяет автор восстановление в мире художественном связей, разорванных катаклизмами действительности и вторично умерщвленных поддельностью, выдуманностью, имитаторством главного героя, очень метко охарактеризованного в свое время А.В.Луначарским “чертовой куклой”⁴.

Слагаясь в мотивы выдумывания и реальности, упрощения и усложнения, сидения не на тех стульях, слепоты, прозрения, поумнения и т.д. и концентрируясь в лейтмотивы (“Да был ли мальчик-то?..”, “Да — что вы озорничаете?..”, “Смирно!”), слова в романе Горького выполняют роль эпических скреп. Создавая новые принципы связи взамен разорванных или распавшихся каузального, причинно-следственного типа, они становятся сюжетным и композиционным стержнем романа. Мир жизни, разрушаемый хаосом событий и выхолащиваемый имитаторством главного героя, возрождается посредством слова в его животворной и животворящей функции. Фигурально выражаясь, “Жизнь Клима Самгина” являет собой мирской вариант “книги книг” XX столетия.

Структурно-содержательная роль слова и мотива у Горького есть, несомненно, своеобразный ответ литературы на запросы современности, концептуальное выражение повышенной содержательности формы в литературе XX века. Движение текста без пауз, ассоциативно-мотивные связи взамен казуальных, причинно-следственных, многоотражательный, зеркально-зазеркальный способ создания характеров и другое — все это выглядит как предвосхищение самых дерзких формальных опытов зарубежного романа XX столетия⁵. Но в еще большей степени это свидетельствует об обращении писателя к истокам повествовательного искусства, к его началам, корням. Ведущее положение слова, мотивный принцип композиции лежат в основе эпоса самых разных народов: “Илиады” и “Одиссеи”, “Слова о полку Игореве”, “Рамаяны”, “Витязя в тигровой шкуре”, “Манаса Великодушного” и других. Не случайно, автор неосуществленного замысла “Исторической поэтики”, А.Н.Веселовский, исследуя фольклорные основы литературы, так сформулировал понимание сюжета в народной песне: “Сюжет — тема, в которой снуются разные положения-мотивы”⁶.

Это определение как нельзя более подходит и к роману Горького, его сюжетно-композиционной организации.

Повествовательная структура “Жизни Клима Самгина” с ее текстом без пауз, смысловыми разрывами, двойным миром, реальным и призрачным, зеркальной композицией характеров и новой авторской позицией (внешне — полного авторского самоустранения, внутренне — чрезвычайно возросшего его управления) выразила кардинальное изменение художественных связей в прозаическом эпическом произведении в результате их трансформаций и беспредельного расширения в самой действительности.

Многолетний труд Горького вобрал в свою структуру всю сложность и пестроту не только действительности, но и ее подоплеку, новых, возникших между разноречивейшими событиями эпохи самых невероятных связей. Он художественно обнажил сложнейшую диалектику времени, когда в истории развития возобладали законы скачка, перерыва постепенности. В нем отразилась запутанность российской жизни на рубеже эпох, на их переломе, со всеми прерванными и возникающими вновь, зачастую крайне парадоксальными, не поддающимися логическому, разумному объяснению связями.

Ассортимент поэтических связей в романе Горького очень велик. Это и противоположности, становящиеся тождествами, или оказывающиеся антагонистами, и — наоборот: события и герои, совсем не пересекающиеся друг с другом ни в каких плоскостях, адвигающиеся по разным параллелям, и многое другое. Для его повествовательной структуры не всегда нужна и обязательна внутренняя или внешняя мотивировка, тот или иной вид открытого авторского участия. Напротив, скорее характерны повествовательные сальто-мортале, когда новые герои

и события появляются зачастую в одной и той же фразе так, будто они — не новы, а хорошо известны читателю или, во всяком случае, уже давно были представлены ему автором.

Характер связей, виды связей, наконец, само понятие связи — едва ли не самая главная проблема XX-го столетия. История этого столетия, переполненная сверхпределными для человеческого разума перманентными войнами, революциями и контрреволюциями, в массовых масштабах ломающими прежний, порой даже еще не успевающий укрепиться или создаться порядок, совершили деформацию, смещение, перелом и смещение времен, нарушив их органический ход в природе и обществе. Отсюда — изменение ритма жизни, пульса истории.

Скачкообразные переходы от одного героя к другому, отсутствие мотивировок событий, принцип зеркальности и зазеркалья в создании характеров, неожиданные смысловые разрывы в повествовании при сплошном движении текста, без пауз — все вместе взятое в “Жизни Клима Самгина” свидетельствует о связях нового порядка, связях диалектических, всемирных, универсальных. Необъяснимые с точки зрения логики развития истории, они могут быть поняты в призме логики художественной.

Вот один из таких примеров: трижды, роковым образом перекрестившиеся в нашу эпоху судьбы России и Германии.

Первая мировая война, не Россией начатая, завершилась для нее революцией и гражданской войной — событиями, длительная подготовка к которым велась более и долее всего, как известно, в Германии. Вторая мировая война, затеянная Германией для расширения ее государственных границ, для Германии же и закончилась крахом государства, его расчленением, разделением нации берлинской стеной, а вокруг пострадавшей сильнее всех России созданся блок дружественных государств.

Идет последнее десятилетие эпохи войн, революций, катаклизмов. И что же мы сегодня видим? Затеечная в масштабах страны Советов и подхваченная блоком дружественных государств перестройка, казалось бы, начатая для и во благо России и этих стран, во имя общечеловеческих ценностей, рушит почему-то берлинскую стену, воссоединяет немецкую нацию, а в республиках бывшего Союза и внутри самой России вызывает цепную реакцию разделов и войн, воздвигает стены отчуждения.

“Многосторонняя взаимозависимость превратилась в определяющий фактор эпохи... Поистине, теперь никто не остров” (Чингиз Айтматов). Но взаимозависимость эта не только многосторонняя. Она к тому же крайне сложна и запутана, носит лабиринтный характер. И в этом плане наследие Горького, и особенно его последний роман, “духовное и художественное завещание”, приобретают сегодня особенную значимость. Ибо в нем глубочайшим образом уловлены, раскрыты и представлены читателю сложнейшие, порой наипарадоксальнейшие современные формы и виды связей между людьми и явлениями, что

позволяет прикоснуться к разгадкам тайн судеб человеческих и народных в XX-м столетии, через глубокое погружение в мир художественный прозревать и осознавать реальную действительность.

В ситуации сегодняшнего дня, во многом аналогичной той, что отражена в романе Горького — предреволюционный и революционный периоды сорокалетней истории России — не только содержание, идеи, мысли “Жизни Клим Самгина” становятся по-настоящему близки и понятны нашим современникам.— Хотя это, конечно же, чрезвычайно важно.— Близкой и понятной делается сама художественная структура этого “значительного и многосодержательного произведения”⁷, этой “гениальной вещи”⁸. Ибо в ней идеально адекватно самой действительности художественно выявлены и запечатлены закономерности мира хаоса и разбалансированности прежней устаревшей системы, когда на поверхность выходят силы как здоровые, мощные, полные животворной энергии, так и мертворожденные, казалось бы, давно почившие, похороненные. И начинается новое их сосуществование, возникает новая взаимосвязь, создаются новые виды и формы сцеплений.

В ответе на вопрос, который сегодня задается каждым гражданином нашего Отечества: что же с нами сейчас происходит и отчего такое происходит? — духовное завещание Горького, если в него глубоко вчитаться, по-настоящему осознать смысл всех его связей и соотношений, может значительно помочь современному человеку. Увидеть настоящее своего Отечества в зеркале недавнего его прошлого и понять, что с кем происходило и отчего это происходило — уже гарант предоставленной возможности не дать повторяться вновь и вновь, и так до дурной бесконечности, до нулевого цикла, все одному и тому же, хотя бы и появляющемуся всякий раз в других одеждах и в иных вариантах.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Горький и современность. Материалы юбилейной научной сессии.— М., 1968.

² См.: Сухих С.И. Заблуждение и прозрение Максима Горького.— Нижний Новгород, 1992.— С.216-221.

³ Подробнее об этом см. в моей работе: Внутренняя организация произведения. // Проблемы художественной формы социалистического реализма.— М., 1971.— Т.2.— С.116-138.

⁴ Луначарский А.В. Собр. соч. В 8 т.— М., 1964.— Т.2.— С.180.

⁵ Об этом см.: Овчаренко А.И. Горький и литературные искания XX столетия.— М., 1978.— С.379-462.

⁶ Веселовский А.Н. Историческая поэтика.— Л., 1940.— С.508.

⁷ Луначарский А.В. Собр. соч.— Т.2.— С.170.

⁸ Фадеев А.А. За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве.— М., 1957.— С.670.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТВОРЧЕСТВА М. ГОРЬКОГО
(1930-е гг.)

Творчество Горького в 30-е гг. сегодня вызывает наиболее пристальное внимание. Считалось, что это — самый благополучный период жизни писателя: он возвращается на родину, отказывается от прежних “ошибок”, становится признанным главой советской литературы, “основоположником социалистического реализма”. Эта концепция долгие годы господствовала в нашем литературоведении и только в период перестройки сменилась прямо противоположной: в 1930-х гг. Горький стал убежденным сталинистом, отказался от пропаганды общечеловеческих гуманистических ценностей, начал воспевать “пролетарскую ненависть”, помогал правящей верхушке втискивать литературу в прокрустово ложе несуществующего социалистического реализма, и сам он не смог создать ни одного значительного произведения. Писателю вменяют в вину прямое подстрекательство к террору, насилию, убийству, называя его певцом “колоний, лагерей, товарищем шефа ОГПУ-НКВД — зловещего Ягоды и других охранников, обосновавшихся в его доме”¹. Б. Парамонов утверждает: “Горький примиряется с большевиками и возвращается в СССР, когда намечается некий “конструктивный” поворот в большевистской политике: переход к индустриализации и нажим на крестьянство, вскоре приведший к тотальной коллективизации. Есть такое мнение (его высказывает М. Агурский), что Горький был подлинным вдохновителем политики коллективизации (он вернулся в Москву в 1928, а коллективизация началась в 29-м): здесь реализовалась близкая ему и идущая от Ницше идея селективного уничтожения социальных групп”².

Обе эти концепции не отражают истинного лица Горького — фигуры неоднозначной, противоречивой и недостаточно ясной даже специалистам-горьковедам. Только сегодня — после публикации неизвестных писем писателя к Ленину, Сталину, Ягоде, Бухарину, Р. Роллану и др. — приоткрываются новые аспекты изучения жизни и творчества Горького, по-иному встает вопрос о его роли в политической, общественной и литературной жизни 1930-х гг., столь же сложной и трагической, как сама эпоха.

Уже теперь можно утверждать, что, вернувшись на родину, писатель попытался сделать все, от него зависящее, чтобы смягчить “азиатчину” власти, удержать Сталина и его окружение от применения “чрезвычайных мер”. Он старался примирить вождя с оппозицией (как некогда мирил Ленина с богдановцами), протестовал против насильственной коллективизации, служил буфером между властью и советской интеллигенцией. Эта незримая, но весьма существенная сторона деятельности Горького, о которой упоминали в своих воспоминаниях Е.Замятин, Б.Николаевский, Б.Суварин и др., до последнего времени оставалась неизвестной. Гораздо больше бросалось в глаза восхваление — порой искреннее, порой наигранное — достижений Октября, казенные дифирамбы Сталину и его соратникам в статьях и выступлениях советского периода.

Однако эти выступления, как и письма Горького 1930-х гг., подвергавшиеся перлюстрации, не дают представления о подлинной позиции писателя. Можно ли судить о публицистике Горького 1930-х гг., не имея достоверного, научно выверенного текста некоторых статей и выступлений и даже не зная ее в полном объеме? Ведь горьковские статьи при публикации зачастую подвергались редакторской правке и сталинской цензуре в “Правде”, “Известиях”, “Комсомольской правде” и других советских изданиях, а машинописный текст стенограмм, как правило, несовершенен. Значительная часть названий статей вообще не принадлежит Горькому. Так, из заглавий статей, докладов и приветствий 1933-1936 гг., вошедших в т.27 тридцатитомного собрания сочинений Горького, тридцать шесть являются редакционными. Статья, которая ныне инкриминируется писателю как тяжчайшее преступление, в “Правде” была озаглавлена “Если враг не сдается, его уничтожают”, а в “Известиях” — “Если враг не сдается, его истребляют”. Нередки случаи, когда одна и та же статья печаталась под разными заглавиями: “Заре Востока”, “Десять лет Советской Грузии”, “Да здравствует Советская Грузия”.

Не исключено, что текст статей, приветствий, докладов подвергался редакционному или цензорскому вмешательству. П.Мороз приводит свидетельство Горького: “Что касается статьи о Соловецких островах, опубликованной в печати, то там карандаш редактора не коснулся только моей подписи — все остальное совершенно противоположно тому, что я написал и неузнаваемо”³.

Сравнение трех сохранившихся редакций этого очерка показывает, что в нем нет ни прославления “доблестных” чекистов, ни призывов к уничтожению классового врага. Из обитателей лагеря Горький описал лишь уголовников, “социально опасную молодежь”, либо людей, который отбыли свой срок и остались работать на острове. Он с увлечением рассказывает о питомнике чернобурых лисиц, песцов и соболей, о концерте в местном театре, о школе, библиотеке, музее. Лишь одна фигура политического заключенного мелькает на страницах очерка, да и то,

оказывается, что это “шпион”, подсланный поляками. Мельком говорится, что есть на острове “наказанные коммунисты”, “экономические шпионы” и “вредители”.

22 января 1930 г. Горький писал Г.Г.Ягоде: “За очерки о “Соловках” я, кажется, должен просить извинения у Вас. Но Вы знаете, что все мои заметки — пропали, и я должен был писать по памяти”⁴. Действительно, у Горького во время поездки по Союзу Советов дважды пропадали чемоданы: один раз на Кавказе, другой — на Соловках. Вспоминая об этом, Н.А.Пешкова, сопровождавшая писателя в поездках, замечает, что странных “жуликов” интересовали прежде всего бумаги, хранившиеся в них. Один чемодан по распоряжению Г.Г.Ягоды вернули, но вместо рукописей в нем оказался пепел от сожженных бумаг⁵. Таким образом Горькому намекнули, что собранный им критический материал все равно не дойдет до читателя.

Защищая Горького от несправедливых упреков, можно было бы сказать, что в состав писательской бригады из 120 человек, отправившейся 17 августа 1933 г. на Беломорско-Балтийский канал, он не входил, и хотя бы поэтому не мог видеть страданий заключенных. История создания книги “Беломорско-Балтийский канал имени Сталина”, которую “украсили” своими именами В.Шкловский, В.Иванов, М.Зощенко, В.Катаев, Б.Ясенский, Л.Никулин и др., показывает, что Горький так и не написал предложенного ему очерка “Страна и ее враги”. Правка писателя на страницах рукописи свидетельствует о его критическом отношении ко многому. Так, на полях главы “Чекисты” он заметил: “Плохая манера писать так!”⁶.

Горьковское предисловие к сборнику, озаглавленное “Правда социализма”, звучит неоднозначно. В чем она, правда? В уникальном техническом сооружении, построенном за фантастически короткий срок, в победе “коллективно организованной энергии людей над стихиями суровой природы Севера”, в опыте “массового превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской общественности в квалифицированных сотрудников рабочего класса”? Или в том, что все это создавалось на крови и костях людей, как некогда Николаевская железная дорога, Мурманская дорога да и сам Санкт-Петербург? Что тогда нового принесла русской истории “правда социализма”?

Говоря о позиции Горького в 1930-е гг., можно было бы упомянуть, что в наиболее одиозно звучащих сегодня статьях (“Если враг не сдается, — его уничтожают” и др.) речь идет не об уничтожении невинных людей, случайно попавших во “враги народа”, не об отношении к интеллигенции и русскому народу, а об угрозе второй мировой войны и необходимости самообороны. Однако дело не в конкретных поступках писателя и отдельных его работах. Ведь на Горького возлагается моральная ответственность за сталинизм в целом, его упрекают в том, что он воспел бы не только достижения страны Советов, но и 1937 год. Это утверждение А.И.Солженицына в “Архипелаге ГУЛАГ” полностью согласуется с упреками, которыми осыпали

писателя русские эмигранты, когда начались политические процессы конца 1920-х — начала 1930-х гг.

В “Открытом письме Максиму Горькому” С.В.Дмитриевский воскликнул: “Почему Вы, писатель с мировым именем, которого не посмели бы тронуть, старик, которому как будто уже нечего терять, не нашли в себе мужества, подобно Толстому, поднять голос против бессудных казней, против всех насилий нынешней власти?”⁷ Ответить на этот вопрос можно было бы просто: живя в Сорренто, Горький мог не знать о бесчинствах сталинского правосудия, ибо не верил эмигрантской и буржуазной прессе, а из России получал весьма противоречивые сведения, разобраться в которых смог, только окончательно поселившись на родине.

Что касается его поездки на Соловки, то, не имея возможности на месте помочь заключенным, писатель все же сделал для них немало. По свидетельству А.И.Солженицына, вскоре после отъезда Горького на остров явилась комиссия из центра, был снят начальник Соловецкого лагеря Эйхманс и назначен Зарин, впоследствии посаженный “за либерализм”⁸. Кроме того, М.С.Погребинский, сопровождавший Горького в поездке по Соловкам, добился того, что многие подростки были переведены на материк в руководимые им детские колонии, была освобождена Ю.Данзас и другие. Можно сделать вывод, что не выступая публично против “бессудных казней”, Горький все же откликнулся на просьбы заключенных.

Однако речь идет о горьковском понимании справедливости и гуманизма, об отношении к категориям добра и зла, с которыми, он, по мнению Г.В.Плеханова, всю жизнь был не в ладу. Изменилось ли в 1930-х гг. его мирозерцание, отношение к общечеловеческим ценностям? В 1929 г. Горький писал: “Я не сторонник террора, но не могу отрицать право человека на самозащиту”⁹. Публицистика 1930-х гг., и прежде всего статьи “Если враг не сдается, его уничтожают”, “Пролетарский гуманизм”, “Пролетарская ненависть” свидетельствуют, что во имя защиты первого в мире социалистического государства писатель четко определил свое отношение к “классовому врагу”.

Горький поверил в теорию обострения классово-борьбы и существование врагов народа. Ведь он приехал в СССР 27 мая 1928 г., а 18 мая начался шахтинский процесс над так называемыми “вредителями”, где общественным обвинителем выступил проф. П.С.Осадчий, которого писатель давно знал и которому безусловно доверял. Собственноручные признания обвиняемых и другая информация, поступавшая к Горькому в 1928-30-м гг., заставила его поверить и в существование “48 организаторов пищевого голода”¹⁰, и в деятельность “вредителей” на транспорте, в промышленности, в горно-рудном деле. Так, с материалами процесса “Промпартии” он ознакомился не только по отчетам советских и зарубежных газет и стенограмме. По распоряжению Г.Г.Ягоды Горькому была выслана секретная

брошюра “Материал к отчету ЦКК ВКП(б) XVI съезду ВКП(б). Составленный ОГПУ к докладу тов. С.Орджоникидзе” (М., 1930). Выступая на съезде, Г.К.Орджоникидзе цитировал по ней признания Л.К.Рамзина, Н.Е.Калганова и других обвиняемых, доказывая, что “вредительство” инженеров было одной из форм классовой борьбы.

Прочитав эту брошюру, составленную из “подлинных” показаний обвиняемых, Горький не только поверил в их признания, но, как многие, сделал вывод, что “заговоры” 1928-1930 гг., действительно, существовали и являлись звеньями единого антисоветского заговора, организуемого за рубежом. 2 ноября 1930 г. он написал Р.Роллану: “Я крайне поражен тем, что Вы тоже верите в возможность “выдуманных или вынужденных пытками” признаний организаторов голода. Нельзя допустить, чтобы они чистосердечно покаялись,— пишите Вы, художник, психолог, человек, обремененный печальнейшим из всех знаний,— знанием людей. Почему же нельзя? Эти подлые люди каются, рассчитывая, что чистосердечное сознание в преступлении сохранит им жизнь. Им было известно, что по делу Пальчинского, Фон-Мекка и Величко казнены только трое организаторов вредительства, а остальные несколько десятков активных вредителей высланы на работы по их специальности в различные места Союза Советов. “Чистосердечность” показаний вредителей объясняется еще и тем, что они, спасая свою шкуру, вообще не щадят друг друга, ведь это люди, действующие механически, по силе инстинкта “касты”, в чем они сами признаются. Я имею право утверждать это, ибо я читал подлинные их показания”¹⁰.

Это письмо полностью объясняет позицию Горького по отношению к политическим процессам в СССР.

Он не только поверил в истинность показаний обвиняемых, он, певец Человека с большой буквы, усомнился в самом человеке. Познакомившись с записями допросов обвиняемых на следствии, которые ему становились известны через секретаря П.П.Крючкова, связанного с ОГПУ, писатель и впрямь поверил, что арестованы вредители, враги, “худая трава” на поле советской действительности. И хотя Роллан убеждал его, что нужно бы внимательнее присмотреться к “чистосердечным признаниям”, Горький упрямо стоял на своем и поучал: “Мне кажется, Роллан, что Вы судили бы о событиях в Союзе Советов более спокойно и более правильно, если б усвоили простой факт: Советская власть и авангард рабочей партии находятся в состоянии гражданской,— т.е. классовой войны. Враг, против которого борются и необходимо бороться — интеллигенция, стремящаяся реставрировать буржуазный строй, и зажиточное крестьянство, которое, защищая мелкое частное хозяйство, основу капитализма, вредит делу коллективизации, прибегая к террору, к убийствам коллективистов, поджогам имущества коллективов и прочим приемам партизанской войны. На войне — убивают”¹¹.

Жестокая логика “пролетарской ненависти” казалась Горькому единственно возможной, когда под угрозу ставился сам принцип существования советской власти. Поэтому он не только не принял участия в кампании против “бессудных казней”, начавшейся в Европе, но осудил Р.Роллана, А.Эйнштейна и других деятелей культуры и науки, подписавших протест. В одном из неопубликованных набросков, написанных после того, как на Западе его начали упрекать в преступном молчании, Горький признался: “В этих упреках есть доля правды; я, действительно, не питаю симпатий к интеллигентам, которые, закончив борьбу против царя, немедленно принялись рука об руку с царскими генералами воевать против народа”¹².

Как мы видим, писатель не просто поверил в теорию обострения классовой борьбы, которую пропагандировал, кстати сказать, не только Сталин, но и Бухарин, Орджоникидзе и многие другие видные политические деятели. Он пришел к выводу о необходимости тех карательных мер, которые применяются к врагам народа. Соответственно изменилось его понимание справедливости и гуманизма, став не христианским, а осознанно классовым. Но это вовсе не значит, что Горький отказался от веры в общечеловеческие ценности. В статье “О пользе грамотности” (1928) он выступил против вульгарно-социологического критерия классовости в защиту “общечеловеческого”. Это понятие, по мнению писателя, должно наполняться на новом этапе истории новым содержанием. Горький ратует за такое классовое сознание, которое сделает общечеловеческие ценности достоянием всего прогрессивного человечества.

В 1930-х гг. в условиях растущей угрозы фашизма защита общечеловеческих ценностей требовала именно суровой беспощадности по отношению к врагам. К подобному выводу приходили многие прогрессивно настроенные деятели культуры. Андре Мальро, отвечая на вопрос, каковы причины, побуждающие виднейших писателей и художников Франции, отрицательно относившихся к революционной классовой борьбе, переходить на сторону пролетариата и защищать социализм, ответил: “Тут следовало бы различать два рода писателей: писателей — сентименталистов, ставших революционерами, и писателей, так называемых “плюралистов”, считающих, что индивидуальное счастье невозможно без связи с окружающим миром, сделавшихся марксистами”¹³. И пояснил, что к этому побуждают две причины: мировой экономический кризис, охвативший капиталистические страны, и растущая угроза фашизма. Он писал: “Перед интеллигенцией во весь рост встала как бы новая задача: она должна уже делать выбор не между демократизмом и коммунизмом, а между фашизмом и коммунизмом”¹⁴. Проблема такого выбора и определила позицию Горького в конце 1920-х — начале 30-х гг.

Что мог сделать Горький для своей страны, живя за рубежом? Публично протестовать против насилия и террора сталинской политики и погибнуть от руки подосланного ОГПУ убий-

цы? Бумажные протесты “гуманистов” он высмеял еще в 1912 г. в одной из “Русских сказок”. Ее герои, шестнадцать добрых людей, после каждого еврейского погрома подавали письменный протест, однако, на протяжении десятилетий свирепость погромщиков после таких протестов только усиливалась. Не мог же шестидесятилетний писатель с мировым именем в 1930-х гг. уподобиться своему герою — семилетнему Грише Будущеву, который восклицал: “Хосю плотестовать!”. В одной неопубликованной статье Горький признался: “И я лично, протестуя против зверства и цинизма трусливых человеконенавистников, всегда сознавал, что стою в комической позиции человека, который видя как люди, обладающие властью грабить и убивать людей бесправных, усердно занимаются своей специальностью”¹⁵.

В начале 1920-х гг. Горький протестовал против красного террора, преследований интеллигенции и духовенства, публично защищал эсеров в известных письмах А.Рыкову и А.Франсу, а в январе 1929 года писал Е.Кусковой: “...у вас есть привычка не молчать о явлениях, которые вас возмущают, я же не только считаю себя вправе и могу молчать о них, но даже отношу это умение к числу моих достоинств”¹⁶. На этом основании делается вывод, что писатель изменил себе, “продался” Сталину и К^о, стал проповедовать не гуманизм, а пролетарскую ненависть. В.Ходасевич, Е.Кускова и другие современники считали, что Горький, как свободный писатель, умер, оказавшись в клетке сталинского режима, ибо стал воспевать его как некий “возвышающий обман”. Ту же точку зрения развивают в наши дни А.Солженицын, Б.Парамонов, В.Костиков и многие другие. Вновь возникает созданная К.И.Чуковским концепция двух Горьких, двух его душ, а точнее, двоедушия, бездушия, предательства.

Генетически эта концепция восходит к оценке Л.Троцкого, назвавшего Горького “слепорожденным фабрикантом абстракций”¹⁷. В статьях К.Радека, Г.Зиновьева, Д.Эрде, Д.Заславского и др. с пафосом разоблачался Сокол, ставший Ужом, Буревестник революции, превратившийся в Мещанина с большой буквы. Теперь мы знаем цену этого пафоса, ибо так называемые “ошибки” Горького в полемике с большевиками свидетельствовали о его подлинном гуманизме. Как многих русских писателей, искренне болеющих за судьбы родины, его всю жизнь мучила мысль о цене исторического прогресса, о железной поступи истории, о насилии, с помощью которого рождается новый мир. Государство и личность, свобода и необходимость, абсолютизм сильной власти и счастье отдельного человеческого “я” — в круге этих проблем бился не один Горький. Однако “психологический феномен” писателя заключался именно в том, что ни при каких обстоятельствах он не смог бы превратиться в мещанина. Ведя всю жизнь непримиримую войну с мещанством, он, по меткому замечанию В.Шкловского, жил “с собственным воздухом вокруг крыльев”¹⁸, а это создава-

ло ему бесчисленных врагов справа и слева. Поэтому в годы гражданской войны ему вменялась в вину защита общечеловеческих ценностей, а сегодня его столь же яростно упрекают в защите классовых интересов пролетариата и достижений Страны Советов.

В 1930-х гг. гуманистическая концепция личности, лежавшая в основе философии и творчества Горького, претерпела изменения. Точнее других об этом сказал Р.Роллан после смерти писателя: "Целых 20 лет я поддерживал с ним дружеские отношения и переписку, где отразилась страстность пережитых им кризисов, обозначавших поворотные пункты его жизни — символическую драму великой эпохи. Глубокий смысл этой жизни заключается в безостановочном, хотя и не всегда безболезненном восхождении его к высшему гуманизму, отождествляющему себя с непрерывно прогрессирующими общими интересами"¹⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Московская правда.— 1990.— 3 августа.
- 2 Новое русское слово.— 1989.— 11 августа.
- 3 Социалистический вестник.— 1954.— № 1.— С.18.
- 4 Орфей.— 1992.— № 1.— С.19.
- 5 Архив А.М.Горького, МоГ. 3-25-6.
- 6 Там же, Рав -ПГ. 48-6-1.
- 7 С.В.Дмитриевский. Открытое письмо Максиму Горькому.— Стокгольм, 1930.— С.12.
- 8 Новый мир.— 1989.— № 10.— С.101.
- 9 М.Горький. Если враг не сдается, его уничтожают.— М., 1938.— С.18.
- 10 Cahier Romain Rolland.— v.28.— Paris, 1991.— p. 210.
- 11 Там же.— Р.211.
- 12 Архив А.М.Горького, Г.— 3.П-3-15.
- 13 Литературная газета.— 1934.— 24 августа.— № 10.
- 14 Там же.
- 15 Архив А.М.Горького, ПСГ. 7-24-1.
- 16 Новый журнал.— 1954.— № 8.— С.241.
- 17 Л.Д.Троцкий. Литература и революция.— 1924г.— С.204.
- 18 В.Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького.— Закннига, 1926.— С.18.
- 19 Литературная газета.— 1938.— 15 июня.— № 33.

ПАРОДИЙНЫЕ АЛЛЮЗИИ НА М.ГОРЬКОГО
В НЕОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ
ПОСЛЕСТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ¹

В дни чествования 125-летия со дня рождения А.М.Горького некоторым может показаться неуместной попытка обратить внимание на пародии на юбилейного писателя в экспериментальной прозе. Ведь целью такого пародирования является подмывание советско-сталинской идеологии, в частности ее претензий на “тотальную” истину. Однако в пору, когда многие отталкиваются от Горького, или просто не обращают внимания на него, такие аллюзии могут отчасти выявить меру влияния Горького на русскую художественную культуру последней трети XX века.

В послесталинскую эру появился целый ряд альтернативных произведений, которые принадлежат утопической традиции, но сугубо с целью пародировать ее мышление во всех ее направлениях: антиутопические повествования, в частности Оруэлла, консервативное “контраутопическое” мышление деревенщиков и Солженицына, как и положительное утопическое мышление богостроителей, например Горького. Я имею в виду среди других произведений “Любимов” А.Терца (1962 г.), “Гадкие лебеди” братьев Стругацких (1968), “Москва 2042 года” Вл.Войновича (1987 г.) и “Кролики и удавы” Ф.Искандера (1988). Я назвала эти произведения “метаутопиями” из-за того, что в них оспариваются все три главных утопических направления мысли; в них скорее раскрываются “правила игры” для построения и осуществления утопической системы, какое бы направление она ни представляла.

В задачу настоящего сообщения не входит освещение вопроса о метаутопии. Задерживаюсь на этой проблематике лишь для того, чтобы правильно определить контекст для обсуждения пародирования Горького. Приходится еще добавить, что центром внимания во всех этих произведениях является критика так называемого литературного “реализма” и скрытые в нем претензии на исключительную моральную и социальную “истину” В XX веке мы видели массу разных видов реализма, кроме соцреализма, есть и критический реализм, психологический реализм, волшебный реализм и так далее. Но, как бы это ни показалось оксюмороном, в каждом виде реализма подразумева-

ется какое-то, проще говоря, “утопическое” видение общественной жизни, и каждый оправдывается именно этим имплицитным видением. Например, классический реализм XIX века основывался на “неоспоримой” истине естественных наук и, следовательно, оптимистической идеи постоянного усовершенствования человеческой природы в контексте либерального общества. Критический реализм Солженицына оправдывается консервативной традицией русско-славянофильского национализма и видением деревенской идиллии. А в социалистическом реализме подразумеваются понятия исторического детерминизма и окончательного создания земного рая. Метаутопическая проза оспаривает все претензии на монолитные понятия неколебимой и неизменяемой социополитической действительности. Она напоминает о ведущей роли человеческой фантазии в построении подобных “монологических” систем, которым так дорого унижение фантазии и возвышение “реального”. Метаутопии строятся на мысли, что любая концепция “действительности” есть человеческая конструкция, которая поддерживается силой — риторической ли, физической ли — и так проводится в жизнь.

Пародии на Горького в метаутопической прозе предлагают нам скептическую реакцию на претензии писателей-реалистов на высшую истинность их искусства и имплицитное у них отрицание писания-“искусства” в пользу писания-“документа”. Метаутопические произведения освещают феномен Горького с двух сторон: обращают внимание на Горького-образец для писателей из двух-трех поколений советской власти и на те части его литературной речи, которые стали в советской культуре шаблонами.

Войнович в “Москве 2042 года” и Искандер в “Кроliках и удавах” сосредоточиваются на самообмане Горького по отношению к вопросу об общественном освобождении под руководством Сталина. Они берут Горького не как сложнейшую культурную фигуру — какой он и был,— а как легендарный образец идейного писателя-реалиста, который перешел границу между сопротивлением угнетению и некритической поддержкой нового политического строя. Идея, некогда оппозиционная и подавляемая, теперь при новом строе стала активно угнетающей силой. Герой Войновича, Виталий Карцев, аполитичный эмигрант типа “маленького человека”, возвращается в Москву середины XXI века и как-то неуместно принимает роль идейного писателя. Точно также как Горький с 1928 года пользовался статусом знаменитости, так теперь и Карцев пользуется общей известностью и официальной популярностью. Переиздают его книги, переименовывают улицы его именем и присваивают ему псевдоним Классик Классикович, то есть он становится фактически мертвой и безопасной личностью, и поэтому частью культурного достояния. Но взамен статуса “сверх-звезды” Карцев вынужден подчиниться еще более строгой цензуре, чем он испытывал в советские времена. Как и Горький, он хочет приспособиться, но расходится со своим предшественником тем, что в конце

концов не подчиняется. Он рискует своей репутацией “реалиста” тем, что отказывается от корректив, которые бы сделали изображение действительности в его произведениях тождественным пониманию политических лидеров.

В “Кроliках и удавах” Искандер пародирует Горького через фигуру кроличьего “Поэта”, который живет при дворе Короля. Пользуясь формой анти-сказки, повесть Искандера затрагивает конфликт между разными идеологическими системами. Спартанские, воинственные и тупые удавы с идеологией, подтверждающей физическую мощь, охотятся за слабыми, но проворными и хитрыми кроliками. У кроliков преобладает в той или иной степени утопический строй ума. Угнетенные постоянной травлей, они нуждаются в вере в светлое будущее. Кроличий Король оправдывает свой режим утопическим символом Цветной Капусты, которая означает грядущее всеобщее благополучие. Скоро выясняется, что подоплекой этих утопических мечтаний и основой королевской легитимности являются психология страха (перед удавами) и подозрение (других кроliков) вместе с византийской системой пропаганды и контроля.

Совесь придворного горьковского Поэта подкупается гарантиями пожизненной знаменитости и материального обеспечения. Если Горький сделал себя легендарной фигурой буревестника революции, то Поэт пишет стихи только о бурях. Но когда совесь подталкивает его к тому, чтобы написать о настоящей политической угрозе, о злоупотреблении властью Королем, оказывается, что ему не хватает храбрости. В отличие от Поэта, Задумавшийся, кроliк-философ, по-настоящему призывает Короля к ответственности. Задумавшийся разоблачает королевские манипуляции массового, ничем не обоснованного страха перед удавами с целью закрепления собственной власти. За такое разоблачение Задумавшегося выдают удавам, сообщив им через зашифрованные стихи местонахождение философа. Удавы затевают на него охоту. Узнав о предательстве, Поэт думает покинуть двор, чтобы написать, как подскажет совесь, но ему опять не хватает моральной решимости. Вместо того, чтобы сочинить настоящие буревестнические стихи, он оставляет ряд незаполненных строф (хореи, как в “Буревестнике”), но без слов, форма оказывается без морального содержания. Если Сталин воспользовался легендой о Горьком, чтобы закрепить свою пропаганду о переустройстве мира на новый лад, то Король заполняет пустые рифмы Поэта самохвалством.

Если Искандер и Войнович подчеркивают образ Горького, как идейного писателя, который сдался новейшей власти, то другие эксперименталисты акцентируют гиперболический стиль Горького и его претензии на монолитную, простую “истину”. Такой ракурс существенен для Абрама Терца. В своей статье “Литературный процесс в России” (1974 г.) Терц саркастически упоминает о горьковском вызове 1932 года американским журналистам “С кем вы, мастера культуры?”:

“Мы (запретные писатели) опять оказываемся перед кровавой дилеммой: с кем вы, мастера культуры? За кого вы? За правду или за казенную ложь? При такой постановке вопроса у писателя, понятно, нет выбора, и он гордо отвечает: за правду! И это единственно достойный ответ в подобной ситуации. Но, провозглашая — “за правду!”, нужно помнить, что сказал Сталин, когда какие-то хребрецы из Союза Писателей попросили его разъяснить раз и навсегда, что такое социальный режим и как достичь практически этих сияющих вершин. Не задумываясь, не моргнув глазом, вождь ответил: — “Пишите правду — это и будет социалистический реализм!” Дошло до того, что правды надо бояться, чтобы она опять не села нам на шею. Чтобы писатель, отказавшийся лгать, творил бы и помимо всякого “реализма”².

По мнению Терца, Горький как ведущий проповедник литературного реализма создал некий оруелловский парадоксальный язык, который извращает язык тем, что ставит знак равенства между противоположными понятиями типа “ложь есть истина”. Все можно считать истиной, лишь бы писатель проповедовал корректные ценности и поддерживал корректную политику.

Метаутопические писатели любят пародировать те высказывания из Горького, которые стали азбучными истинами. Эти фразы повторялись так часто и вдалбливались в головы всех школьников так, что они давно лишились всякого значения. Одно из них это сатинское восклицание: “Человек! Это звучит гордо!” А другое из “Песни о Соколе”: “Безумству храбрых поем мы песню”. Оба эти высказывания стали символом веры в нового “Человека” (обязательно с большой буквы), веры, которая, хотя, кажется, восхваляет лучшие аспекты человеческой природы, т.е. чувства чести и достоинства, на самом деле, снижает человеческую природу в целом. Этот новый “Человек” наделен сознанием, до такой степени более светлым, чем наше, что нормальному человеку он кажется безумным. Новый Человек предпринимает такие социальные подвиги, такие утопические проекты, которые на самом деле оказываются дикими и нечеловечными. В своем эссе “Что такое социалистический реализм?”, например, Терц называет первую пятилетку и новое закрепощение крестьян “безумством храбрых”.

Эта же фраза комически искажается в терцовской новелле “Любимов”. Тут она побуждает к утопическому эксперименту Леню Тихомирова, местного механика по перетягиванию велосипедов. Он пытается перестроить село Любимов в “небывалую утопию”, чтобы покори́ть сердце Серафимы Петровны Козловой, местной учительницы иностранных языков, и часть “довольно густой интеллигентской прослойки”³. Козлова считает себя прогрессивной, даже радикалом в своих социальных взглядах. При первом объяснении в любви Тихомиров предлагает оклеить стены его комнаты не обоями, а трехрублевыми бумажками, и установить автоматические двери. Козлова отказывает ему, требуя ради нее победить село и, к тому же, оклеить

стены сторублевками. Проявив таким образом достаточно сильную манию величия, Козлова ссылается на Горького, утверждая свои высшие идеалы: “И вообще учтите: богатство, деньги я презираю, а честолюбие в человеке ценю. “Безумство храбрых — вот мудрость жизни”, как сказал Максим Горький”⁴. Во-первых, Козлова недопонимает горьковское понятие честолюбия, которое в раннем рассказе “Читатель” оценивается отрицательным образом. Во-вторых, неправильная ссылка на “песню о Соколе” указывает на ханжество. “Мудрость жизни” в контексте раннего Горького как раз противопоставляется безумству храбрых и относится скорее к пассивному смирению с бытом. Таким образом, мнимое великодушие Серафимы Петровны оказывается малообразованным пустословием. Тихомиров, конечно, этого не понимает и вскоре идет навстречу ее маниакальным амбициям. Любопытно, что терцовская пародия вдвойне осложнена тем, что поклонником Горького является малообразованный человек, который своим незнанием оказывает в некотором смысле медвежью услугу самому объекту поклонения.

Речь Сталина также цитируется часто в метаутопических произведениях, например, в “Любимове” и в “Гадких лебедях” братьев Стругацких. Когда Тихомиров поступает царем на престол, он немедленно дает амнистию всем заключенным. Он их призывает: “Будьте людьми! Не воруйте, не убивайте, не подделывайте документов и не совершайте других преступлений, роняющих ваше высокое человеческое достоинство... помните: человек — это звучит гордо!”⁵. Впоследствии выпущенные из тюрьмы, спешат напиться речной водой, которую Тихомиров превратил в спирт. К тому же, Тихомиров, который якобы так высоко ценит человеческое достоинство, подражает Сталину в собственном варианте Беломорского канала (сталинский проект, как известно, Горький поддержал). Он зачаровывает граждан и все начинают рыть осушительные каналы⁶. И так Терц подчеркивает противоречие между словом и поступком, что подрывает достоверность горьковского слова.

В “Гадких лебедях” сюжет строится на борьбе поколений и их идеалов. Младшее поколение, воспитанное на гнусной атмосфере интерната, отрекается от утопических стремлений и мнимых достижений своих родителей. Они предлагают собственную довольно жесткую, юношески высокомерную программу общественного обновления. В дебате с писателем Виктором Баневым (из старших) они высмеивают горьковское “Человек! Это звучит гордо!” как глупенькую ностальгию, типичную для старшего поколения:

“Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попро-

сту недостойно. Вас били по физиономиям, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!”⁷

Молодежь отвергает то, что им кажется моральной анестезией и предлагает взамен какой-то “светлый новый мир”. Виктор замечает, что проведением этого плана в жизнь повторятся все недостатки реализуемой утопии. Будет тот же отказ от уроков прошлого и нетерпимость чужих миропониманий. Ни та, ни другая программа “неправы”. Тем не менее школьники превосходят юношеской энергией и моральной свежестью. Ими побеждено вялое горьковское слово.

Такой пародией на Горького авторам метаутопий удастся сбивать то, что воспринимается как устарелый литературный и общественный стандарт. Вообще, они стремятся к тому, чтобы читатель задавался вопросом о том, какие ценности скрываются за такими гиперболическими претензиями на тотальную истину. А взамен утверждают альтернативную модель писателя как игрока в словесные игры, который наслаждается фиктивностью своих творений, но который согласно Терцу “отказывается ото лжи” и вдвойне осознает обман всяких претензий на авторитарное владение истиной.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Частично материалы, представленные в настоящей статье, опубликованы в монографии того же автора *Russian Experimental Fiction: Resisting ideology after Utopia* — Princeton: University Press, 1993. Разрешение на публикацию получено.
- ² Терц Абрам. Литературный процесс в России // *Континент*.— 1974.— № 1.— С.173.
- ³ Терц Абрам. Любимов.— 1962.— С.336.
- ⁴ Там же.— С.350.
- ⁵ Там же.— С.373.
- ⁶ Там же.— С.379.
- ⁷ Стругацкий Аркадий. Стругацкий Борис. *Хромая судьба*.— М.: Орбита, 1989.— С.91.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ
М.ГОРЬКОГО 30-Х ГОДОВ

(Пьеса “Сомов и другие”)

Художественную правду как модель жизни, созданную писателем и вбирающую в себя его искания, обретения и заблуждения (она может быть выражена в любой форме: от фантастики до сурового сарказма), нельзя рассматривать вне социальных явлений. Ни один истинный художник не может обойтись без глубокого осмысления социальных процессов, без осознания правды жизни, ибо ее воплощение в ткани художественного произведения, определяет сущность эстетического явления.

Важно подчеркнуть и другую сторону проблемы: истинно поэтическое произведение может создать лишь художник, в концепции художественной правды которого выражена социально-обусловленная эстетическая оценка жизненных явлений, которая не подменяется политическими и нравственными оценками, но связана с ними. Тогда художник способен в силу своих мировоззренческих позиций и социальных симпатий правдиво отобразить ход исторического развития, выявить противоречия, создать типологический характер.

Анализ художественной правды М.Горького 30-х годов, когда писатель, недавно вернувшийся на Родину, был искусственно изолирован от жизненных процессов и оказался “пленником” в своей стране, позволяет не согласиться с довольно широко бытующим сегодня мнением (думается за счет волны публикаций воспоминаний В.Ходасевича, Н.Берберовой, Н.Данзас, Е.Кусковой), что это был период выполнения художником заказов тоталитарной системы, период отказа от веры “в светлое будущее народа”, осознание своей неправоты. В контексте горьковского творчества 30-х годов в качестве доминанты его художественной правды выделяется гуманистическая сущность, позиция принципиального борения и противостояния. Вера в светлое будущее народа пронизывает все произведения этого периода, хотя путь к нему и вызывает сомнения писателя, начиная еще с революции, а теперь усугубившиеся драматизмом собственного положения. Ярким подтверждением этого является письмо Ст.Цвейга Р.Роллану от 18 февраля 1930 г.

после посещения писателя в Сорренто. Он писал: “Горький хорошо знает, что весь мир ждет от него свидетельств. Советы ждут, чтобы он высказался за них и все одобрил, а другие ждут, чтобы он все осудил. А он молчит... ведь не станешь же ругать собственное дитя, даже если оно уродилось не таким, как нам хотелось. Ситуация такова, как во время французской революции, когда события каждого дня опровергали события предыдущего дня”¹. Эта зависимость четко прослеживается в судьбе художника, с одной стороны, радость от встреч со строителями социализма, идее которого был привержен писатель, не боялся защищать ее (письма И.В.Сталину), неудержимое желание изобразить рядового труженика — строителя социализма (очерки “По Союзу Советов”), умение писателя видеть в людях достоинство, в явлениях новой жизни искать положительное, а, с другой стороны, внутренние сомнения, хлопоты о репрессированных людях, размышления о расхождениях с Лениным, с коммунистами.

События советской действительности, связанные с периодом коллективизации и началом индустриализации, политикой массовых репрессий, ставили перед Горьким вопросы, в которых он не всегда мог сразу разобраться, они требовали зоркого видения, раздумий, переоценок. Подобная переоценка была проведена писателем в отношении перехода русской интеллигенции на сторону революции (роман “Жизнь Клима Самгина”) и в отношении купечества, что вызвало к жизни цикл пьес (“Егор Булычев и другие”, “Достигаев и другие”, “Васса Железнова” (2-ая редакция). Путь к этим переоценкам наглядно демонстрирует художественная правда пьесы “Сомов и другие”, которая была написана в преддверии возвращения писателя домой из Италии.

Вопрос о замысле пьесы и начале работы над ней довольно сложен. Анализ писем художника показывает, что пьесу Горького просили написать, прислали материалы о вредителях, то есть практически это был заказ сверху, который художник принял, сомневаясь и, одновременно, энергично включаясь в дело (письмо от 3 апреля 1930 г.— М.Ф.Чумандрину: “Пьесу писать — не собираюсь, времени нет, да и “драмодел” я плохой.” (30,163)¹. 12 июня 1930 г.— М.Ф.Чумандрину: “пьесу писать не имею времени... может быть, к осени напишу” (30,172-173). 22 сентября 1930 г.— А.Б.Халатову, сообщает, что получил материал к докладу т.Серго (Орджоникидзе) о вредителях” это мне очень пригодится. Может быть раскатаюсь и напишу пьесу”². 2 ноября Горький пишет Р.Роллану, что ознакомился с подлинными документами процесса вредителей — организаторов голода, отмечает, что “вредители, работающие в расчете на интервенцию, связаны с белой эмиграцией”³. 7 декабря пишет В.Н.Терновскому, что взволнован процессом вредителей и возмущен тем гнусным шумом, который подняла вокруг процесса эмиграция и буржуазная пресса. 11 декабря 1930 г. в письме к Л.Леонову с возмущением пишет

о вредителях (в связи с процессом Промпартии)⁴. 25 ноября газеты “Правда” и “Известия” одновременно печатают обращение Горького “К рабочим и крестьянам”, а 11 декабря его статью “Гуманистам”. Это было выражение возмущения писателя деятельностью тех специалистов по технике, которые совершили преступление против рабочих, вредили строительству. Говоря о конкретных фактах — бессмысленной трате средств, создании пищевого голода, затруднениях в развитии промышленности, желании восстановить старое, свою власть, главное внимание художник уделяет плану интервенции, возможной войны. Отдельные факты вредительства рассматриваются Горьким как стремление армий интервентов начать разбойничье нападение на СССР. В статьях звучит призыв к объединению всего мира для борьбы против угнетения, хищничества, истребления народных богатств, за мир и счастье на земле. Эти статьи были приурочены к началу процесса над вредителями.

Показать происходящее в стране через судьбы людей было непросто, однако, 1 марта 1931 г. Горький закончил работу над пьесой “Сомов и другие”, но публикация была задержана Горьким в связи с сомнением в художественных достоинствах произведения. Действительно, такие сомнения у Горького были, он прямо писал: “я сомневаюсь”, она вышла “слишком” бытовая”. А в письме к Г.Г.Ягоде от 2 ноября 1930 года писатель так объясняет причины своего отказа от продолжения работы над пьесой: “Пьесу о “вредителе” — бросил писать, не хватает материала, вредитель выходит у меня ничтожнее, того, каков он в действительности”⁵.

Но есть и другие аспекты пьесы, связывающие ее с широким кругом проблем творчества Горького.

Интенсивную работу художника над пьесой можно объяснить постановкой проблемы, которая осмыслялась им как мировая — рост агрессивности фашистов, угроза с их стороны миру, прогрессу, демократии. Вскрывая сущность фашизма, обличая его корыстные интересы, Горький считал, что тем самым предупреждает о грядущей опасности (позднее критик К.Ломунов назовет пьесу антифашистской).⁶

Решается здесь и проблема, беспокоившая Горького долгие годы: взаимоотношения интеллигенции с народом, ставка буржуазной интеллигенции на иностранную помощь и поддержку, на восстановление капитализма.

Пьеса “Сомов и другие” выражает и концептуальный характер горьковского отношения к проблеме правды и фальши.

Жанр пьесы может быть определен как политическая драма. Действие разворачивается очень медленно, собственно, здесь нет действия как такового, нет действий по подрыву Советской власти. Горький показывает столкновение разных точек зрения на революцию, на народ, на культуру, на будущее страны. Разные предлагаются и пути выхода из кризиса, в который ввергнута страна. Главные герои пьесы Сомов, Богомоллов, Яропегов — интеллигенты.

Сомов принадлежит к дворянскому сословию, поэтому скрытен и осторожен с пролетариями и “туземцами” Он все время чувствует недоверие, поэтому, как пишет художник, испытывает нервное напряжение. С гневом вспоминает он комплименты в его адрес Терентьева: “Замечательный, говорит, вы работник, товарищ Сомов, люблюсь вами и думаю: скоро ли у нас такие будут?” (18,13). Сомов считает, что необходимо добиться полного доверия со стороны массы. Он умен, энергичен, ожидает переворота, так как слышал о разногласиях в Кремле, но сам конкретно ничего для этого не предпринимает. Он ценит ум рабочих, чутко прислушивается к новому, великолепно понимает, что классовое чутье масс растет вместе с квалификацией, оценивает влияние шахтинского процесса, как ведущего к росту “самокритики”. Техническая интеллигенция группируется вокруг Сомова и его идей. Истинное лицо его раскрывается в споре с женой, когда он говорит, что диктатуру рабочих, социализм он считает фантастикой, иллюзиями, которые поддерживаются работой интеллигенции. “Мы,— говорит он,— единственная сила, которая умеет, может работать и должна строить государство по-европейски — могучее промышленное государство, на основах вековой культуры.” (18,54). Его цель — “государственный социализм”. Он утверждает: “Власть не по силам слесарям, малярам, ткачам, ее должны взять ученые, инженеры”. Проверяя свои выводы на Лидии, он заявляет, что чувствует себя сильным, победителем, а слыша упреки со стороны жены в честолюбии, двоедушии, позднее скажет, что этот вечер “очень болезненно его ушиб”. Яропегова он ценит как талантливого специалиста, полностью доверяет ему. Богомолова считает старым идиотом, болтуном, мелким взяточником, его идеи и теорию — бредом сумасшедшего. Мать Сомова озлобленная, мечтающая о возврате старого, размышляя, видит возможность выбора сына — служить большевикам — и обещает ему свое проклятье в этом случае. Жена Лидия духовно порывает с ним, ибо задумывается о возможности превращения его в сильного хищника.

Яропегов, из разночинцев, “дед — дьякон, отец — унтер-офицер”, — более открыт к людям, общителен, любит людей, присматривается к новому, к простым людям, говорит, что среди них радостно жить, “чувствую себя там весьма молодо”. Он жизнерадостен. С точки зрения Лидии притворяться не умеет, лгать не умеет. Арсеньева говорит, что его любят рабочие. В замыслы Богомолова он не посвящен, считает, что шахтинские инженеры действительно “шалили”

Организатором оппозиции, как бы явным врагом является Богомолов. Он призывает помнить, “что руководство промышленным процессом страны — в наших руках и что генштаб культуры — не в Кремле сидит-с, а именно в нашей среде должен быть организован,— понимаете! За нас история, вот что надобно усвоить — история! Перед нами безграничные возможности. Довольно адвокатов у власти, власть должна принадле-

жать нам, инженерам, понимаете?” (18,47). Именно Богомолов предлагает поддержать просьбу владельца фабрики с целью омертвления трех миллионов. Его план: оборудование накапливать, а строительство задерживать, людей, которым эти планы не ясны или не нравятся сдерживать любой ценой, переводить с практической на канцелярскую работу, показывать себя оптимистами, верящими фантазиям “товарищей”, высоко держать голову, чтобы ее не достал кулак дикаря, омертвить капитал, задерживать изобретения. Яропегов считает, что главная цель Богомолова — удовлетворение злобы. Противным, двоедушным стариком считает Богомолова Лидия.

Помощником Богомолова является Троеруков, цель жизни которого — мстить. Два раза он сидел в тюрьме. Сомов говорит, что на месте ГПУ загнал бы его на 10 лет на Соловки. С точки зрения Троерукова Богомолов — старый человек, не очень умный, обозленный и неосторожный (18,67). В спорах с директором завода Терентьевым, его заместителем Дроздовым, учительницей Арсеньевой раскрывается разность позиций.

Пьеса заканчивается арестом агентами ГПУ Сомова, Богомолова, Яропегова и Троерукова. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что арест происходит без предъявления прямых обвинений, неопровержимых улик. Есть только косвенная улика старого рабочего Крыжова, предъявленная Богомолову, который руководил модернизацией кузнечного цеха. Что это, случайность? Думается, нет. Изображая своих героев как людей инакомыслящих, он как бы подтверждает, что аресты производились за убеждения, а не преступления. Все герои — инженеры старого возраста не принимали советский строй и диктатуру пролетариата, но готовы работать для укрепления могущества России, ощущая холодные порывы фашистского ветра на Западе. Яропегов дает яркую оценку фашизму, отвечая жене Сомова на вопрос: Что такое фашизм? Он не имеет никакого отношения к тайным разговорам Сомова и Богомолова, но арестован вместе с ними одновременно.

Законченная пьеса “Сомов и другие” пролежала в архиве писателя 10 лет, при жизни писателя так и не была опубликована.

Б.А.Бялик много внимания уделил исследованию вопроса, почему Горький не опубликовал эту пьесу.⁷ Однако есть основания полагать, что существует связь между очерком о В.И.Ленине, трагическими событиями 30-х годов и работой над пьесой о советской действительности, которая содержит художественное выражение отношения Горького к научно-технической интеллигенции, что и дает дополнительное освещение этому вопросу.

Одним из средств раскрытия художественной правды является выражение авторской позиции. Писатель создает модель, заглядывает в душу той части русской интеллигенции, которая, как утверждали, “участвовала” в Шахтинском процессе, в процессе Промпартии и в других аналогичных процессах, чтобы

понять, как становятся врагами социалистического строительства. Пьеса как бы “разоблачает” вредителей, но окончательного ответа на поставленный вопрос не даст. “Вредители”, представленные фигурами Богомолова, Изотова, Тросрукова — это, в сущности те, кто озлоблен, духовно опустошен, хочет спокойной жизни, то есть те, кого едва ли можно назвать врагами, это скорее всего — оппозиционеры, инакомыслящие. Порой они просто предстают комедийными фигурами, как например, Богомоллов с зонтиком, большой диабетом старик, которому доктора запретили вино, природа запретила женщин, осталось одно удовольствие — карты, да накопленная внутри злоба. Или Троеруков, который всегда на подхвате, как хамелеон меняет свои позиции. Более сложны фигуры Сомова, его жены Лидии, Яропегова. В пьесе утверждается закономерность победы новой интеллигенции, которую представляют Терентьев, Дроздов, Арсеньева, ибо они любят людей, пекутся об их благополучии и счастье. Раскрывая духовный мир интеллигентов-“вредителей”, Горький пытался взглянуть на них с позиций общечеловеческих и обнаружил прежде всего инакомыслие, другую мировоззренческую ориентацию, скрытые силы для протеста. В этом, по-видимому, тоже кроется одна из причин, из-за которой он не счел нужным опубликовать пьесу. Другая, более существенная причина, возможно, заключалась в сомнениях писателя относительно наличия причин для подобных процессов. Художественно заставив жить этих “вредителей”, писатель, видимо, сомневался в правильности подобных оценок, общечеловеческих, гуманистических подходы оказывались более жизненными и аргументированными.

Особое место в пьесе отводится автором Китаеву-бойцу, партизану, присланному исполнять роль наблюдателя на стройке поселка. Этот образ содержит огромный подтекст и обнажает еще одну из сторон художественной правды писателя. Китаев здесь вроде рядовой, но он по-прежнему “вершит” свои дела. В минуту откровения он говорит, что истреблял кулаков поголовно, как собака тараканов, “как в сказке: ах-ну- и — нет ничего, только пыль, брызг и сапоги! Вы — кто? Помещики, дворянство, буржуазия или просто — люди? Да я вас так, что от всей вашей массы только одни уши останутся... А теперь вот.....” (18, 39-40). Китаев кичится властью, для него классовый подход и сейчас является основой поведения. Не случайно, когда приходит известие, что рабкора ранили, Людмила в лицо заявляет Китаеву: “Врете”, в ответ на его замечание: “Хулиганил, наверно”! Насзд машины на Яропегова логикой авторского построения тоже связывается с Китаевым, вероятно, работником ГПУ. Сегодня, зная правду о том времени, тех процессах, мы должны воздать должное чуткости писателя. Его политически продуманная схема верно отражала происходящее в жизни, но она не отражала существа жизненной правды, и писатель это понял, отсюда и сомнения, которые в конечном счете и привели его к краху замысла.

В творчестве художника 30-х годов можно отметить и другие направления раскрытия гуманистической сущности художественной правды. Это прежде всего выделение нравственных основ человека, личности, выступающей выразителем общечеловеческих интересов, будь то деловой человек или “невольник жизни” как его альтернатива. Дела и конкретные судьбы людей в изображении Горького этих лет вызывают особый интерес в период духовного возрождения России и также опровергают стремление отдельных публицистов в настоящее время охарактеризовать творчество Горького советского периода как социальный заказ тоталитарной системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Г.Г.Цвенгрош. Вопросы гуманизма в трактовке А.М.Горького, Р.Роллана и А.В.Луначарского // Горьковские чтения.— 1990.— С.153-154.
- 2 Летопись жизни и творчества А.М.Горького.— Т.IV.— М.: изд-во АН СССР, 1960.— С.54.
- 3 Там же.— С.62.
- 4 Там же.— С.73.
- 5 Архив А.М.Горького.
- 6 Ломунов К. Антифашистская пьеса М.Горького // Горьковский альманах.— М.: изд-во ВТО, 1946.— С.69.
- 7 Б.А.Бялик. Драматургия М.Горького советской эпохи.— М.: изд-во АН СССР, 1952.

ПОЕЗДКА М.ГОРЬКОГО НА СОЛОВКИ

(Свидетельства очевидцев)

Эта поездка и написание очерка “Соловки” вызывают внимание после широкой публикации в стране книги А.И.Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ” и выхода документального фильма “Власть Соловецкая”. Подтекст очерка — отношение писателя к карательной политике государства.

Сам Горький нигде прямо не говорит о причинах поездки, она как бы в плане знакомства с изменяющейся страной, но посещение крупнейшего концлагеря должно иметь основания. О лагере на Соловках широко известно в стране: в 1926 г. о нем пишет в “Правде” Мих.Кольцов, в том же году снят документальный фильм. А об извращениях и произволе в лагере пишет эмигрантская печать в Праге и Берлине, выходят книги соловецких беглецов Мальсагова в Лондоне и Бессонова в Париже.

Комментаторы ПСС М.Горького считали причиной написания очерка политическое чутье Горького в условиях обострения международной обстановки и кампанию в зарубежной прессе. Но в 1988 г. редактор ПСС А.И.Овчаренко уже полагал, что к написанию о Соловках Горького побуждали П.Крючков и Г.Ягода /тогда зам.председателя ОГПУ/. Предполагать какое-то обращение, даже устное, можно, читая письмо писателя к Ягоде от 22 января 1930 г.: “За очерки о “Соловках” я, кажется, должен просить извинения у вас. Но вы знаете, что все мои заметки — пропали, и я должен был писать по памяти”¹. Впоследствии Н.А.Пешкова вспоминала о пропаже чемодана с вещами и записками Алексея Максимовича при поездке по Кавказу, но какие именно записки были в нем — не уточняла.

Горький уже обращался ко второму должностному лицу ОГПУ с просьбой об амнистии писателей, встречался с ним у председателя Моссовета вместе с М.Кольцовым, встречался в Болшевской трудкоммуне в 1928 г. Возможно, в следующем году писателю предложили присоединиться к инспекционной поездке на Соловки Г.Бокия /участник Октября в Петрограде, член коллегии ОГПУ/ и М.Погребинского /в 1929 г.— помощник начальника Особого отдела ОГПУ МВО, куратор Болшевской коммун, набирал в нее пополнение/. Первый был репрес-

сирован в 1937 г., второй покончил с собой в момент ареста в том же году.

Главные оппоненты Горького по лагерной теме — А.И.Солженицын и журналист М.М.Розанов /ум. в 1989 г./. Оба опирались как на опубликованные факты, так и устные свидетельства и даже легенды.

А легенды были, даже очень близкие по времени. Сам Алексей Максимович приводит в очерке подпись под карикатурой в соловецкой стенгазете: “Слыхали? Горький приехал!” и вопрос заключенного: “На 10 лет?” Уже в январе 1930 г. в газете Гукасова “Возрождение” в статье по рассказам соловецких беглецов фигурирует номер из концерта в театре — диалог двух “пленников”: “ЧК/или ЦК — нечетко отпечатано в имеющемся в АГ экземпляре.— В.Ч./ сослало Горького на Соловки на 10 лет” — “Хватило бы на первый раз изолятора на 10 дней”. В подлинной программе концерта в дни приезда писателя нет номеров, напминающих разговорный жанр. В той же газете назван начальником лагеря некто Степанов вместо реального Ногтева. Якобы все заключенные в дни приезда Горького не работают и никуда не выходят — они заперты в казармах с наглухо забитыми дверями. Для встречи парохода с писателем якобы собрали женщин-заключенных, переодели и выпустили под ручку с чекистами изображать гражданское население. Д.С.Лихачев из окна Кримкабинета видел пригород около причала и возле Горького Н.А.Пешкову в мужском костюме, по логике вещей должен бы заметить и других, особенно нарядных женщин.

К легендам позднего происхождения надо отнести и рассказы 1936 г. в связи с кончиной писателя, приводимые соловчанином Ю.Чирковым в вып.3 альманаха “Апрель”.

В рассмотрении новых сведений о соловецкой поездке из книг бывшего спецхрана, новых публикаций и дополнения архивными материалами постараюсь руководствоваться временем их написания.

О Горьком на Соловках одна из первых писала Юлия Николаевна Данзас — из семьи секунданта Пушкина, фрейлина последней императрицы, автор книг по гносеологии, попавшая в лагерь за принадлежность к католицизму. Отрывки ее воспоминаний у нас появились недавно в публикации М.Агурского “Фрейлина с Соловков”. Правда, в ее статье на кончину Горького по соловецкой теме всего одна фраза: “Он опустил до восхваления чекистов, до воспевания концлагерей, он использовал свое перо для камуфляжа.”² Однако публикатор приводит ее материалы, использованные в биографии священника Л.Федорова, обратившего Данзас в католичество, в том числе о встрече с Горьким на Соловках: “Заключенных подготовили к встрече с ним. Лагерным учреждениям было приказано показать работу, которая там выполняется... Доверие к нему у всех было полное. Он мог ходить без охраны, мог останавливать любого заключенного и беседовать с ним. Горький внима-

тельно выслушивал, расспрашивал, сочувствовал, записывал в книжку, обещал помочь”³. Затем говорится об удивлении и возмущении заключенных, прочитавших в газете лестную оценку деятельности ГПУ и его детища — исправительно-трудового концлагеря.

Жесткую оценку дала Ю.Данзас человеку, который знал ее книги, помог устроиться лектором в Петроградский университет и чуть ли не ученым секретарем Дома ученых, хлопотал о покупке у наследницы Данзаса материалов для Пушкинского дома, продолжал хлопоты о ней после ее ареста. Не вошло в т. IX “Архива А.М.Горького” письмо Горького к Е.П.Пешковой от 25 февраля 1925 г. со словами: “Не знаешь ли чего-нибудь о судьбе Юлии Николаевны Данзас, арестованной еще в 23 г. по делу католической миссии? Это очень милая душа, автор умных, интересных книг. Я ее лично знаю, контрревол[юцио-неркой] она не может быть. Она перешла в католичество и построилась в монахини под именем сестры Жюстины. Будь добра — справься!”⁴

Из “Книги беспокойств” Д.С.Лихачева известно, что Ю.Данзас была на канцелярской работе, держалась молчаливо, окружающие случайно узнали, что ей удалось подать письмо Горькому. В результате в 1932 г. она была освобождена досрочно, при участии Красного креста и Е.П.Пешковой. Юлия Николаевна приезжала в московский дом Горького и отметила присутствие приставленных к Алексею Максимовичу “чекистов”. Ему приходится делать уловки, чтобы назначить госте приход без них. Однако он нашел ей работу по переводам и помог собрать средства для выезда за границу.

Здесь уместно привести некоторые сведения Д.С.Лихачева в ответ на мое обращение к нему: “С Юлией Николаевной Данзас я работал в одной комнате в 29-30 годах. Дьякон Федор /имеется в виду автор биографии Федорова.— В.Ч./ пишет по ее неопубликованным материалам (воспоминаниям). По освобождении в 32 или 33 г. Юлия Николаевна была у меня в Ленинграде и рассказывала о своем свидании с Горьким то же самое, что у дьякона Федора. Она готовилась тогда получить паспорт и выехать за границу. Данзас Горький был обязан, так как она просила за Горького у государыни. Когда он был в Петропавловской крепости, она была статс-фрейлиной императрицы Александры Федоровны.” /письмо Д.С.Лихачева от 7 марта 1991 г./.

Трудно сказать, возможно ли было ее ходатайство за Горького в 1905 г. и дало ли результат. Если бы был такой факт, Алексей Максимович упомянул бы его в письме Екатерине Павловне, а этого нет. Вопрос о личной обязанности Горького Данзас остается открытым. Важна его действенная помощь в Петрограде, хлопоты об освобождении с Соловков и при выезде за рубеж. Писатель выглядит в делах более доброжелательным и активным, чем его представляет “Фрейлина с Соловков”.

Кроме Данзас священник Л.Федоров еще рансе был освобожден не без его участия. Есть сведения о целом ряде людей, в частности, в находящемся в АГ письме М.Погребинского от 8 сентября 1930 г. писателю сообщено: "Очень много нового и интересного в коммуне /Болшевской.— В.Ч./, много интересных людей за счет вновь прибывших из Соловков. Профессор Лобач-Жученко, которого мы видели в Соловках, теперь заведует техникумом коммуны, он доволен и мы тоже".⁵

Затем подробно описал приезд Горького М.З.Никонов — Семен Смородин в книге "Красная каторга". () София, 1938 г. После революции он руководил крестьянским восстанием в Нижегородской губернии, 8 лет скрывался под чужим именем, но был арестован, приговорен к расстрелу. По амнистии Никонов сослан на остров, через 6 лет переведен на материк и оттуда бежал. Приезду писателя посвящена целая глава "Максим Горький", где он изложил свои впечатления и соображения. Надежды на Горького: сам босяк, которого не проведешь на туфте, все увидит и обличит. Автор приводит много фактов, в частности, увиденное им чтение газеты с карикатурой, когда рядом с Горьким стояли Г.Бокий, лагерное начальство, молодой Максим Пешков с женой. /"Оба они были в кожаных куртках и имели веселый вид. Очевидно, экскурсия их забавляла" — как видим, нет факта превращения Н.А.Пешковой в чекистку, как напишет позже Д.С.Лихачев, а с его слов углубит А.Солженицын./

Особенно близко автор видел Горького на своем рабочем месте на кирпичном заводе. Отсюда Горький отправился в пушхоз, на лесной дороге его подстерег топограф Ризабелли — вышел из чащи неожиданно, уйдя с ним вперед, рассказал о многом, что творилось в лагере, и улучив минуту, опять юркнул в кусты. В итоге гость посетил на главном острове все места, где работали заключенные, кроме рабочих рот — по мнению автора — как раз дна лагерной жизни. Ему показали даже Секирный изолятор, где вместо заключенных якобы сидели переодетые чекисты с газетами /история с газетами повторяется у других авторов с добавлениями и вариациями/. На электростанции инженер-заключенный, не боясь охраны, при ней обратился к Горькому, и еще 6 человек нашли случай проникнуть к нему. "Так что туфта туфтой, но Горький всю правду видел и был осведомлен обо всем".⁶

Подтверждая достоверность книги, автор прилагает копию с рукописной клятвы, заверенной подписью священника и храмовой печатью.

Следующее по времени — свидетельство Геннадия Андреева /настоящие имя и фамилия Геннадий Андреевич Хомяков/. Этот молодой журналист был арестован по политическим мотивам в 1927 г. в Москве и осужден на 10 лет. Во время войны он попал в плен, остался на Западе, редактировал эмигрантские издания в ФРГ и США, в 1950 г. в журнале "Грани" № 8 и 20 опубликовал воспоминания "Соловецкие острова. 1927-1929 го-

ды” /сейчас их можно прочитать в тематическом номере журнала “Север” за сентябрь 1990 г./

Из них известно, какие места посетил Горький и что на пути стояли махальные — старосты и командиры рот. Автор рассказывает об отношении заключенных к гостю, как к борцу против горя и несправедливости, которого вечером в театре встречают искренними аплодисментами. И такой важный момент: “В антракте он вдруг улизнет от чекистского окружения: выйдет в уборную, где помещается и курилка. Закурив папиросу, он встанет у стены, близоруко-прищуренно смотря на заключенных старчески беспомощными глазами. Расторопные заключенные будут совать ему в карманы записки, в которых написана правда о Соловках. Горький, смущенно улыбаясь, положит руки в карманы, засунув бумажки глубже. Ночь он проведет в колонии малолетних преступников... Заведующего колонией, старого большевика Кожевникова... который именно в это лето сойдет с ума, Горький попросит удалиться, чтобы остаться с малолетками наедине... А на другой день он уедет на материк, в Москву, увозя с собой и показанное чекистами, и услышанную правду.”⁷

Вскоре в 1954 г. в “Социалистическом вестнике” П.Мороз публикует воспоминания о доверительных беседах с Горьким на крымской даче, в которых писатель отвечая на вопросы об очерке про Соловки якобы признается в том, что “карандаш редактора не коснулся только моей подписи, все остальное противоположно тому, что я написал и неузнаваемо”.⁸ Это место из статьи Мороза нельзя понимать буквально. Возможно, беседы отражали прозрение писателя середины 1930-х годов, но не конкретные факты. Однако упоминание подлинности одной лишь подписи Горького дает повод обратиться к сохранившимся рукописям очерка.

В архиве писателя хранятся 2 редакции, написанные его рукой на характерной для него бумаге — листах из блокнота в клетку и больших листах в линейку с типографскими полями, правкой красным и синим карандашом, собственноручным заголовком части “Соловки”. 2-ая редакция отличается рассуждениями о теориях преступности, ее классовом происхождении, о карательной политике и перевоспитании трудом. Можем сказать, что в очерке отразились впечатления и понимание увиденного в духе времени /неволью вспоминается название исповеди К.Симонова “Глазами человека моего поколения”/.

Из текста следует, что при отсутствии частной собственности преступность исчезнет, тюрьмы для уголовных заменят трудовым воспитанием. В Соловецком лагере поставлен интереснейший опыт превращения социально-опасных в социально-полезных. И только после большого отступления о Болшевской коммуне, которой писатель увлечен как Люберецкой и Куряжской, появляется инкриминируемое теперь Горькому высказывание:

“Болшевская трудкоммуна черпает рабочую силу в Соловецком лагере и тюрьмах. Соловки, как я уже говорил, — крепко и умело налаженное хозяйство и подготовительная школа для вуза — трудкоммуны в Болшеве. Мне кажется — вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки и такие трудкоммуны, как Болшево. Именно этим путем государство быстро достигнет одной из своих целей: уничтожить тюрьмы”.⁹

Что мог понять за 3 дня и что именно поддержал писатель на Соловках? Организованное хозяйство, выделяющее определенные группы для трудкоммун, а не только политический лагерь с режимом 1929 года. Лагерь на острове, подобно всему государству и обществу, проделал сложную эволюцию от политизолятора со сравнительно свободным режимом к концлагерю для политических и уголовных одновременно и, наконец, к тюрьме специального назначения 1937-1939 гг. Последнее произошло после кончины Горького и спустя почти 10 лет после его поездки.

История создания и публикации “Архипелага ГУЛАГ” общеизвестна, после него сокращение ГУЛАГ стало ассоциироваться со всей советской карательной системой. Во 2-ой книге в главе “Архипелаг начинается с острова” представлен приезд Горького на Соловки. В основу описания положены сведения Д.С.Лихачева, как это явствует из его “Книги беспокойств”, и сам он подтвердил это в письме ко мне от 7 марта 1991 г.

А.И.Солженицын считает, что Горького специально просили поехать на остров: его свидетельство будет лучшим опровержением зарубежных сведений о лагере. Якобы наверху Горький отнекивался, не хотел писать похвал, но его убедили и обещали изменение режима. Однако автор сразу находит изменение в сторону ужесточения — расстрел заключенных после некоего “заговора” и побега и помешательства Кожевникова в октябре 1929 г.

Он пишет, что якобы Горький ходил по коридорам нескольких общежитий, но не заходил в распахнутые двери. На Секирной в карцере сидели с газетами воры. Участница поездки Н.А.Пешкова в кожаной куртке и брюках названа “живым символом ОГПУ рядом с русской литературой”, при этом Максим Пешков в кожаной куртке вообще исчез. Очень эмоционально изложена беседа с мальчиком в колонии малолеток — с деталями, диалогом, подчеркиванием политического характера. Если не менее восьми взрослых прямо обратились к Горькому, несколько подало записки в театре, Данзас — письмо, то почему ходатаем за всех выступает подросток, а тысячи взрослых прячутся за его спину? Возникает сомнение в правдивости этой истории.

А в истории с грузчиками на Поповом острове усумнился сам соловчанин М.М.Розанов, по мнению которого это не присказка, а чистая сказка, и кто напелл ее Солженицыну, тот оказал ему плохую услугу, да и рассказ о сбросе на бревне с Секирки попал к нему скорее всего из лагерной “параши”.

Свое упоминание о поездке писателя А.Солженицын завершает общей уничтожающей характеристикой Горького, чрезмерная эмоциональность которой не всегда подкреплена фактами.

Здесь вспоминаются слова соловчанина Олега Волкова, рецензировавшего книги Солженицына для Союза писателей: "...мы всматриваемся в него /пережитое.— В.Ч./ глазами лагерников, и тут нелегко избавиться от мстительных суждений. Можно сослаться на произведения Солженицына — в них не раз прорывается неугасшая озлобленность". /"Путь к спасению" — беседа с О.Волковым/¹⁰. Там же об "Архипелаге": "На мой взгляд "Архипелаг ГУЛАГ" — не художественное исследование — это яркая, высокая, огнедышащая проза, скорее всего "опыт исторического исследования". И жаль, что Солженицын допускает в ряде мест излишне запальчивые ноты, поскольку перед нами — историческое свидетельство..."

После выхода "Архипелага" в 1975 г. к соловецкой теме вторично в своем творчестве обратился Михаил Михайлович Розанов. Он связался с Г.Андреевым, собрал свидетельства полутора десятков других соловчан и сделал специальную книгу: "Соловецкий концлагерь в монастыре. Факты-домыслы-"параш". Обзор воспоминаний соловчан соловчанами". 3 тома ее издавались с 1979 г. за счет автора, малым тиражом, у нас соответственно были в спецхране.

Автор — журналист, осужден после неудачного побега за границу в Манчжурию, в 1930 г. привезен в одно из отделений СЛОНа, в 1931 г. — на главный остров, в войну как боец Оборонстроя НКВД попал в плен и остался за рубежом. Еще в 1951 г. он написал мемуары "Соловецкие фактории", теперь же решил собрать сведения о первых годах лагеря, учитывая проблемы с документами ОГПУ-НКВД и обрастание реальных фактов неизбежными со временем присочинительством и домыслами. Не умаляя капитальный труд Солженицына, Розанов отмечает невольные его ошибки в соловецкой главе. Лагерь 1920-х годов — не то, среди чего жил Солженицын в режимных особлагах. Цель автора — очистить соловецкие "летописи" от "параш" и преувеличений и здраво объяснить факты.

По теме важна глава под названием "Концлагерные гости: коммунист Альбрехт, гуманист М.Горький, природолюб М.М.Пришвин". Якобы "в 1929 году было решено прикрыться именем Буревестника, и он неполную бочку дегтя от Альбрехта /работник Коминтерна.— В.Ч./ возможно и с горечью, но с большим опытом и ловкостью доливал и покрывал своей ложкой меда..." Подробно разобран текст очерка по №№ 5 и 6 журнала "Наши достижения" за 1929 г. и уже вышедшему тогда т.20 ПСС: из 34 страниц собственно концлагерю отведено меньше половины, а из остального — 3/4 уголовникам. Розанов находит, что краткие сведения о "казрах" уместятся на одной странице, нет ничего о самом главном — пище, работе, лагерном режиме. "Горький (а за ним вскоре и Пришвин) пользуется

всяким поводом подменить очерк о соловецком концлагере описанием природных красот... Читаешь и чувствуешь, как Горькому до горечи не хотелось касаться нутра советских Соловков, как он старался свалить с себя моральную ответственность за свою ложь, оговариваясь: “слышал... мне сказали... говорили...”¹¹

Автор удивляется незнанию Горького о вывозе с острова эсеров и меньшевиков еще в 1925 г. Он приводит имена зав. сельским хозяйством и зав. пушхозом — бывших коммунистов, якобы оставшихся на острове, чтоб не попасть под новый арест. Беседа с молодежью в казарме кажется ему скучной, необидительной, “словно бы и не было мальчишки-правдолюбца, воспетого Солженицыным” /следовательно, до Солженицына никто о мальчике не писал, но Розанов поверил этому автору/. У Солженицына же взят отзыв Горького о чекистах, напечатанный в журнале “Соловецкие острова” № 1 за 1929 г., но отсутствующий в собрании сочинений. Они названы зоркими и неутомимыми стражами революции, умеющими быть творцами культуры. Розанов видит в этой оценке “гадкое падение былого бунтаря, прирожденного оппозиционера”.

Завершает горьковскую тему критика очерка — страницы 235-й в т.20 ПСС: “Оттолкнув Достоевского, Якубовича-Мельшина, забыв про Чехова... Горький суммирует свой визит: оттого они (чекисты) не могут относиться к “правонарушителям” так сурово и беспощадно, как они вынуждены относиться к своим классовым инстинктивным врагам, которых — они знают это — не перевоспитаешь. И враги очень усердно убеждают их в этом”. Взятую фразу Розанов находит сильнее известного газетного заголовка: “Тут звучит совсем свирепо: “уничтожай и сдавшихся”. Он конечно не знал, на основе какой информации возникла известная газетная статья с разночитаемыми заголовками и как вообще информировали писателя.

Однако наряду с уничтожающей критикой есть и такой момент: “...Горький все-таки знал подлинные условия казров, наслушался про ужасы от топографа Ризабелли /Никонов.— С.179/, вычитал из записок, насованных ему в карманы в курилке соловецкого театра /Андреев.— С.78/, от мальчишки-правдолюбца /Солженицын.— С.60, 61/, от зазвавших его в свою колонию малолеток, чтобы рассказать ему об ужасах /Олехневич.— С.112-115/. Но включить это узнанное от них в свой очерк не хотел, да и знал, что тогда очерк света не увидит, да и сам он света не взвидит... А сверх того, Горький уже понял, что шире порток не шагнешь и лучше гнуться, чем переломиться”.¹²

После “Погружения во тьму” О.Волкова с кратким упоминанием приезда Горького последнее по времени публикации свидетельство — “Книга беспокойств” Д.С.Лихачева /вышла в 1991 г./. Общеизвестно, что будущий академик еще студентом был арестован по делу языкового кружка — “Космической академии” — в 1928 г. и получил 3 года Соловков.

Он высказывает такие соображения о причинах поездки писателя: “В ответ на рассказы соловецких беглецов, после которых у нашей страны перестали покупать лес — тогда-то и согласился успокоить общественное мнение почтенный наш писатель”.

Когда с радиостанции поползли слухи, что едет Горький, стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить его и получить освобождение. Якобы ездил писатель по острову немного, в 1-ый день пришел в лазарет, но не поднялся на 2-ой этаж, сказав: “Не люблю парадов”.

Дмитрий Сергеевич подробно рассказывает историю с мальчиком: “Был он /Горький.— В.Ч./ и в трудколонию. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед баракom, поскольку у меня был пропуск и к трудколонию я имел прямое отношение. После того, как Горький зашел,— через десять или пятнадцать минут из барака вышел начальник трудколонию командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским... Затем вышла часть колонистов. Горький остался по его требованию один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому всю правду про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее 40 минут... Наконец, Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала”.¹³

После отступления о поездке на Секирную, биосад и лисий питомник идет продолжение: “А мальчика не стало сразу — возможно — пока Горький еще не отъехал. О мальчике было много разговоров /обратим внимание — много разговоров! — В.Ч./ Ох, как много. “А был ли мальчик?” Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь дали бы его...”¹⁴.

Хотя Дмитрий Сергеевич вспоминает много деталей, имена начальника и помощника, но он не помнит имени реального мальчика и не был свидетелем, о чем конкретно шла беседа. Если он работал в колонии, слышал последующие разговоры, должен был знать или имя или фамилию. До Солженицына на основе рассказа Лихачева никто такого факта не приводит. Если не в памяти, то в документах где-то должно быть имя реального человека. В Соловецком музее при подготовке серьезной экспозиции по истории лагеря сведений о реальном мальчике не нашли, считают эту историю легендой.

Известно, что даже в художественных произведениях Горький очень точен в фактах. В его рукописи сохранился подлинник приводимого в очерке заявления воспитанника трудколонию Лопатинского Федора Иосифовича “члену коллегии ОГПУ гр-ну Бокому” /имена эти в очерке опущены/. В обеих редакциях

очерка податель назван уменьшительно человечком “весьма мелкого калибра”, только в печатном тексте появляется более серьезное “молодой человек мелкого калибра”, вероятно, из-за роста. Судя по рассказу, он с 1919 г. был в Красной Армии, потом в плену в Польше, в 1929 г. ему должно быть где-то около 17 лет, да и просьба об армии заставляет думать о близости призывного возраста.

Писатель опустил целый абзац, что Лопатинский согласился на задание Варшавской дивензивы, чтоб вернуться на родину, попал в Кривой Рог, работал библиотекарем на руднике, просился в окружном отделе ГПУ уехать в Ямполь Каменец-Подольской губернии, после отказа уехал самовольно и через две недели дома был арестован.¹⁵

Затем полностью включен конец заявления Лопатинского, называемого колонистами шпионом: “...Настоящим даю подписку, что никогда преступлений делать не буду и буду заниматься исключительно честным трудом. И на основании этого прошу при совершении самого маленького преступления принять ВЫСШУЮ МЕРУ (расстрел) /подчеркнуто самим заявителем.— В.Ч./ и прошу вас также на основании моей подписки заменить Соловки Красной Армией, колонией в Москве...”¹⁶ Описан поднявшийся тут шум, выкрики парней, что он из другой казармы, шпион, что человек расстроил, перепутал, вызвал хаос... В рукописи 1-ой редакции есть фраза, что писатель у себя в комнате в тишине перечитывает это заявление. В окончательный текст вошло: “Мне сказали, что человек этот принял на себя такой “заказ”: проникнуть в комсомол, держаться линии ЦК, изучить горное и летное дело. В комсомол он проник и тут же “провалился”.¹⁷

Не этот ли реальный факт с “человечком мелкого калибра” и его пафосным заявлением о высшей мере — расстреле — лежит в основе “многих соловецких разговоров”? Конечно, нужны разыскания в архивах СЛОНа о судьбе реального Лопатинского в противовес обвинениям Горькому якобы в гибели 14-летнего подростка.

Какие документы о Соловках доступны сейчас для сопоставления с мемуарами? Это публикация в книге И.Чухина “Каналоармейцы” (Петрозаводск, 1990 г.), обвинительного заключения следователя АСУ-ОГПУ Григановича и двух документов следственной комиссии в лагере в кн. “Звенья. Исторический альманах”.— Вып.1.— Всесоюзное историко-просветительское общество “Мемориал”: Изд-во “Прогресс Феникс Атенеум”.— М., 1991 г.

Особая следственная комиссия под руководством члена коллегии ОГПУ А.М.Шанина развернула работу зимой 1930 г. в пересылочном пункте в Кеми, а с началом навигации и на островах. Были раскрыты факты произвола и искажения исправительной политики. Осужден на 10 лет начальник лагеря Зарин и 12 человек “произвольщиков” приговорены к расстрелу, первым — Курилко, собственноручно расстрелявший одного

из вновь прибывших; затем осуждено еще около 60 человек, виновных в издевательствах над заключенными.

Публикатор документов задается вопросом: с чем связана проверка — с действительным желанием навести порядок или с необходимостью дать хотя бы формальный ответ на обвинения Запада, но достоверного ответа дать не может. Нет также и его соображений о поездке Горького.

Можно только предположить, что она послужила одной из причин посылки особой следственной комиссией. Опять же можно только предположить, что писатель знал о ее работе или встречался с А.М.Шаниным, во всяком случае через 2 года, в июне 1931 г.; в статье “О трудкоммунах ОГПУ” с большим фактическим материалом и рассказом об открытии новой фабрики в Болшеве, он называет Шанина вместе с Ягодой и Погребинским среди выдвигаемых болшевыми на награждение.

Мих.Розанов не связывает события 1930 г. с поездкой Горького, но считает, что после высокой комиссии на Соловках да и по всем лагерям наступила “оттепель”. Он помнил чтение перед строем результатов следствия и расстреле “произвольщиков” В течение двух лет на главном острове было улучшение условий, выдача рабочей одежды, более мягкое отношение охраны. Определил так: “Не сказал бы, что “жить стало лучше, жить стало веселее”, но существовать и сосуществовать по сравнению с прошлым стало легче и в кремле, и на командировках. Об этом периоде много не расскажешь, а начнешь вспоминать, так прервут: “Смени, скажут, пластинку. Поставь старую. Не топи прошлого”¹⁸. “Оттепель” продолжалась бы и далее, но в 1933 г. произошел большой пожар в соловецком кремле, вызвавший ужесточение режима. Вспомним — на очереди ужесточение всего политического режима.

Зададимся вопросом — насколько был информирован Горький о Соловках и какую информацию ему давали: правду или “потемкинские деревни”? Соловчане-мемуаристы говорят, что не вникал в детали, смотрел только туда, куда показывали, а О.Волков в связи с этой поездкой и поездкой бригады писателей по Беломорско-Балтийскому каналу находит “всеобщую, последовательную систему глобальной лживой информации, обмана общественного мнения”¹⁹.

Некоторое подтверждение “потемкинским деревням” дает наблюдавший ОГПУ изнутри его бывший сотрудник Лев Фельдбин, который под именем А.Орлова в 1954 г. опубликовал на английском языке книгу “Тайная история сталинских преступлений”. Он считает, что Сталин поручил Ягоде “перевоспитание” самого Горького, то же выполняет и Погребинский. Писателя лишают самостоятельных наблюдений, показывают коммуны в Болшеве и Люберцах, где бывшие уголовники привыкли встречать его заранее заготовленными речами. Якобы Горького раз в год приглашали на инспектирование тюрьмы и разыгрывали досрочное освобождение по его ходатайству. По мнению

бывшего генерала ОГПУ-НКВД, Горький — сталинский пленник.

Что дает нам обращение к документам и мемуарам по соловецкой теме еще и еще раз? Оно проясняет факты, приближает к реальной картине. Писатель на деле помог освобождению ряда людей и пытался в целом воздействовать на карательную политику в духе гуманизма, как он его понимал. Мы можем говорить о его посильном сопротивлении деспотическому режиму, находим новые свидетельства трагедии писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ АГ, ПГ-рл.58-29-2.— С.2 и публ. в ж.Орфей.— 1991.— № 1 [на болгар. яз.].
- ² Родина.— 1989.— № 12.— С.22.
- ³ Там же.— С.19.
- ⁴ АГ, ПГ-рл. 30-19-687.
- ⁵ АГ, КГ-ОД. 2-31-6.
- ⁶ М.З.Никонов (С.В.Сморodin). Красная каторга.— София, 1938.— С.179-180.
- ⁷ Север.— 1990.— № 9.— С.33.
- ⁸ Социалистический вестник.— 1954.— № 1.— С.18.
- ⁹ ПСС.— Т.20.— С.236.
- ¹⁰ Наш современник.— 1991.— № 4.— С.131, 133.
- ¹¹ М.М.Розанов. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922-1939 годы. Факты-домыслы-“параши”. Обзор воспоминаний соловчан соловчанами.— 1979.— Т.1.— С.216.
- ¹² Там же.— С.218.
- ¹³ Д.С.Лихачев. Книга беспокойств.— М.: Новости, 1991.— С.128-129.
- ¹⁴ Там же.— С.129.
- ¹⁵ АГ, ХПГ. 41-13-6.
- ¹⁶ ПСС.—Т.20.— С.216.
- ¹⁷ Там же.— С.218.
- ¹⁸ М.М.Розанов. Соловецкий концлагерь в монастыре...— Т.1.— С.168.
- ¹⁹ О.Волков. Погружение во тьму // Роман-газета.— 1990.— № 6.— С.55.

М.ГОРЬКИЙ И СУД НАД ДОСТОЕВСКИМ В
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 30-Х ГОДОВ
(Проблема трагического)

Шел третий акт российского XX трагического века. Выступая в августе 1934 года с докладом на I Всесоюзном съезде советских писателей, Горький подверг резкой критике Достоевского и его влияние на русскую литературу предоктябрьского периода, представив великого писателя “в роли средневекового инквизитора” и апологета человека “из подполья” — “эгоцентриста” и “социального дегенерата”, — в роли проповедника “звериного, животного начала человека”¹ и идейного родственника фашизма.

В.Шкловский воспринял это обличение как сигнал к суду над автором “Бесов” и “Братьев Карамазовых”, заявив: “Я сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович /то есть в Дом Союзов, где проходил съезд и где в свое время — тогда это был дом Благородного дворянского собрания — Достоевский выступил со знаменитой речью о Пушкине.— М.П./, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. “Ф.М.Достоевского,— считал тогда Шкловский,— нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника”.²

Ныне, когда наступил эпилог трагического XX века, кое-кто, особенно так называемые демократы, среди которых оказалось немало людей поверхностного, наоборотного мышления, пытается устроить суд над Горьким и его единомышленниками, сделать невозможное — перечеркнуть или хотя бы умалить его творчество. Занятие это бесплодное, сегодня надо не судить и ниспровергать Горького, а попытаться посмотреть на него по-новому, сделать необходимую переоценку его творчества, понять, что же помешало писателю в конце его жизни увидеть действительность такой, какой она была на самом деле.

Творчество любого писателя невозможно понять без знания особенностей художественного мировосприятия, в котором, кроме доминирующего эстетического восприятия, дают о себе знать все его индивидуальные, личностные свойства и качества, как природные, так и приобретенные. Развивая традиции Достоевского, русские символисты и философы-соловьевцы постигли

его мирозерцание как трагическое, основанное на острой драматической борьбе антагонистических начал: духовного, идеально-личностного, христианского, богочеловеческого, с одной стороны, и природно-чувственного, безличностно-родового, коллективно-эпического, материалистического, атеистического и человекобожеского, с другой. Трагическое мирозерцание знаменовало духовный рост личности, способной преодолеть все темное и косное в себе самой, а через себя — и в душе народа, пожертвовать собой ради высоких духовно-нравственных, эстетических, религиозных и социальных идеалов, а значит и во имя христианской любви к людям, подавляющему большинству которых эти идеалы оказываются чуждыми или недоступными, но именно они, эти высокие идеалы, должны определять крестный и трагический путь человечества к реализации своих лучших возможностей.

Горький как певец гордого и героического Человека, стремящегося в первую очередь к революционному и социальному преобразованию мира без божьей помощи, стал в русской литературе XX века главным антагонистом Достоевского, воспринимая его художественное и духовное мирозерцание как проявление пассивно-созерцательной и хаотичной русской души, ее темных и звериных инстинктов, а христианское сострадание к униженным и оскорбленным считая унижительным для гордого Человека. При этом автор “Матери” и “Врагов” не чувствовал дисгармонической односторонности в развитии только революционно-действенного и социально-разумного, просветительного начала, недооценивал значимости духовно-нравственной рефлексии, отрицал духовно-просветляющую роль христианских чувств, идеалов и переживаний, революционно-романтически ускорял темпы роста социального сознания людей из народа, прежде всего пролетариев, на которых в основном и было рассчитано героическое мирозерцание.

Героическая личность, в отличие от трагической, не обгоняла в своем духовно-нравственном развитии эпическую массу, не открывала человеку эпического коллектива идеальной перспективы его внутреннего роста, и поэтому она трагически не отрывалась от массы, а только героически жертвовала собой ради спасения физической, а не духовно-идеальной, жизни людей и ради лучшего их социального и материального существования в будущем. Вот почему для Горького с его героическим и коллективистским мирозерцанием всякое противостояние человека обществу, даже трагедийное противостояние духовно богатой и самоотверженной личности, казалось проявлением индивидуализма и свидетельством разрушения личности.

Особенности трагического мирозерцания Горького помогают понять, почему автор “Человека” и “Матери” превратно воспринимал трагическое мирозерцание Достоевского и еще в 1913 году в статьях “О <карамазовщине>” и “Еще о <карамазовщине>” выступил против готовившейся В.И.Немировичем-Данченко постановки “Бесов” на сцене Московского художест-

венного театра, считая Достоевского “злым гением нашим” и гениальным изобразителем “отрицательных признаков и свойств национального русского характера”.³ Отказ от показа “Бесов”, останавливающих внимание общества на “болезненных явлениях нашей национальной психики..., ее уродствах”,⁴ необходим был, по мнению Горького, в социально-воспитательных целях, “в интересах духовного оздоровления”.⁵ Писатель полагал, что запрет на показ отрицательных свойств национальной психологии будет способствовать ее оздоровлению, тогда как на самом деле он вел к их замазыванию, к лакировке национального характера, к сокрытию его болезней, а не к их духовно-нравственному излечению. Это стало особенно ясно в советское время, когда идеологические запреты на изображение отрицательных сторон жизни стали нормативными для литературы социализма и нанесли ей огромный вред. История XX века показала, что изживание отрицательных свойств характера возможно только на путях духовного преобразования и трагического очищения личности и народа и что “трагическое мирозерцание... одно способно дать ключ к пониманию сложности мира”,⁶ как сказал А.Блок, уже будучи автором пророческой поэмы-трагедии “Двенадцать”.⁷

Выступление Горького против постановки “Бесов” в 1913 году вызвало широкий протест среди культурной общественности и было поддержано только немногими большевиками во главе с Лениным. Не вступая в прямую полемику с Горьким, по-другому оценил инсценировку “Бесов” С.Н.Булгаков, ранее, в сборнике “Вехи” /1909/, глубоко проанализировавший отличие интеллигентского героизма от христианского подвижничества.⁸ В статье “Русская трагедия” /1914/ он делал такой вывод: “Итак, “Бесы” есть символическая трагедия. Но в то же время она существенно есть и русская трагедия, изображающая судьбы русской интеллигенции как определенного духовного уклада личности. Для Достоевского, также как и для нас, прислушивающихся к его заветам, русская трагедия есть по преимуществу трагедия религиозная — трагедия веры и неверия. /.../ Стремление ко Христу, бессилие быть с Ним и борьба с Ним будущего своеволия — вот ее предустановленное содержание. /.../ И книга “Бесы”, как ни парадоксально звучит это, написана о Христе, любимом и желанном русской душою, о русском Христе, и борьбе с Ним, о противлении Ему — об антихристе, и тоже о русском антихристе”⁹.

В силу особенностей своего художественного и социально-философского мировосприятия, основанного на вере в творческие возможности гордого, деятельного и героического Человека /слово “трагический” было для писателя почти что синонимично слову “героический”/, Горький, в отличие от С.Н.Булгакова, не мог увидеть в “Бесах” никакой трагедии, тем более христианской, ибо весь комплекс христианских чувств, переживаний и идеалов был чужд ему, а увидел гениальное изображе-

ние только отрицательных сторон русского национального характера и пасквиль на русских революционеров.

Новое выступление Горького против Достоевского, предпринятое в 1934 году, произошло в совершенно других исторических обстоятельствах, чем в 1913 году: теперь “бесы”, то есть большевики сталинского типа, уже держали в своих руках безграничную власть в тоталитарном государстве, строили гулаговский социализм, фабриковали, не без помощи Горького, метод соцреализма, необходимый им для внедрения идеологии сталинизма в литературу и искусство. Правда, поначалу многие советские писатели не замечали “бесовской” работы, воспринимали происходящее как подлинно социалистическое строительство, а Горький определял его как период начавшегося героического деяния и творчества во имя человека. Эта мировоззренческая слепота, усилившаяся у Горького в 30-е годы и поразившая многих советских писателей, оказалась связанной с односторонним, а часто и превратным восприятием Достоевского, которое способствовало деформации и извращению самого понятия трагического в литературе этого времени.

Отвечая своим оппонентам в 1913 году, Горький в статье “Еще о <карамазовщине>” писал: “Возражения, брошенные мне, брошены под заголовком: “Горький против Достоевского”, причем один литератор приписал мне намерения крайне свирепые. Он говорит, что если бы я был министром, то сжег бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но все-таки считаю долгом моим заранее успокоить взволнованного писателя: если буду, то не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литературу люблю и ценю не менее почтенного литератора”.¹⁰

Время сыграло с Горьким злую шутку. Он не стал министром, точнее — наркомом, в советском правительстве, но авторитет его после возвращения в Советский Союз был не меньше наркомовского, он не запрещал Достоевского, а, наоборот, в 1928 году высказался за переиздание “Бесов”, а в 1935 году в полемике с Д.Заславским, выступившим в “Правде” против переиздания “Бесов”, отметил, что этот роман, вместе с “Братьями Карамазовыми”, является самым удачным у Достоевского,¹¹ однако после его резкого выступления на писательском съезде Достоевского начали предавать анафеме и практически перестали издавать.

Обличительная критика Горького попала на благодатную для нее почву: на рубеже 20-х и 30-х годов в ряде произведений советской литературы утверждение героев трудового деяния связывалось с критическим отношением к современным наследникам рефлексующих созерцателей Достоевского: И.Ильф и Е.Петров сатирически изображают их в “Двенадцати стульях” в образах Васисуалия Лоханкина и жителей “Вороньей слободки”; обитатели скита в “Соти” Л.Леонова гротесково и шаржированно напоминают героев “Братьев Карамазовых”; И.Эренбург в “Дне втором” болеющего Достоевским Володю Сафонова соотносит с Николаем Ставрогиным. Думается, что в этих

произведениях не было никакой злонамеренности в изображении современных созерцателей, напоминающих героев Достоевского, а показывался их реальный облик и положение в период, как считали, героического деяния.

Горький в это время и в романе “Жизнь Клима Самгина”, и в переоценке образа Луки, превратившегося теперь во “вредоносного”¹² старикашку, и в эпистолярном диалоге с К.Фединым о “рысаках” и “клячах”¹³ не жалуется рефлексиирующих созерцателей, неизменно противопоставляя им “героизм черноработого, мастерового революции”¹⁴ Степана Кутузова, неразмысляющую “железность” героев “Баллады о гвоздях” Н.Тихонова¹⁵ и т.д. Так, отвечая Федину, Горький писал: “Крайне интересно пишете Вы о рысаке, который возбуждает у Вас досаду, и о “ничтожной кляче”, которая волнует Вас. Это — на мой взгляд — нечто очень древнее и очень христианское. “Муму” Тургенева, Акакий Акакиевич Гоголя и другие “клячи” — это больше не нужно, это — патока, которой не подсластишь горечь жизни нашей, замазка, которой не скроешь глубокие, непоправимые трещины современных форм государства”¹⁶.

Христианское сострадание к падшим, слабым, униженным и оскорбленным, столь важное для понимания трагического мировосприятия Достоевского, всегда было чуждо Горькому как певцу гордого человека и героического деяния, а в годы так называемого социалистического строительства становится еще более непримиримым: в 1930 году он в связи с Достоевским говорит о “христианской, бесчеловечной идее спасительности страдания”¹⁷. В результате исторически и социально оправданная проповедь героического, будучи противопоставленной христианскому состраданию и превратно понимаемому созерцанию, не только усугубила давнюю нравственно-эстетическую и духовную слепоту Горького к трагическому у Достоевского, но и к трагическому в советской действительности 30-х годов: видя в ней героическое, он не видел в ней преступных деяний сталинских “бесов”, представляя Достоевского “в роли средневекового инквизитора”, он не видел в Сталине Великого Инквизитора современности.

Еще Гете в “Фаусте”, изображая строительство плотин и гибель при этом ни в чем не повинных и благочестивых Филемона и Бавкиды, показал, что даже идея благого деяния, направленного на пользу человеку, может обернуться преступлением, если ее исполнителями окажутся Мефистофель и его подручные. В годы сталинизма идея деяния и строительства нового общества была, как никогда, извращена и скомпрометирована невиданными в мировой истории преступлениями тех самых “бесов”, о трагической опасности которых для судеб России и ее народа предупреждал Достоевский.

Одновременно с утверждением героического, нередко фальсифицированного, в советской литературе 30-х годов происходила деформация и извращение трагического. И.Сельвинский в первой своей псевдотрагедии “Командарм-2” /1929/ представил

героем жестокого и бесчеловечного Чуба, а его антагониста Оконного, человека думающего и гуманного, показал как “интеллигентного хлюпика, с декадентскими вкусами и игрой в “наполеончики””¹⁸. Вс.Вишневский пишет “Оптимистическую трагедию” /1933/, которая на самом деле является героической драмой. В.Киршон в содокладе “За социалистический реализм в драматургии” радовался, что у нас создается “жизнеутверждающая трагедия”,¹⁹ а В.Луговской, позднее, в книге поэм “Середина века”, внесший свой вклад в “шекспиризацию” советской истории, в речи на I съезде писателей говорил о “сумерках трагедии”,²⁰ об уходе ее в прошлое и о замене ее героическим. Нередко герой трагического плана низводился до уровня отщепенца и бандита. Так случилось с Опанасом Багрицкого и Григорием Мелеховым Шолохова. Багрицкий сам превратил своего героя, который в поэме был отмечен знаком трагизма, в отпетого бандита, когда в 1933 году переделал свою “Думу про Опанаса” в оперное либретто. Григория Мелехова пытались произвести в отщепенца некоторые критики и литературоведы. Надо отдать должное мужеству Шолохова, который, не решившись сказать всей правды о коллективизации и раскулачивании в “Поднятой целине”, остался на высоте и не покривил душой в изображении трагической судьбы одного из лучших людей из народа — Григория Мелехова.

Много было сделано для того, чтобы навести “хрестоматийный глянec” на творчество Маяковского, замазать его лирико-трагедийную сущность. В этом отношении показательны уничтожительная оценка А.Безыменским поэмы-трагедии “Про это”²¹ и нечувствительность даже друзей поэта к тому, что его самоубийство явилось следствием неразделенной и трагедийной “громады любви” к женщине и к людям, результатом общественной травли²². На самом деле все творчество Маяковского является единым трагедийным действием всемирно-исторического и бытийного масштаба, а сам поэт — его трагическим героем²³. Стремясь, подобно Горькому, поставить героического и творчески активного Человека на место Бога, Маяковский отличался от Горького тем, что был богоборцем с сердцем Христа²⁴.

Подлинный трагизм и в жизни, и в литературе 30-х годов стал подпольным и сокровенным: он ушел в ГУЛАГ, в застенки сталинской инквизиции, давал о себе знать в основном в произведениях, которые тогда не могли быть опубликованными: в “Котловане” и “Чевенгуре” А.Платонова, “Мастере и Маргарите” М.Булгакова, “Песни о Великой Матери” Н.Клюева, в трагедийной поэзии О.Мандельштама и А.Ахматовой,²⁵ в закамouflированных исторической темой “Зодчих” Д.Кедрина. Вина за сокрытие и извращение трагического в это время в значительной мере лежит и на Горьком, но она не дает нам права нигилистически относиться к его художественному творчеству, посвященному утверждению героического, социально разумного и активного, устремленного к творческому труду Человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934 // Стенографический отчет.— М., 1934.— С.11.
- ² Там же.— С.154.
- ³ Горький М. Собр.соч. В 30-и т.— М., 1953.— Т.24.— С.147.
- ⁴ Там же.— С.155.
- ⁵ Там же.— С.149.
- ⁶ Блок А. Собр.соч. В 8 т.— М.—Л., 1962.— Т.6.— С.105.
- ⁷ См.: Пьяных М. “Русский строй души” в революционную эпоху /”Двенадцать” и “Скифы” А.Блока/. // В мире Блока: Сб. статей.— М., 1981.
- ⁸ См.: Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество.— М., 1992.
- ⁹ О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов: Сб.статей.— М., 1990.— С.195.
- ¹⁰ Горький М. Собр. соч. В 30 т.— М., 1953.— Т.24.— С.152
- ¹¹ См.: Горький М. Несобранные литературно-критические статьи.— М., 1941.— С.105; Мясников А.С. Достоевский и Горький. // Достоевский — художник и мыслитель: Сб. статей.— М., 1972.— С.548.
- ¹² Горький М. Собр. соч. В 30 т.— М., 1953.— Т.26.— С.425.
- ¹³ Е.В.Старикова указывает, что образы “рысаков” и “кляч”, используемые в переписке Федина и Горького, восходят к Достоевскому. См.: Достоевский — художник и мыслитель: Сб. статей.— М.,1972.— С.634-635.
- ¹⁴ Горький М. Собр. соч. В 30 т.— М., 1952.— Т.20.— С.45.
- ¹⁵ См. там же.— М., 1955.— Т.30.— С.442.
- ¹⁶ Федин К. Собр. соч. В 12 т.— М., 1986.— Т.10.— С.311.
- ¹⁷ Горький М. Собр. соч. В 30 т.— М.,1953.— Т.26.— С.224.
- ¹⁸ Резник О. Жизнь и поэзия. Творчество И.Сельвинского.— М., 1972.— С.270.
- ¹⁹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей...— С.402.
- ²⁰ Там же.— С.544.
- ²¹ Там же.— С.551.
- ²² См.: Альманах с Маяковским.— М., 1934.— С.7-12.
- ²³ См.: Пьяных М. Мой Маяковский.// Вечерняя средняя школа.— 1991.— № 4.
- ²⁴ См.: Пьяных М. Богоборец с сердцем Христа. // Свободная мысль.— 1993.— № 5.
- ²⁵ См.: Пьяных М. Постигание трагического. // Звезда.— 1989.— № 2; Пьяных М. “Меня, как реку, суровая эпоха повернула”, /О поэзии А.Ахматовой второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов/. // Звезда.— 1989.— № 6.

ПОЛЕМИКА М.ГОРЬКОГО С А.АВДЕЕНКО
(К характеристике духовной программы критика)

Духовная программа М.Горького определяла содержание и цели его литературно-общественной и литературно-критической деятельности. Она включала комплекс идеологических требований к литературе, в частности, требование изображать “нового человека” как “подлинного героя”, используя право искусства на преувеличение и избегая “пессимистических размышлений”. К числу важнейших положений духовной программы Горького относилась идея пробуждения народного “активизма”, “воли к жизни”, личной инициативы каждого человека. Впервые эта идея была сформулирована еще в начале века¹ и развита в его публицистике конца 1920-х — начала 1930-х годов.

Вместе с тем, учитывая особенности сознания “многомиллионной массы людей еще не очень грамотных”², у которых, даже если они “стахановцы”, эмоция предшествует “миропониманию интеллектуальному” /30, 418/, Горький включал в свою духовную программу идеи, к которым относился изначально критически. В частности, допускал бытование легенд о вожде и поддерживал существование “обыкновенной” литературы. Признание легенд о личности он объяснял тем, что “большинству людей необходимо верить для того, чтобы начать действовать”³. Признание “обыкновенной”, “не гениальной” литературы, которая является только “рычагом социализма”, Горький связывал как с наличием “мало- или безграмотных даже” литераторов, так и с тем, что такая литература необходима как средство социально-политического воспитания читателей из той же “многомиллионной массы”. Но при этом он ясно сознавал: “Не все, что “бытует”, должно существовать” /30, 419/. К числу таких явлений он относил также “вождизм”. Например, на Первом съезде советских писателей Горький говорил: “Не думаете ли вы, что, слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение других?” /27, 334/.

Однако признание, пусть на какой-то непродолжительный исторический период⁴, сосуществования “обыкновенной” и “гениальной” литературы, легенд о вожде и отрицания “вождизма” делало духовную программу внутренне противоречивой, а следовательно такой противоречивостью должны были обладать

и литературные суждения Горького. Это в полной мере относится к его оценкам прозы А.Авдеенко. Но полемика с Авдеенко интересна прежде всего тем, что показывает вступление Горького в период преодоления некоторых своих противоречий.

Двадцатипятилетний Авдеенко прославился в 1933 году автобиографической повестью “Я люблю”, в которой показал как беспризорник, вор и хулиган, перевоспитывается в рабочем коллективе. 22 августа 1934 года в речи на съезде писателей Горький поставил ее в соответствии с успехом у читателей в один ряд с романом А.Толстого “Петр Первый” /27, 334/.

Осенью 1934 года Горький познакомился с первой редакцией новой книги Авдеенко — романа “Столица” о строительстве Магнитогорска, почти одновременно он узнал мнение об этом романе А.С.Щербакова, первого секретаря Союза писателей. Щербаков сообщал Авдеенко о недостатках романа и советовал показывать трудности строительства “пятiletки” так, “чтобы не получилось, что рабочий класс совершал какое-то жертвоприношение”; “...кровь, стоны и слезы не обязательно должны сопутствовать стройке”. “Страдания кулаков,— отмечал Щербаков,— показаны слишком густо трагически — не надо этого”⁵.

Горький поддержал эти пожелания (30,367/, так как они соответствовали его установке на изображение “героического настроения масс” и на воспитание “активного отворачивания к страданию”. Однако в разговоре с Авдеенко в начале 1934 года Горький ограничился одобрением идейного замысла романа — изобразить, как “бессовестный собственник” становится “ударником, гордостью Магнитки”⁶. Этот замысел совпадал с важнейшим пунктом духовной программы Горького: показывать появление новых людей с ощущением мира как “разнообразнейших реальностей, которые создаются их энергией” /30, 418/. По свидетельству Авдеенко, Горький высказал ему только одно пожелание: “Работайте в полную мощь. Оттачивайте талант”!

Вскоре Авдеенко получил предложение от Л.Мехлиса, главного редактора “Правды”. Оно обещало публикации в “Правде” и продолжение известности, обретенной с выходом повести “Я люблю”. Это предложение, кажется, учитывало и психологию Авдеенко, безусловно принадлежавшего к тому поколению “тридцатилетних”, о которых Горький в 1934 году писал, что они пережили “в отрочестве и юности “тяжелые времена”, а эти времена отразились на психике многих 30-летних весьма вредно: люди слишком жадны к удовольствиям жизни, слишком спешат насладиться и не любят работать добросовестно”⁷.

Предложение Мехлиса, в отличие от горьковского наказа, не было рассчитано на серьезную работу над собой, а требовало четко и послушно следовать политической конъюнктуре. Мехлис говорил Авдеенко: “Советская власть — это прежде всего Сталин. Именно его мы должны благодарить за все, что делается и делается в стране хорошего. Кто же должен благодарить

Сталина, как не вы, вышедший из самых низов, пролетарий, ставший писателем?!”⁸

1 февраля 1935 года в “Правде” была опубликована речь Авдеенко на Съезде Советов под заголовком “За что я аплодировал Сталину” Это была прежде всего одическая речь, политически представляющая “великого воспитателя Сталина”, давшего все, что имеет автор, здоровье, силу, человеческие чувства, жизнерадостность, возможность творить и иметь профессию, “жить сто лет” и оставаться “вечно счастливым”. По мнению Авдеенко, “великому Сталину” принадлежит не только его жизнь, но и жизнь всех молодых людей, которых оратор назвал “сыновьями” “вождя великой родины”. В изображении Авдеенко жизнь предопределяется волей Сталина.

Горький, один из председателей многодневного съезда советских писателей, конечно, догадывался, кто, как и зачем мог предложить Авдеенко выступить на Съезде Советов, а затем отвести под его речь пол-полосы в газете “Правда” Организовав эту речь, Мехлис, бесспорно, упрочивал свое влияние на Сталина. Между тем еще в августе 1934 года в письме к И.Сталину Горький заявил о своем отрицательном отношении к попыткам Мехлиса /вместе с П.Юдиным/ сколотить группу, которая, опираясь на “Правду”, станет “командовать” литературой. По мнению Горького, эта группа не имеет права на руководство литературой “вследствие слабой интеллектуальной силы этой группы, а также вследствие ее крайней малограмотности в отношении к прошлому и настоящему литературы”⁹.

Однако несмотря на протесты Горького и его попытки защитить литературу от “деспотизма полуграмотной массы” литераторов “Правда” продолжала их поддерживать. 28 января 1935 года Ф.Панферов опубликовал на ее страницах “Открытое письмо А.М.Горькому”. Он обвинил его в том, что отношение Горького к Панферову¹⁰ расходится с указанием Сталина выращивать кадры, как садовник выращивает плодородное дерево. Таким образом, Панферов недвусмысленно указал, что позиция Горького не соответствует официальным установкам.

Появление через три дня в той же “Правде” речи Авдеенко не только было подсказкой писателям, как надо заявлять о личной преданности вождю, но и понятным Горькому свидетельством того, что Авдеенко стал одним из группы Мехлиса, который ловко манипулирует полуграмотным писателем.

Горький по-прежнему относился к биографии Авдеенко, которая показывала, что благодаря государственной заботе беспризорник может превратиться в литератора. Об этом свидетельствует упоминание речи Авдеенко на Съезде Советов в ответном открытом письме Горького Панферову, не попавшем на страницы “Правды”¹¹. Но он не мог не заметить, что Панферов и Авдеенко, два “крайне малограмотных” литератора, и их лесть вождю используется Мехлисом для достижения групповых целей. И это не могло не повлиять на его дальнейшее отношение к Авдеенко. Но самое главное, беспримерная

лесть вождю была вопиющим проявлением “вождизма”, приносящим личный вклад отдельного человека в общее дело и резко противоречила установке Горького на пробуждение в народе “воли к деянию” Поэтому ода Сталину не могла не вызвать раздражения Горького, усиленного пониманием того, что Мехлис “переманил” Авдеенко. 29 мая 1935 года в рецензии на материалы Хрестоматии по литературе для красноармейцев Горький заметил: “Не следовало бы включать истерическую речь Авдеенко на съезде писателей”¹².

Это упоминание — первое документальное свидетельство отрицательного отношения Горького к личности Авдеенко и его высказываниям. Можно предположить, что отзыв о речи на съезде писателей навеян и воспоминаниями о речи на Съезде Советов /именно к ней более всего подходит эпитет “истерическая”/

Однако недовольный одическими славословиями в адрес Сталина Горький по-прежнему был верен своей идее пробуждать легендами человеческую самодеятельность. В той же рецензии на Хрестоматию он советовал дополнить ее современным фольклором — “сказками и легендами о Ленине, Сталине”. Поразительное противоречие между борьбой с “вождизмом” и ориентированием на народные легенды о вождях продолжало влиять на литературные суждения Горького. Но постепенно акцент на борьбе с “вождизмом” становится ведущим. Отрицание “вождизма” стало решающим критерием оценки романа Авдеенко, получившего во второй редакции название “Судьба”.

Горький прочитал рукопись в конце 1935 года и написал Авдеенко письмо-рецензию. Эстетическая оценка романа “Судьба” была беспощадной: “несерьезное, поверхностное отношение к литературной работе”; не вижу, “что Вы учитесь”; “изобразительные приемы не стали ярче”; нет “четкости и наглядности” — “первого условия подлинного искусства”¹³.

По справедливости отказав роману в принадлежности к “подлинному искусству”, Горький не считал возможным причислить его и к разряду “обыкновенной” литературы”, литературы как “рычага социализма”, так как роман не отвечал горьковским идеологическим требованиям к такой литературе /способствовать “повышению энергии работников”/. В романе, сказал Горький, “очень много слез” Но более всего критериям Горького не соответствовал герой романа Максим Недоля: он “ничтожен” Горький употреблял понятие “ничтожный” в его словарном значении: “совершенно незначительный по роли, внутреннему содержанию, не внушающий особого уважения”. Герой романа ничтожен, так как живет по принципу “против судьбы не попрешь” За концепцией героя Горький увидел позицию автора, который, по его мнению, склонен считать, что “жизнь каждого из нас заранее предопределена, — волею бога” Споря с Авдеенко, Горький, как представляется, учитывал пафос его оды Сталину, в которой Авдеенко действительно

объявил, что жизнь его и других, не только настоящая, но и будущая, “заранее predeterminedена волею...” Сталина¹⁴.

Политический подтекст имела и завершающая фраза этого абзаца. “Магнитогорск,— утверждал Горький,— создавался не по воле божией, а после постановления ЦК партии и по плану, созданному советскими инженерами” Горький подчеркивал понятия, важнейшие в его духовной программе,— понятия “коллективной воли” /ЦК партии/ и понятие “коллективного разума” /план инженеров/. Иносказательный смысл будет яснее, если учесть, что официальная пропаганда связывала строительство Магнитки с личным решением Сталина, а Авдеенко, вслед за ней, говорил в речи на Съезде Советов: Магнитогорский завод “создан сталинской политикой индустриализации страны”.

Чтобы достучаться до разума Авдеенко /отчаянная попытка!/, Горький необычайно резко заострил свою мысль: “...в советском лексиконе слово “судьба” не должно иметь места”. Это требование Горького нельзя понимать буквально, потому что в те годы он довольно широко использовал понятие “судьба” в его традиционном смысле. Горький говорил и о своем подчинении судьбе¹⁵, и о “судьбе поколения” Агриппины Коревановой /27, 534/, и о судьбе “земли родной” В письме к Авдеенко понятие “судьба” Горький употребил как эвфемизм — обозначение таких явлений, как поклонение человека “великому воспитателю Сталину” и толкование его воли как определяющей жизнь людей. Эти явления человеческой психологии лишали человека “воли к деянию” и горьковское изъятие “судьбы” из “советского лексикона” было метафорическим отрицанием этих явлений¹⁶.

Ответ Авдеенко на горьковскую рецензию был эмоциональным. Его письмо подтверждало горьковский вывод о том, что у не очень грамотных людей эмоции предшествуют “миропониманию интеллектуальному” /у Авдеенко этот процесс растянулся на десятилетия/. Писатель очень обиделся на действительно жесткий, резкий тон письма Горького. Горьковское замечание об излишестве “слез” в романе он удачно парировал напоминанием о “невыплаканных слезах моей матери”¹⁷. Это было столкновение двух принципов изображения жизни: горьковского “не опасайтесь пофантазировать в пользу будущего” и стихийного правдолюбия молодого автора. Но главная суть конфликта была в другом.

Авдеенко не только не понял тайного смысла горьковской критики, но никак не ответил и на прямое требование — не следовать слепо судьбе. Не заметил он и четких и верных оценок своего романа. Обошел и горьковский упрек в том, что “не учится” Не задумавшись над этим, Авдеенко не понял, может быть грубого по тону, но справедливого по сути, заявления Горького о том, что Авдеенко въезжал “в литературу на чужих хребтах”. Писатель не догадался, что “помощь и совет

старших” не считается воровством только в том случае, если автор отвечает на это работой “в полную мощь”.

Не осознав главного, Авдеенко поспешил объявить суждения Горького “несправедливыми”, потребовал исключить из “социалистической лексики” слово “ничтожество” и не без угрозы заявил, что он и любой из миллионов таких, как герой его романа, “зубами вырвет у Вас признание, что он человек”

Агрессивность Авдеенко, столь похожая на агрессивность Панферова в его уже упоминавшемся письме, могла служить Горькому еще одним подтверждением справедливости его опасений по поводу “деспотизма полуграмотной массы” литераторов. 10 февраля 1936 года, то есть через месяц после получения авдеенковской отповеди, Горький предостерегал А.Щербакова: “увеличение количества малограмотных писателей — дело вредное”¹⁸. В марте того же года в письме к И.Сталину Горький доказывал, что “халтуристы”, “стая бездарных людей” /в их числе были, как известно, и “малограмотные писатели”¹⁹/ травят Д.Шостаковича после статьи в “Правде” “Сумбур вместо музыки”²⁰. Он понимал, что группа Мехлиса продолжала командовать литературно-художественной жизнью. Развитие событий в последующие годы подтвердило пророческое значение горьковского предупреждения об опасности “деспотизма полуграмотной массы” и ее разновидности — “стаи бездарных людей”.

Конфликт Горького с Авдеенко был одним из эпизодов в борьбе культурных и противокультурных сил в литературной мысли тридцатых годов. Он подтвердил безнадежность попыток Горького надолго сблизить “отлично грамотных” и “полуграмотных” литераторов на чисто идеологической основе вне интересов высокой культуры. Думается, именно столкновение с Авдеенко и сопутствующие этому обстоятельства дали толчок к корректировке горьковской духовной программы. Было уже невозможно рассматривать легенды о Сталине как средство активизации народа, так как в самой действительности фольклорные легенды все интенсивнее вытеснялись пропагандистскими одами. Отрицание “вождизма” дополнилось отказом от популяризации личности Сталина. Признаки такой корректировки, на мой взгляд, видны в том, что, судя по материалам 27 и 30 томов собрания сочинений писателя /М., 1953-1955/, начиная с 1936 года Горький перестал ссылаться на имя и мнение Сталина в статьях и письмах, а в посланиях к Сталину начал полемизировать с его культурной политикой, все чаще опиравшейся на “стаю бездарных людей”.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Горький М. Статьи 1905-1916 гг.— Пг., 1918.— С.191.

² Горький М. Собр. соч. В 30-и т.— М., 1953.— Т.26.— С.32.

³ Горький М. Владимир Ильич Ленин // Коммунистический интернационал.— 1920.— № 12.— Стлб. 1934.

- ⁴ Горький считал, что “диктатура пролетариата — явление временное” /26, 264/.
- ⁵ РЦХИДНИ, Ф.88, Оп.1, Д.480, Лл. 4,6.
- ⁶ Авдеенко А. Отлучение // Знамя.— 1989.— № 3.— С.47.
- ⁷ Письмо М.Горького И.Сталину от 2 августа 1934 года // Лит. газ.— 1993.— 10 мар.— С.6. /Публикация В.С.Барахова/
- ⁸ Авдеенко А. Отлучение.— С.51.
- ⁹ Письмо М.Горького И.Сталину от 2 августа 1934 года.
- ¹⁰ Имелись в виду суждения Горького в статье “Литературные забавы” /27, 268-270/.
- ¹¹ См.: Лит. Россия.— 1992.— 3 апр.— С.9. /Публикация В.С.Барахова/.
- ¹² Архив А.М.Горького, ПГ-рл. 55-1-38.
- ¹³ Архив А.М.Горького, ПГ-рл. 1-3-1.
- ¹⁴ Писавшие о романе критики отмечали недостаток писательского мастерства, но в основном их оценки резко разошлись с мнением Горького. А.Селивановский утверждал, что “образ Максима — успех Авдеенко” /Лит. газ.— 1936.— 5 апр./.
- Д.Заславский считал, что в романе “превосходный Максим” и многие страницы “радуют своей яркостью” /Правда.— 1936.— 6 апр./.
- Мнение Горького о романе “Судьба” было известно в литературных кругах, и поэтому статьи критиков, особенно Д.Заславского, можно рассматривать как скрытую полемику с горьковской оценкой.
- ¹⁵ Письмо М.Горького П.Сухотину от 23 июня 1932 года // Горький М. Полн. собр. соч. В 25 т.— М., 1973.— Т.19.— С.551.
- ¹⁶ Родственный пафос присутствовал в предисловии Горького к изданию книги А.Барбюса “В огне” /М.—Л., 1935/. Там Горький писал, что даже при наличии разума подавление воли принижает роль человека “до степени безвольного инструмента, до какой-то отвратительной машины, созданной злой и темной силой на служение ее дьявольским целям” Предисловие датировано 11 сентября 1935 года.
- ¹⁷ Архив Горького, КГ-п. 1-4-7.
- ¹⁸ Архив Горького, ПГ-рл. 55-1-16.
- ¹⁹ См. об этом: Перхин В.В. И.Г.Лежнев в газете “Правда”: К характеристике эволюции критика // Вестник Санкт-Петербургского университета.— 1992-Сер.2.— Вып.4.— С.80-81.
- ²⁰ Письмо М.Горького И.Сталину в марте 1936 года // Лит. газ.— 1993.— 10 марта.— С.6. /Публикация В.С.Барахова/.

“ЗАГАДКА 1 СЕНТЯБРЯ”
В ИЗОБРАЖЕНИИ М.ГОРЬКОГО

(Тайна убийства П.А.Столыпина)

Накал общественных страстей, в котором мы живем последнее время, необычайно политизировал наше общество. Процесс этот проник во все сферы стремительно развивающейся действительности. Не мог он не коснуться и сферы культуры, в частности искусства, литературной науки, критики, активизировав исследовательскую работу в этих областях. Но не обошлось без издержек. Во всяком случае, в литературоведении, занимающемся классикой, определенно наметился отход от проблем эстетики, художественности, поэтики, то есть наблюдается некая тематическая и жанровая односторонность, которая особенно, как мне представляется, сказалась при изучении Горького. Как-то все больше мы обращаемся к частным фактам биографии писателя, отдельным сторонам его мировоззрения, общественно-политической позиции в тот или иной период, а из произведений — к очеркам, публицистическим статьям и эпистолярному наследию. Меньше работ, посвященных собственно художественному творчеству Горького — разнообразной и многогранной прозе, драматургии, мастерству писателя, специфическим чертам его творческого метода, стиля, характерным особенностям типизации образов и т.п. Словом, таких работ, которые раскрывают его писательскую индивидуальность, одному ему присущие черты творчества.

В этой связи мне хотелось бы остановиться на небольшом эпизоде из самого крупного художественного полотна Горького — “Жизни Клим Самгина” и хотя бы вскользь коснуться характера работы писателя, мастерства претворения фактов жизни в факты искусства.

Как все великие писатели, Горький велик и своими монументальными художественными обобщениями и своей приверженностью жизненной реальности, не позволяющей его обобщениям, оторвавшись от земли, парить в “эфире чистого мышления”. Даже о сказочно-романтическом образе Макара Чудры Горький говорил, что это “живой человек”, которого он “встретил в 1892 г. в Аккерманском уезде”¹. “Жизнь действительная” была его “школой”, “университетом”, главным источником

творчества. Он сам в этом постоянно признавался и настойчиво призывал писателей черпать факты из сокровищницы действительности, обогащать свой жизненный опыт.

Но, говоря о важности изучения фактов действительности, Горький в то же время настойчиво подчеркивал необходимость идти от факта к художественным обобщениям, предостерегая от опасности фактографичности и натурализма в искусстве. Эти признания и творческие установки Горького объясняют глубоко реалистическую основу его творчества. Вместе с тем творческий метод Горького имеет свои специфические особенности. Как ни один другой писатель, он подвластен “земному притяжению”. Его произведения связаны теснейшим образом с реальными событиями не только в общем для всего реалистического искусства крупномасштабном плане: верность правде жизни. У Горького едва ли не каждое движение, явление социальной, духовной “биографии” общества и личности — действительный исторический факт. Красноречиво признание самого писателя: “... никто не выдумывает меньше меня”².

Особенно показателен в этом отношении “прощальный роман” Горького “Жизнь Клима Самгина” — одно из крупнейших произведений русской литературы XX века. Конечно, каждый художник в своем творчестве использует реальные факты, но обычно извлеченный писателем из жизни характерный факт, попадая в “страну вымысла”, на страницы книги, преобразуется в типический образ, принадлежащий только искусству, т.е. под властью фантазии, воображения художника реальные черты факта в процессе типизации, возведения его к “общим началам” (Добролюбов) или видоизменяются, или совершенно теряют былые приметы.

Однако этот глубоко диалектический процесс художественного творчества нельзя упрощать. Одни писатели склонны отдавать предпочтение “миру действительному”, другие — “миру воображаемому” (хотя и он тоже не может быть вовсе оторван от самой жизни).

Но в том-то и заключается особенность творческой работы Горького и главное своеобразие его романа, что он живет как раз в “двух мирах”, что его художественный образ, рожденный из характерного жизненного факта, часто сохраняет “двойное подданство” — и в “мире реальности” и в “мире вымысла”. Поэтому в его романе, наряду с конкретными и реальными фактами и лицами, множество “безымянных” фактов, анонимных, зашифровано изображенных персонажей, представляющих определенную реальность, и целая галерея типов и прототипов, анонимов и псевдонимов, за каждым из которых конкретное историческое лицо, характерный исторический факт.

Это мастерство художественного проникновения, обобщения и осмысления жизненной реальности, поставленной в контекст истории, определило, в частности, исторически познавательное значение “Жизни Клима Самгина” Остановимся на одном выразительном примере — историческом событии, тема которо-

го стала предметом ожесточенных споров героев горьковского романа.

Как известно, 1 сентября 1911 года во время праздничного спектакля в Киевском оперном театре, в присутствии царя Николая II, Д.Г.Богровым был смертельно ранен председатель Совета министров П.А.Столыпин (умер 5 сентября).

“... Жизнь снова начала тревожить неожиданностями,— читаем мы в романе.— В Киеве убили Столыпина. В квартире Дронова разгорелись чрезвычайно ожесточенные прения на тему — кто убил: охрана? или террористы партии эсеров?”

Вопрос этот не риторический и не праздный. Смерть человека, на которого в течение нескольких лет опирался царский режим, возбудила общественное мнение и широко обсуждалась. И не только в интеллигентских салонах, вроде дроновского, но и в прессе, Думе, Государственном совете, партийных кругах, словом, среди всех слоев населения. Тем более, что обстоятельства покушения были неясны. Их не прояснили ни скоропалительное следствие, ни поспешный суд при закрытых дверях, ни многочисленные статьи, появившиеся тотчас после события. Не внесли ясности и публикации, появившиеся позднее. Поэтому не случайно обстоятельства смерти Столыпина и поныне привлекают внимание историков, публицистов, писателей³.

Как исторически достоверен художник, воспроизводя ожесточенные споры в доме Дронова, если и сегодня историку, вооруженному всей обширной литературой и новейшими публикациями, приходится шаг за шагом распутывать нити этого происшествия и постоянно теряться в догадках. И нет ничего удивительного, что, как и в свое время, так и сейчас всех занимает один и тот же вопрос: кто убил — агент охранки при содействии полиции или эсер-террорист? С самого начала везде писалось и говорилось о связях убийцы с охранкой — одни ее обвиняли в халатности и пренебрежении своими обязанностями, другие — в сознательном соучастии в убийстве. Трудно было поверить, что убийца мог обвести вокруг пальца опытных охранников. Ведь они, кажется, приняли все меры предосторожности.

В Киев Столыпин прибыл в конце августа, одновременно с членами правительства и многими высшими сановниками, по случаю торжеств, устроенных в связи с введением земств в шести западных губерниях империи. Кроме того, в Киев съехались со всего Юго-Западного края губернаторы, земские деятели, предводители дворянства, воинские начальники. Ожидали царя со свитой.

Понятно, что министерство внутренних дел и весь полицейский аппарат были поставлены на ноги. В Киев прибыл начальник дворцовой охраны А.Спиридович с огромным штатом людей. Кроме того, в помощь киевскому охранному отделению, которым ведал Н.Кулябко, шурин Спиридовича, было послано около 2 тысяч агентов полиции. Товарищ министра внутренних дел генерал П.Г.Курлов осуществлял общее руководство по

охране высоких особ. Его помощниками были вице-директор департамента полиции М.Веригин и чиновники по особым поручениям — двоюродный брат Курлова А.Курлов и Л.Снько-Поповский.

В то, что Богров мог войти в доверие и “переиграть” многоопытных охранников, трудно было поверить. Еще в 1912 году А.Изгоев по горячим следам писал о неразъясненных фактах убийства, о роли охраны, о том, что здесь скорее умысел, чем просто небрежность⁴. Напомним: следствие по делу Богрова было молниеносно быстрым, 9 сентября он уже предстал перед судом. Сам суд тоже был скорым, длился 3 часа, чтение обвинительного заключения заняло 30 минут. В зале присутствовало около 20 человек, включая судей, представителя обвинения, министра юстиции, генерал-губернатора, командующего военным округом, гражданского прокурора. Из 12 свидетелей явилось семеро. Богров на суде был спокоен, наличие соучастников отрицал, отказался от защиты, а после вынесения смертного приговора — и от прошения о помиловании. Приговор был утвержден в течение суток командующим военным округом Ивановым. Материалы следствия и суда, а также показания свидетелей не сохранились.

Итак, кто-то постарался, чтобы не осталось никаких следов. Но кто же? Совершенно ясно, что, хотя организация убийства приписывалась охранке (Курлову и его протезе Кулябко), видимо, очень могущественные лица стояли за ними.

Вспомним, что Столыпин, приехав в Киев, поселился в доме генерал-губернатора Ф.Ф.Трепова (брата Д.Ф.Трепова, жестоко расправившегося с участниками первой русской революции), но чувствовал себя в Киеве одиноко, никто им не занимался, его явно игнорировали: не дали придворного экипажа, “забыли” предоставить место на пароходе, на котором царь намеревался выехать в Чернигов, и т.п.⁵

Вряд ли все это было случайностью. Недоброжелательное отношение к Столыпину стало заметно еще с весны 1911 года. Здесь не место останавливаться на положении Столыпина, который “верой и правдой” служил монархии и в течение ряда лет был опорой царю, но в тот момент явно терял свое влияние. Преодолев сопротивление представителей крупного землевладения, он сумел осуществить главную свою цель — разрушить сельскую общину и ввести земства в западных губерниях России. Его действия усилили враждебное отношение к нему высшей аристократии. У него не было сторонников, а консервативные и реакционные круги видели в нем опасного либерала. И сам царь не скрывал своего недовольства Столыпиным, что, конечно, было замечено дворцовой камарильей. Ходили упорные слухи, что царь уже подписал его назначение на Кавказ, что, в свою очередь, не оставалось тайной и для самого Столыпина.

Сложившаяся ситуация проливает свет на действия и поведение Курлова и его подчиненных. Кулябко, например, вел

себя на суде несколько вызываяще, как будто хотел дать понять, что за ним стоят влиятельные лица⁶. Однако, если Курлов и компания даже не организовали убийство, то во всяком случае, они не пытались предотвратить покушение. Уже в первых публикациях по свежим следам события, обвиняя Кулябко в инертности и халатности, писалось: “Ведь очевидно, он не хотел предотвратить покушение в таких условиях, при которых никто не прокричал бы о его заслугах. Ему нужно было покушение, предотвращенное в последний момент”⁷.

В любом случае, действия полицейских чинов имели злой умысел: возможно, разгадав действия Богрова, охрана дала ему карт-бланш и воспользовалась им как орудием для осуществления своих целей. Но возможно также, что это тот случай, когда верноподданные, уловив ситуацию и настроения своих господ (дворцовой камарильи, высшей бюрократии, видевших в реформах Столыпина наступление на свою власть и доходы), используя обстоятельство, претворяют их в жизнь. Это, конечно, не значит, что камарилья хотела обязательно смерти премьера, может быть, достаточно было отставки⁸.

Так или иначе о “высокопоставленных лицах” говорили и тогда и позже, иначе, как объяснить то, что охранка дала обвести себя вокруг пальца. Или тот факт, что Курлов, Веригин, Спиридович и Кулябко, на которых пала главная вина за обстановку, в которой Богров мог совершить убийство, никакого наказания не понесли, хотя должен был быть суд. Но Николай II прекратил расследование. И еще деталь, характеризующая отношение к Столыпину. Не успели еще увянуть пышные венки, в которых утопала могила премьера, как царь, наставляя нового главу правительства В.Н.Коковцева, поучал его: “Пожалуйста, не следуйте примеру Петра Аркадьевича, который как-то старался все меня заслонять, все он и он, а меня из-за него и не видно было”⁹. А царица тому же Коковцеву советовала “не жалеть тех, кого не стало, тех, роль которых окончилась”: “Жизнь всегда получает новые формы, и Вы не должны ... слепо продолжать то, что делал Ваш предшественник... Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить Вам место, и что это — для блага России”¹⁰.

Итак, совершенно ясно: деятельность Столыпина была обречена, а карьера предрешена, независимо от выстрела Богрова и поддержки его охранкой. Но тут не только не кончается “загадка 1 сентября”, а, напротив, в связи с вопросом о мотивах поведения Богрова, возникает другая более сложная проблема. Она заключается в том, что все, сказанное выше (та или иная роль охранки в покушении), вступает в противоречие с обстоятельствами, в которых действовал Богров (выбор им места и способа убийства без малейшей возможности скрыться). Даже те историки, которые решительно отменяют причастность охранки к убийству, не могли пройти мимо этого бросающегося в глаза противоречия¹¹. Но и объяснить его тоже не могли.

А Горький смог.

В самом деле, с первого дня приезда в Киев Столыпин без всякой охраны ходил пешком из генерал-губернаторского дома, где жил, в отделение государственного банка, где остановился Коковцов. Как и другие министры, ежедневно бывал среди толпы. Уже совсем удобную позицию для покушения представлял Купеческий сад вечером 31 августа. Вот что пишет один из современников и участников гуляния в этом саду: “Представьте себе шеститысячную толпу в постоянном движении при очень тусклом освещении. Ночь была темная. Сейчас же за линией сада зиял черный обрыв, в который можно прыгнуть и исчезнуть... Убийца мог просто даже скрыться в толпе”¹². Со стороны обрыва в сад пробралось множество “простолюдинов, подозрительных личностей”, как пишет корреспондент, в саду орудовала целая шайка карманников.

Однако Богров не воспользовался этим вечером¹³. Не воспользовался он и появлением Столыпина на следующий день, 1 сентября, на ипподроме, где в присутствии царя проходил смотр “потешных” (подростков, занимающихся военной подготовкой). Столыпин все время находился на людях, его то и дело останавливали знакомые. Все томились в ожидании царя, который с детьми приехал с опозданием на полтора часа.

После смотра, часам к девяти, гости стали съезжаться в городской театр на представление оперы Римского-Корсакова “Сказка о царе Салтане”. Все входные билеты распределяла специальная комиссия. Театральная площадь и прилегающие улицы охранялись полицией. Жандармы и офицеры у входа тщательно проверяли у всех билеты. Еще утром проверили в театре подвалы и чердаки.

Место Столыпина было в третьем ряду кресел, рядом или недалеко от него разместились также генерал-губернатор Трепов, дворцовый комендант Дедюлин, Курлов, командующий Киевским военным округом Иванов, члены правительства и царской свиты. В ложе царь с дочерьми Ольгой и Татьяной, наследник болгарского престола Борис, великие князья Андрей Владимирович и Сергей Михайлович.

Два акта прошли спокойно. В антракте Столыпин из зала не вышел, разговаривал с министрами, сзади его кресла стоял великорослый адъютант-телохранитель Есаулов. В этот момент Богров, получивший входной билет от Кулябко, поднялся со своего места в 18 ряду, подошел к Столыпину на расстояние трех шагов, вынул руку с револьвером из кармана и дважды выстрелил. Богрова схватили, смертельно раненного премьера вынесли из зала и вскоре увезли в хирургическую клинику Маковского на Малой Владимирской улице. Он был в сознании. А в театре тем временем продолжался третий акт, перед которым артисты и весь театр, повернувшись к ложе царя, спели гимн. Подъем был необычайный. Театр кричал “ура”. Царь кланялся. Гимн был повторен три раза. (Впрочем, Столыпин в это время еще лежал, истекая кровью, на диване в фойе театра в ожидании кареты скорой помощи.)

Итак, как видим, из всех возможных вариантов осуществления своего замысла убийца выбрал самый неподходящий — такой, при котором он не сохранял никаких шансов на спасение. Так почему же он сделал такой выбор? Что заставило его избрать именно такой путь? Вот этот-то вопрос и интересует Горького и героев его романа, ибо в этом, собственно, прежде всего и заключается “загадка 1 сентября 1911 года”.

Все писавшие до сих пор о деле Богрова, конечно, тоже задавались этим вопросом. Но он был для них не основным, не столь уж важным. Их главным образом и больше всего интересовал сам факт покушения, связь убийцы с охранкой, роль охранки в покушении и связь ее с “высокопоставленными лицами”

Слов нет, все эти вопросы важны. Тем не менее не они составляют главную тайну в ряду многочисленных загадок этого дела. К тому же огромная литература по этому делу — в том числе и новейшая — не дает ответа на все эти вопросы. Вернее, дает самые разные ответы.

Тем нагляднее выступает сила психологизма Горького, который сумел дать убедительный ответ на эту загадку. В отличие от ученых-историков, он не ограничивается только социально-исторической трактовкой события, а обращает внимание прежде всего на психологический аспект. В центре внимания писателя оказывается личность убийцы — “тайна” криминальная становится тайной души человеческой. Поэтому и нам следует сосредоточить свое внимание на личности Богрова, психологических мотивах его действий и поступка.

Дмитрий Григорьевич Богров (1887-1911) — сын довольно известного киевского адвоката, богатого домовладельца. После окончания гимназии поступил на юридический факультет Киевского университета, где в 1906 г. вступил в партию эсеров, затем примкнул к анархистам. Во время учебы уезжал на год в Мюнхен совершенствовать свои знания. По возвращении у него был произведен обыск. В это время — 1907 год — он и стал агентом Киевского охранного отделения. По его словам, он на это пошел ради ежемесячного вознаграждения в сто рублей и всего работал в охранке два с половиной года.

На допросах Богров заявил, что стрелял в Столыпина из идейных соображений. Один из его друзей — эсер Е. Лазарев — писал, что еще в 1910 г. Богров заявил ему, что решил убить Столыпина как самого вредного политического деятеля России, главу правительственной реакции¹⁴. Он же (и другие эсеры) считал, что служба Богрова в охранке была маскировкой для осуществления революционных целей¹⁵. Но как это согласовать с тем, что Богров несколько лет только и делал, что отправлял своих товарищей на каторгу¹⁶. Так что анти-Азефа из него не получается. В обоих случаях перед нами работа провокаторов.

Но если связь Богрова с охранкой не вызывает сомнения и полностью подтверждена ее руководителями¹⁷, то тем удивительнее обстоятельства покушения: как охранник-провокактор он

должен был осуществить убийство с наименьшими для себя потерями, без риска для жизни.

Но, может быть, ему приказали, может, ему навязали данный план и он слепо ему подчинился, слепо его выполнял? Ничего подобного. Исследования историков подтверждают, что убийца действовал совершенно самостоятельно. Если же поверить Богрову, что явившийся к нему некий “Степа” его шантажировал, требуя любого террористического акта иначе он будет разоблачен как провокатор и в будущем ему угрожает смерть, то здесь тоже логика нарушена. Получается, что, действуя под влиянием страха быть разоблаченным перед эсерами, Богров стрелял в Столыпина, не имея никаких шансов избежать виселицы. Такое сочетание трусости и мужества маловероятно. Не мог он получить приказ и от охраны. Фактические обстоятельства дела показывают, что им никто не руководил. (Выше говорилось лишь о молчаливом предоставлении ему свободы действенной охранкой.)

Вспомним, как получил убийца входной билет в театр. 26 августа он явился (после чуть ли не годовичного перерыва) в киевское охранное отделение и заявил Кулябко (а затем повторил при Спиридовиче и Веригине), что во время своего пребывания в Петербурге эсеры ему сообщили, что один из них, некий Николай Яковлевич, должен приехать в Киев. Они просили Богрова обеспечить его безопасной квартирой. По мнению Богрова, проезд этого человека связан с организацией во время торжеств покушения на Столыпина и министра просвещения Кассо.

Допустим Богрову поверили. Но странно: никто не пытается установить ни личность, ни фамилию этого человека. Может это просто мифическая фигура? Нет, ложную информацию Богрова сочли за абсолютно достоверную.

Сигнал приняли, завертелась полицейская машина. Все чины, местные и петербургские, оповещены, предупредили и Столыпина. А так как, кроме Богрова, этого Николая Яковлевича никто лично не знал, Кулябко заверил Богрова, что обеспечит его билетами на все торжества, чтобы он мог опознать террориста и подать сигнал полицейским. “То, что охранка поставила знак равенства между особой Богрова и безопасностью Столыпина,— еще одна загадка в том же ряду тайн”,— справедливо пишет историк Л.Базылев.

Но еще большей загадкой является то, что, дав полную свободу действий Богрову, полицейские чины не установили за ним пристального наблюдения, не окружили сетью своих агентов. Иначе, как бы он мог так свободно действовать в театре. А филеры, которым надлежало бы следить за Богровым, кружили вокруг его дома, высматривая мифического “Николая Яковлевича”. 31 августа Богров дважды звонил Кулябко, сообщил о приезде “гостя из Петербурга”, сказал, что тот остановился у него и предложил ему принять участие в покушении, но он отказался.

Но если на многочисленные загадки “тайны 1 сентября” историки не могут дать осмысленного ответа, если писатели, обратившиеся в последнее время к этому вопросу (например, А.И.Солженицын), тоже не добавили в этом деле ничего нового, не стоит ли нам прислушаться к мнению Горького. Писатель хорошо знаком был с делом Богрова, сам создал много ярких образов шпионов-provokatorов и по-своему ответил на все эти вопросы.

Никто, конечно, не намерен здесь противопоставлять Горького историкам. Последние оперируют историческими фактами, добытыми данными. И если им их недостает, они строят предположения. Но опять-таки только в пределах доступных и известных им фактов. Домысливание или психологические изыскания — не область исторической науки. Другое дело — искусство, литература. Горький, в сущности, оперирует теми же фактами, что и ученые историки. Но он имел то преимущество, которого были лишены ученые, — право домысливать факты, возможность исследовать психологию участников события, способность — и право — полагаться на художественную интуицию.

Есть исторические тайны, осветить которые способен только художник. У нас вот много пишется об убийстве Горького. Конечно, убийцы своих расписок не оставляли. Однако все предположения и сопоставления: мол Горький Сталину мешал, Горький умер очень “вовремя” — перед началом массовых процессов, и т.п. — все это тем не менее досужие рассуждения. На это я отвечаю: Горький в то время был достаточно болен, чтобы умереть собственной смертью. Последний месяц его жизни в Тессели — непрерывное недомогание, кровохарканье, удушье, постоянные кислородные подушки и т.д. Приехав в Москву, заболел гриппом, и уже не смог оправиться от болезни. “Тайну” смерти Горького (во всяком случае, сегодня, в пределах доступных нам фактов) может раскрыть только искусство, художественное озарение, интуиция и воображение писателя.

Это продемонстрировал сам Горький в “Жизни Клима Самгина”. Писатель отводит “загадке 1 сентября” очень скупое место в романе. Продолжим оборванную в самом начале нашего рассказа цитату — итак, убит Столыпин, эхо киевского выстрела отозвалось в московской квартире Дронова ожесточенными спорами: кто убил — агент охраны при содействии своего начальства или эсер-террорист.

“Ожесточенность спора удивила Самгина: он не нашел в ней радости, которую обычно возбуждали акты террора, и ему казалось, что все спорящие недовольны, даже огорчены казнью министра”.

Это настроение в романе определил Тагильский. Он сказал: “— Есть слух, что стрелок — раскаявшийся provokator, а также говорят, что на допросе он заявил: жизнь — не бессмысленна, но смысл ее сводится к поглощению отбивных котлет, и

ведь неважно — съем я еще тысячи котлет или перестану поглощать их, потому что завтра меня повесят...

Его маленькая речь, сказанная спокойно и пренебрежительно, охладила настроение, а Ногайцев с радостью, в которой Самгин всегда слышал фальшивые ноты,— заявил:

— Совершенно верно!.. Это — дельце явно внутриведомственное! Развал, да..."

Читая горьковское объяснение и сопоставляя его с оценками историков, убеждаешься, что, при всей сложности вопроса, писатель сумел дать единственно достоверный ответ на него. И именно потому, что "тайну 1 сентября" он увидел в личности убийцы, связал ее с психологическими "тайнами" души провокатора, в то время как историки занимались чисто историческим аспектом события.

В самом деле, раз перед нами запутавшийся в сетях охраны эсер и его поступок — акт раскаявшегося предателя, значит, действовал он, чтобы искупить свою вину. Это решение дает возможность провокатору хоть напоследок заслужить уважение бывших товарищей и почувствовать самоуважение.

Поэтому для выполнения своего плана ему нужна была не темная ночь в Купеческом саду, а ярко освещенный театральный зал. То есть он должен был показать, что действует не по какому-то приказу (при котором ему было бы обеспечено надежное прикрытие), а самолично, по собственной инициативе, что его никто не заставил и не запугал (напомним, что перед покушением он безуспешно пытался получить на это санкцию партии эсеров)¹⁸, что он — человек, а не "тварь дрожащая".

Горький очень точно уловил и передал душевное состояние провокатора: однажды проявив слабость и попав в сети охраны, Богров с самого начала обрек себя на двойную жизнь и моральное разложение, но в какой-то момент все здоровое, что в его душе еще сохранилось, восстало и открыло ему глаза на весь ужас положения, в котором он оказался. Однако к раскаянию он уже приходит духовно сломленным: жизнь не имеет для него больше ни смысла, ни ценности. И раз она сводится к поглощению отбивных котлет, то действительно неважно — съест он на тысячу котлет больше или меньше, если его завтра все равно повесят. И единственное, на что он мог еще собрать силы,— это на театральный, но для него очень важный жест: убить "главу реакционного правительства", на которого уже столько раз неудачно покушались максималисты и эсеры.

Вот почему он так спокоен на суде — это не отупение, как считают одни, и уж во всяком случае не надежда на высоких покровителей, как полагают другие: легче было стрелять в городском саду и скрыться в темноте, замешавшись в толпе.

Вот почему таким спокойствием дышит его прощальное письмо родителям первого сентября, перед самым покушением. В нем трагедия запутавшегося человека, который вот уже "два года пробует отказаться от старого" Именно два года длилась

его связь с охранкой. В письме этом — крик отчаяния человека, пытающегося вернуть свое достоинство и уважение к себе. И наконец, оно говорит о том, что никаких надежд на спасение Богров не питал, сознательно шел на верную смерть. Вот что он писал:

“Дорогие мои, милые папа и мама.

Знаю, что вас страшно огорчит и поразит тот удар, который я вам наносу, и в настоящий момент это единственное, что меня убивает. Но я знаю вас не только за самых лучших людей, которых я встречал в жизни, но и за людей, которые все могут понять и простить.

Простите же и меня, если я совершаю поступок, противный вашим убеждениям.

Я иначе не могу, и вы сами знаете, что вот 2 года, как я пробую отказаться от старого.

Но новая спокойная жизнь не для меня и если бы я даже и сделал хорошую карьеру, я все равно кончил бы тем же, чем теперь кончаю.

Целую много, много раз.

Митя”

И еще одна деталь. Приведя слова Богрова о бессмысленности жизни, Тагильский заключает: “Так как Сазоновы и Каляевы ничего подобного не говорили,— я разрешаю себе оценить поступок господина Богрова как небольшую аварию механизма департамента полиции”.

Провал охраны не в том, что она не смогла предотвратить покушение на Столыпина, а в том, что осуществлял убийство ее агент, ее служащий. Сазонов и Каляев — самоотверженные революционеры, любили и ценили жизнь, совершали свои террористические акты по решению своей партии. А раз на суде выяснилось, что Богров не считает себя революционером, разочаровался и в эсерах, и в анархистах, а покушение не дело революционной партии, значит, Столыпина убил агент охраны (ведь с ее помощью он и проник в театр). Для полицейской машины это было страшным ударом, ей не на кого было взвалить вину за убийство премьер-министра, мало того — охранку или переиграли, обвели вокруг пальца, или покушение совершено с ее молчаливого одобрения.

Таким образом, все нами сказанное со всей очевидностью показывает, что гипотеза, выдвинутая в горьковском романе, является наиболее убедительной и психологически достоверной: убийца — “раскаявшийся провокатор”, разочаровавшийся в жизни человек, пытающийся вернуть к себе уважение, и в любом случае — жертва собственной опустошенности и орудие в руках каких-то темных сил, а само “дельце”, связанное с деятельностью департамента полиции, говорит о “развале” власти, разложении верхов.

При этом оба аспекта этой версии не только не противоречат друг другу, но просто не существуют отдельно, обособленно. Напротив,— и это надо подчеркнуть — они тесно взаимо-

связаны, переплетаются, образуя сложное (называемое исследователями “загадкой”, “тайной”) магнитное поле взаимозависимых и взаимопритягивающихся тенденций и сил.

Сам по себе ни один из этих аспектов еще не может объяснить “загадку 1 сентября”. Только оба они, переплетаясь, дополняя и обогащая друг друга, способны приоткрыть те покровы, которыми окутано это загадочное убийство. Поэтому оба эти аспекта и выдвинуты в горьковском романе как синтетическое целое.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Архив А.М.Горького.
- 2 Звезда.— 1946.— № 5-6.— С.163.
- 3 См., например: Майский Б. Столыпинщина и конец Столыпина // Вопросы истории.— М., 1966.— № 1-2; Базылев Л. Загадка 1 сентября 1911 года. // Вопросы истории.— М., 1975.— № 7; Аврех А.Я. Столыпин и III Дума.— М., 1968; Семенов Ю. Горение: Роман-хроника.— Кн.3-4.— М., 1987; Убийство Столыпина: Свидетельства и документы.— Рига, 1990; Рыбас С., Тараканова Л. Реформатор: Жизнь и смерть Петра Столыпина.— М., 1991; Солженицын А. Август четырнадцатого.— М., 1993. и др.
- 4 Изгоев А.С. П.А.Столыпин: Очерк жизни и деятельности.— М., 1912.— С.105.
- 5 См. Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903-1909 гг.— Т.1.— Париж, 1933.— С.474.
- 6 Вопросы истории.— 1975.— № 7.— С.123.
- 7 Вестник Европы.— 1911.— № 10.— С.412.
- 8 Такова точка зрения Л.Базылева. См. указанное соч.— С.128.
- 9 См. Шидловский С.И. Воспоминания.— Т.II.— Берлин, 1923.— С.198.
- 10 Коковцов В.Н. Указ. соч.— Т.III.— С.8.
- 11 См. Базылев Л. Указ. соч.— С.117.
- 12 Панкратов А.С. Первое сентября 1911 года: Впечатления очевидца убийства П.А.Столыпина // Исторический вестник.— Т.126.— 1911.— № 11.— С.615.
- 13 По мнению Л.Гана у Богрова, видимо, было намерение там и убить Столыпина, но он его якобы “не заметил” (Л.Ган. Убийство Столыпина // Исторический вестник.— 1914.— Т.135.— № 3.— С.975).
- 14 Лазарев Е. Дмитрий Богров и убийство Столыпина // Воля России.— Прага, 1926.— № 8-9.— С.43.
- 15 См. Богров В. Дмитрий Богров и убийство Столыпина: Разоблачения “действительных и мнимых тайн”.— Берлин, 1931; Мушин А. Дмитрий Богров и убийство Столыпина.— Париж, 1914.
- 16 Автор статьи в “Историческом вестнике”, приведя примеры и факты провокаторской деятельности Богрова, справедливо отмечает: “Революционер не исполнил бы “работы” так “чисто”, как это делал Богров” /Панкратов А.С. Указан. соч.— С.682/.
- 17 См. показания П.Г.Курлова, М.И.Трусевича, А.И.Спиридовича, С.П.Белецкого, М.С.Комиссарова, данные в 1917 году Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.— Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний... / Редакция П.Е.Щеголева.— Т.III.— М.—Л.: ГИЗ, 1927.
- 18 См. Лазарев Е. Указан. соч.— С.43, 57.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ М.ГОРЬКИМ РОМАНА ШОЛОХОВА “ТИХИЙ ДОН”

Речь пойдет о письме М.Горького к А.А.Фадееву от 3 июня 1931 г. Оно впервые было опубликовано по копии в “Российской газете”, 1992, 12 мая — в статье Вадима Огурцова “Свет упавших звезд”. Интересна история публикации этого письма. Корреспондент нашел его копию в архиве известного шолоховеда К.И.Приимы /в письме дана оценка романа М.А.Шолохова “Тихий Дон”/. Как же копия письма попала к Прииме? Ответ на этот вопрос дает корреспондент: “один серьезный человек в носке вынес ее из наглухо закрытого архива” /имеется в виду Архив А.М.Горького в Москве/. Копия оказалась совсем не такой точной, как ее называет В.Огурцов. При сверке опубликованной копии с автографом обнаружены многочисленные искажения текста, ошибки и опечатки. Если бы корреспондент был настоящим исследователем, он обратился бы к автографу письма, хранящемуся в Архиве А.М.Горького, фонды которого в настоящее время общедоступны.

В Архиве Горького сохранилось лишь два письма писателя к Фадееву, одно из которых /1932 г./ опубликовано в примечаниях к кн.: Е.Кучерявенко. Горький и Дальний Восток...— Владивосток.: Дальневосточное книжн. изд., 1969.— С.44-45. Второе — о котором шла речь выше — ранее публиковалось в отрывках — в кн.: И.Лежнев. Михаил Шолохов.— М.: Советский писатель, 1948.— С.15-16; А.Волков. А.М.Горький и литературное движение советской эпохи.— М.: Сов. писатель, 1958.— С.150; В.Гура. Как создавался “Тихий Дон”. Творческая история романа М.Шолохова.— М.: Сов. писатель, 1980.— С.159-161 — и других изданиях.

Такое использование документа — в отрывках или по не исправленной копии — не дает правильного и полного представления о критическом разборе романа в целом. Публикация этого письма без купюр и искажений восполняет этот пробел в горьковедении.

Полностью письмо печатается впервые по автографу, хранящемуся в Архиве Горького¹.

Дорогой т. Фадеев!

Третья часть “Тихого Дона” — произведение высокого достоинства, на мой взгляд — она значительнее второй, лучше сделана.

Но автор, как и герой его, Григорий Мелхов, “стоит на грани между двух начал”, не соглашаясь с тем, что одно из этих начал в сущности — конец, неизбежный конец старого казацкого мира и сомнительной “поэзии” этого мира. Не соглашается он с этим потому, что сам все еще — казак, существо, биологически связанное с определенной географической областью, определенным социальным укладом. Для меня третья часть “Тихого Дона” говорит именно о том, что Шолохов “областной” писатель, и я думаю, что у нас еще будут подобные ему писатели Уральские, Сибирские и прочих территорий. Будут они до той поры, пока писатели огромной нашей страны не поднимутся на высоту социалистических художников Союза Советов, не почувствуют себя таковыми, не сознают, что фабрика более человечна, чем церковь, и что хотя фабричная труба несколько портит привычный лирический пейзаж, но исторически необходима именно она, а не колокольня церкви. Значит: дело сводится к перевоспитанию литератора, а оно прежде всего требует очень бережного и тактического отношения к воспитуемому.

Рукопись кончается 224-й стр., это еще не конец. Если исключить “областные” настроения автора, рукопись кажется мне достаточно “объективной” политически, и я, разумеется, за то, чтоб ее печатать, хотя она доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. За это наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов.

“Областное” заставляет автора злоупотреблять местными речениями; такие словечки, как, напр., “трюпок”, “теклина”, “коверь” требуют объяснений. “Казацкое” особенно сильно выражено на стр. 126, 140, 143.

Шолохов — очень даровит, из него может выработаться отличный советский литератор, с этим надобно считаться. Мне кажется, что практический гуманизм, проявляемый у нас к явным вредителям и дающий хорошие результаты, должно проявлять и по отношению к литераторам, которые еще не нашли себя.

Жму руку.

А. Пешков

3. VI. 31.

Почему именно Фадееву Горький послал письмо, целиком посвященное критическому разбору шолоховского романа? Почему именно Фадеев явился посредником Горького и Шолохова при отсылке частей романа Горькому? Ответ может быть один: Фадеев был наиболее ярким представителем РАППа, от мнения которого зависела судьба романа Шолохова-попутчика.

Скорее всего, Горький познакомился с Фадеевым 7 июня 1928 года в Москве, на собрании Федерации советских писателей в Доме Герцена. Фадеев выступил на вечере, приветствуя Горького от имени Федерации. В тот же день Горькому была подарена книга “Разгром” (М.—Л., 1927) с дарственной над-

письму: “Дорогому Алексею Максимовичу от автора. А.Фадеев. 7/VI 28. Москва” (книга хранится в Личной библиотеке Горького в Москве). Как известно, Горький очень высоко оценил первое произведение молодого автора.

Сохранившаяся переписка Горького с Фадеевым охватывает небольшой период — начало 30-х годов — время острой борьбы литературных группировок и подготовки к Первому съезду советских писателей.

Письма Горького Фадееву полностью не печатались до сих пор ни разу, не считая отдельных отрывков. Не вошли они ни в известный 70-й том “Литературного наследства”, где наиболее полно представлена переписка Горького с советскими писателями, ни в соответствующие тома 30-томного Собрания сочинений Горького. Это и неудивительно: после самоубийства Фадеева многие документы из его архива, видимо, попали в поле зрения соответствующих органов, которым было выгоднее сохранить их в тайне. Думается, среди них были и письма Горького. До сих пор их место нахождения неизвестно.

Впервые письма Фадеева к Горькому 1931-1933 гг. — всего девять — опубликованы в книге: Александр Фадеев. Письма. 1916-1956 (Вступ. статья, составление и примеч. С.П.Преображенского. Изд. 2, расш. — М.: Советский писатель, 1973. — С.84-85, 87, 92-97, 99-106, 111). Большая часть из них печаталась ранее целиком или в отрывках в Собрании сочинений Фадеева, в сборнике “За 30 лет” (1-е изд. — 1957, 2-е изд. — 1959), в журнале “Вопросы литературы”, в “Литературной газете”, а также в первом издании названного сборника (1967).

Можно сказать, Горький был последней редакторской инстанцией, через которую проходила перед публикацией каждая книга романа. Так сохранилось письмо писателя Н.Анова секретарю Горького П.П.Крючкову от 1 апреля 1931 г., из которого ясно, что еще находясь в Сорренто, Горький регулярно получал и внимательно прочитывал рукописи романа².

Третья книга “Тихого Дона” печаталась в журнале “Октябрь” с большими перерывами (январь 1929 — сентябрь 1932 гг.) и существенными купюрами во многих главах. Первое отдельное издание третьей книги вышло в свет в конце февраля 1933 года (редактор Ю.Б.Лукин) /М.: ГИХЛ/. Горький читал третью книгу романа в рукописи, которую по просьбе Шолохова ему передал Фадеев. Шолохов писал Горькому 6 июня 1931 года из станицы Вешенской: “На днях я послал т<елеграмму> Фадееву с просьбой передать вам экземпляр 6-й части “Тихого Дона”³. Показательно, что Горький обращался к этой части романа и позже, когда он вышел отдельной книгой (о пометах на страницах романа см.: С.Островская. Как единое целое... // Октябрь. — 1984. — С.192).

В беседе с молодыми писателями Горький оценивал Шолохова так: “Он пишет как казак, влюбленный в Дон, в казацкий быт, в природу”⁴. Термин “областной писатель” настойчиво пропагандировался рапповским руководством, и есть все основа-

ния полагать, что он навязывался и Горькому⁵. Попытку объяснить Шолохова “областным” писателем поддерживал тогда и Фадеев. Правда, по его мнению, Шолохов постепенно освобождался “от элементов ползучести, не осмысленного бытописательства, областничества”⁶. Однако и позднее Фадеев упрекал Шолохова в “областничестве”. Интересен такой факт. Когда к концу 1940 года возобновились споры вокруг “Тихого Дона” в связи с выдвижением его автора на Государственную премию, Фадеев вернулся к мысли об “областной ограниченности” романа. На этот раз он утверждал: “Шолохов с огромной силой таланта, зная казачью жизнь, быт, показал историю казачьей семьи, обреченность контрреволюционного дела,— в романе видна полная его обреченность. Но ради чего и для чего? Что взамен родилось? Этого в романе нет”⁷.

Конечно, определение “областной” к Шолохову-писателю неприемлемо. Употребление термина Горьким было данью времени и частично оправдано лишь тем, что в конце 20-х — начале 30-х годов, в связи с работой над “Историей гражданской войны”, “Историей фабрик и заводов” и другими подобными изданиями, писателю было свойственно “делить” всех советских литераторов по региональному принципу. Так в письме И.В.Сталину в мае 1931 года, называя поименно наиболее известных советских писателей, которых он советует привлечь к работе над “Историей гражданской войны”, Горький связывает их имена прежде всего с местами их проживания, а Шолохову отводит опять-таки “казачество”⁸.

Несомненно, что, рекомендуя Шолохова как возможного автора одной из книг “Истории гражданской войны”, Горький прежде всего опирался на замечательный опыт молодого писателя в романе “Тихий Дон”. В своей более ранней статье “О литературе” 1930 г. Горький назвал Шолохова, наряду с другими писателями, автором, давшим “широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны”⁹. К этой характеристике примыкает и высокая оценка художественного изображения событий восстания на Верхнем Дону в 1919 году, данная в публикуемом письме. К концу своей жизни Горький отказался от определения “областной”. Известно, что в одной из своих последних бесед, 29 мая 1936 года, он сказал: “Вот “Тихий Дон” — “... уже настоящая вещь”, имея в виду мировое значение романа-эпопеи¹⁰.

О политической подоплеке событий, изображенных в третьей книге “Тихого Дона”, Шолохов писал Горькому 6 июня 1931 года: “6-я часть почти целиком посвящена восстанию на Верхнем Дону в 1919 г. Для ознакомления с этим историческим событием пересылаю вам выдержку из книги Какурина “Как сражалась революция”¹¹ и несколько замечательных приказов Реввоенсовета.

Мне хочется узнать Ваше мнение о 6-й ч<асти>.

Теперь несколько замечаний о восстании:

1) Возникло оно в результате перегибов по отношению к казаку-средняку.

2) Этим обстоятельством воспользовались эмиссары Деникина, работавшие в Верхне-Донском округе и превратившие разновременные повстанческие вспышки в поголовное организованное выступление. Причем характерно то, что иногородние, бывшие до этого по сути опорой советской власти на Дону, в преобладающем большинстве дрались на стороне повстанцев, создав свои так называемые “иногородние” дружины, и дрались ожесточенней, а следовательно, и лучше казаков-повстанцев.

В книге Л.С.Дегтярева “Политработа в Красной Армии в военное время”, в главе “Политработа среди населения прифронтовой полосы”, автор пишет: “В гражданской войне, в практической политической работе, мы часто грешили против этих положений, ведя борьбу со средним крестьянством. *Примером яркой ошибки может служить политика “расказначивания” донского казачества весной 1919 г., которая привела к поголовному восстанию многих станиц Донской области в тылу Красной Армии, приведшему к поражению Южфронта и к началу длительного наступления Деникина*” /Шолохов цитирует кн.: Л.С.Дегтярев. Политработа в Красной армии в военное время.— М.—Л.: Госиздат, 1930.— С.104-105/12.

Далее адресат сообщал: “Реввоенсовет в приказе “Восстание в тылу” пишет: “Весьма возможно, что в том или другом случае казаки терпели какие-либо несправедливости от отдельных проходивших воинских частей или от отдельных представителей советской власти...”¹³.

Шолохов категорически настаивал на объективности изображаемого: “Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию; — писал он,— причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков, или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков /б. выборные хуторские атаманы, георгиевские кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи, попечители школ и проч. буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба/ в течение 6 дней достигло солидной цифры 400 с лишним человек.

Наиболее мощная экономическая верхушка станицы и хутора: купцы, попы, мельники отделялись денежной контрибуцией, а под пулю шли казаки зачастую из низов социальной прослойки. И естественно, что такая политика, проводимая некоторыми представителями советской власти, иногда даже заведомыми врагами, была истолкована как желание уничтожить не классы, а казачество”¹⁴.

После выхода в свет третьей книги романа Шолохов сделал в печати важное заявление: “Работа по сбору материала для

“Тихого Дона” шла по двум линиям: во-первых, соби́рание воспоминаний, рассказов, фактов, деталей от живых участников империалистической и гражданской войн, беседы, расспросы, проверки своих замыслов и представлений, во-вторых, кропотливое изучение специально военной литературы, разборки военных операций, многочисленных мемуаров, ознакомление с зарубежными, даже белогвардейскими источниками”¹⁵.

Сетуя на недостаточную изученность событий на Дону в современной исторической литературе, Шолохов после тщательного исследования редких архивных и печатных источников пришел к собственной концепции развития событий 1919 года, о чем он писал в авторских примечаниях к первой публикации третьей книги романа: им были уточнены число восставших, количество вооружений, размеры территории и сроки восстания¹⁶. Литературовед С.Н.Семанов считает историческую достоверность глав, описывающих вешенское восстание, уникальной¹⁷.

Шолохов упорно отстаивал мысль о том, что он должен был “показать отрицательные стороны политики расказачивания и ущемления казаков-средняков, так как, не давши этого, нельзя вскрыть причин восстания. А так, ни с того, ни с сего не только не восстают, но и блоха не кусает”¹⁸,— с грустной иронией добавлял адресат в письме к Горькому.

Однако некоторыми “ортодоксальными” вождями РАППа 6-я часть “Тихого Дона” воспринималась как нечто чуждое исторической правде и даже контрреволюционное. Издание книги всячески тормозилось. “Непременным условием печатания,— сообщал Шолохов Горькому,— мне ставят изъятие ряда мест, наиболее дорогих мне (лирические куски и еще кое-что). Занятно то, что десять человек предлагают выбросить десять разных мест. И если всех слушать, то 3/4 нужно выбросить...

Думается мне, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции. Прошлогодняя история с коллективизацией и перегибами, в какой-то мере аналогичными перегибам 1919 г., подтверждает это”¹⁹. Каким горьким пророчеством оказались эти слова!

Судьба третьей книги романа решилась в середине июня 1931 года во время встречи автора со Сталиным, устроенной Горьким на его квартире /по другим сведениям встреча произошла на даче Горького под Москвой/. Из воспоминаний Шолохова следует:

“Сталин задал вопрос: “Почему я так смягченно, почти не затрагивая отрицательности сторон характера, описал генерала Корнилова?””

Я ответил: “Поступки Корнилова вывел без смягчения. Но, действительно, некоторые манеры и рассуждения изобразил в соответствии со своим пониманием облика этого воспитанного на офицерском кодексе чести и храброго на германской войне

человека, который субъективно любил Россию. Он даже из германского плена бежал”.

Сталин воскликнул: “Как это честен?! Он же против народа пошел! Лес виселиц и моря крови!”

Должен сказать, что эта обнаженная правда убедила меня. Я потом отредактировал рукопись.

Сталин новый вопрос задал: “Где взял факт о перегибах Донбюро РКП/б/ и Реввоенсовета Южфронта по отношению к казаку-середняку?”

Я сказал, что роман описывает произвол троцкистов строго документально — по материалам архивов.

В конце встречи Сталин говорил, что некоторым кажется, что третий том моего романа доставит много удовольствия тем нашим врагам, белогвардейщине, которая эмигрировала. И он спросил меня и Горького: “Что вы об этом скажете?” Горький ответил: “Они даже самое хорошее, положительное извращают, чтобы повернуть против Советской власти”. Я то же ответил: “Для белогвардейцев хорошего в романе мало. Я ведь показываю полный их разгром на Дону и Кубани...” Сталин тогда проговорил: “Да, согласен. Изображение хода событий в третьей книге “Тихого Дона” работает на нас, на революцию”²⁰.

В беседе с Шолоховым 1955 года И.С.Буквин записал, что приехав к Горькому летом 1931 года, Шолохов услышал от него: “Книга написана хорошо и пойдет она без всяких сокращений”²¹.

О перегибах Донбюро РКП/б/ по отношению к казаку-середняку, о политике “рассказывания”, проводимой местными ревкомками, что привело к антисоветскому мятежу донских казаков в марте 1919 г.— см. Г.Л.Воскобойников, Д.К.Прилепский. Казачество и социализм. Исторические очерки.— Ростов-на-Дону: Рост. книжн.изд., 1986.— С.50-56; А.В.Венков. Донское казачество в гражданской войне /1918-1920/.— Ростов-на-Дону: изд.Рост. ун-та, 1992.— С.86-91.

Большая часть книги Ф.Бирюкова “Художественные открытия Михаила Шолохова” /М.: Современник, 1980/ посвящена как раз обоснованию подлинного историзма всего романа и, в частности, его третьей книги /части “Если опираться на принцип историзма”, “На грани в борьбе двух начал”, “Григорий Мелехов” — главы первой: “Крестьяне в эпосе Шолохова”/.

Что касается отзывов эмигрантской печати на роман, то обнаружены положительные отзывы на кн.1 и 2 “Тихого Дона” /см. рецензию Ю.Фельзена “Михаил Шолохов. Тихий Дон. Кн.1 и 2-ая. Изд. “Московский рабочий”²² — см. критические заметки Ф.Воропинова “Казачьи настроения 1917-1918 года в изображении советского писателя/²³.

Нами просмотрена большая часть эмигрантской казачьей литературы, но статей, посвященных 3-ей книге “Тихого Дона”, не найдено. Отрывки из 3-й книги были опубликованы в

журнале “Вольное казачество”.— Прага.— 1933.— № 134-135.— 10-25 августа.— С.18-19.

Интересен прогноз Ф.Воропинова в указанной статье относительно публикации 3 и 4-ой книг: “Роман Шолохова “Тихий Дон” должен был выйти в 4-х книгах. До сего времени вышли только первые две книги, имевшие большой успех. Но, кажется, продолжение этого романа большевиками уже запрещено”²⁴. Как видим, прогноз автора статьи оказался неверным.

В советской же литературе откликов на третью часть было меньше по сравнению с критикой на первые две книги. Думается, это связано с самим содержанием третьей книги, в которой описывается белогвардейская армия, восстание казаков и т.п. Г.Колесникова, отметив, что “Тихий Дон” — произведение сложное, противоречивое, упрекнула Шолохова в недопустимом по тем временам “объективизме”: Шолохов показал “человечность в белогвардейце и жестокость в большевике”²⁵.

Другой критик, Ф.Гинзбург, отдав должное вульгарному социологизму, рассматривал героев романа именно как представителей определенного сословия, не видя в них ничего общечеловеческого²⁶.

Нами рассмотрена вся огромная литература о Шолохове 31-35 гг., и в отзывах на 3 кн. “Тихого Дона” не обнаружено ни одной отрицательной оценки творчества Шолохова, за исключением статьи американской поэтессы Баббет Дейч в “Нью-Йорк херальд трибюн”²⁷. Называя роман значительным событием в литературной жизни страны, ряд критиков упрекал автора в “идеализации” казачьего быта, в недостаточной объективности показа классовой борьбы среди казаков²⁸. Как отмечал позднее В.Щербина, многим критикам была свойственна “односторонность взглядов на “Тихий Дон” как на произведение о донском казачестве, а на его автора как на “талантливого бытописателя донского казачества”²⁹. Автор статьи, напротив, доказывает общеисторическое, мировое значение образа Григория Мелехова и романа в целом.

Все диалектные слова, названные Горьким в его письме Фадееву, были исключены из текста романа.

В заключение хочется отметить неопценное значение отзыва Горького о 3-ей книге “Тихого Дона” для его публикации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 АГ, ПГ-рл. 47-1-1.

2 АГ, КГ-изд. 29-10-2.

3 Литературное наследство.— Т.70.— М., 1963.— С.694.

4 М.Горький. Две беседы.— М.: Молодая гвардия, 1931.— С.20.

5 В.Гура. Как создавался “Тихий Дон” Творческая история романа М.Шолохова.— М.: Сов. Писатель, 1980.— С.160.

6 А.Фадеев. Старое и новое. Вопросы художественного творчества // Литературная газета.— 1932.— 11 ноября.— № 51.— С.4.

7 ОР ИМЛИ, № 855/2, кор.63.

- 8 АГ, ПГ-рл. 41-21-2.
- 9 М.Горький. Собр. соч. В 30 т.— М.: ГИХЛ, 1953.— Т.25.— С.253.
- 10 Цитируется по ст. С.Островской: Как единое целое... // Октябрь.— 1984.— № 8.— С.191.
- 11 Н.Какурин. Как сражалась революция.— Т.П. 1919-1920. — М.—Л.: Госиздат, 1926.
- 12 Литературное наследство.— Т.70.— С.695-696.
- 13 Там же.— С.696.
- 14 Там же.— С.696.
- 15 Комсомольская правда.— 1934.— 17 августа.
- 16 См.: Октябрь.— 1932.— № 7.— С.11.
- 17 С.Н.Семанов. “Тихий Дон” — литература и история.— Изд.2-ое.— М.: Современник, 1982.— С.44-61.
- 18 Литературное наследство.— Т.70.— С.696.
- 19 Литературное наследство.— Т.70.— С.697.
- 20 Валентин Осипов. Перстень с поля Куликова...— М.: Молодая гвардия, 1987.— С.225-226.
- 21 Литературное наследство.— Т.70.— С.698.
- 22 Числа.— Paris.— 1930.— № 1.
- 23 Вольное казачество.— Прага, 1931.— 25 апреля.— № 79.
- 24 Вольное казачество.— Прага, 1933.— 10-25 августа.— № 134-135.— С.16.
- 25 Октябрь.— 1933.— № 2.— С.212.
- 26 Знамя.— 1933.— № 6.
- 27 Интернациональная литература.— М.—Л., 1934.— № 5.— С.157-158.
- 28 См. например, статью В.Ставского: О кинофильме “Тихий Дон” // Литературная газета.— 1931.— 15 июня.— № 32.
- 29 В.Щербина. “Тихий Дон” М.Шолохова // Новый мир.— 1941.— № 4.— С.218.

ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО К В. И. АНУЧИНУ
(История одной публикации)

В начале 1941 года, почти одновременно, в “Трудах Самаркандского государственного пединститута” /Т.2. Вып.3/ и в журнале “Сибирские огни” /№ 1/ увидели свет 23 письма Горького, адресованные сибирскому литератору В.И.Анучину /1875-1941/.

Почти четверть века их подлинность не вызывала сомнения. И вдруг в 1965 году появляются статьи Л.В.Азадовской и Б.В.Яковлева, в которых утверждается, что большинство писем Горького — подделка¹.

Каковы же аргументы Л.В.Азадовской /говорим в первую очередь о точке зрения Лидии Владимировны, поскольку в работе Б.В.Яковлева главный акцент сделан на другой, ленинской, теме, речь о ней ниже/? Основной — дата первого письма В.И.Анучина к Горькому². Исследовательница считает, что оно написано 23 мая 1911 года /следовательно, все письма с более ранними датами фальсифицированы³/. Действительно, так можно прочесть авторскую дату. Но в конце письма стоит адрес: Спб. Канонерская, 21, кв.19. А справочник “Весь Петербург на 1911 год” свидетельствует: в 1911 году Василий Иванович проживал в доме № 21 по Английскому проспекту⁴.

Еще исследователи, готовившие 30-томное собрание сочинений Горького, на папке, в которой хранится рассматриваемое письмо, зачеркнули год 1911-й и поставили 1901-й. Какие аргументы можно привести в пользу такой передатировки? Уже в 1898 году происходит личное знакомство В.И.Анучина со стоящим близко к Горькому В.А.Поссе⁵. Затем, 23 февраля 1900 года, Василий Иванович пишет в “Знание”, предлагая свои услуги в качестве рецензента на выпускаемые издательством книги⁶, и получает положительный ответ⁷. И, наконец, он решает познакомиться с Горьким⁸ и стать автором знаньевских сборников⁹.

Как видим, описка, а они не так уж редко случаются, ввела в заблуждение Л.В.Азадовскую.

В подлинности писем Горького к В.И.Анучину убеждает история их опубликования. Она такова.

“Литературное наследство” задумало выпустить том, посвященный Горькому. 7 февраля 1935 года Г.А.Смольянинов, ре-

дактор издания, запрашивает В.И.Анучина о имеющихся у него материалах, не забывая подчеркнуть: “Ни одна строка не будет нами опубликована без предварительного согласования ... с самим Алексеем Максимовичем”¹⁰. В конце месяца /25 числа/ следует просьба прислать копии писем Горького¹¹. 7 апреля подборка из 23 номеров уже лежит на столе редакции¹². Готовит публикацию Е.Э.Лейтнеккер. Он за консультацией обращается к писателю¹³.

В Самарканде же, где с 1928 года жил сибирский литератор, разворачиваются драматические события. Сотрудниками НКВД отбираются подлинники писем Горького. 24 мая 1935 года В.И.Анучин писал Г.А.Смолянинову: “Препровождаю Вам два, случайно уцелевших, письма Алексея Максимовича,— они были на столе у жены для выписок /это № 16 и 22/. Передайте их в Литературный музей”¹⁴.

Письмо Г.А.Смолянинову важно не только указанием на время утраты большинства подлинников писем Горького, оно также свидетельствует: уже “Литературным наследством” /при жизни Алексея Максимовича и при его участии!/ готовились к печати те же 23 письма, что позже увидели свет в “Трудах Самаркандского государственного пединститута”. Готовя самаркандскую публикацию, В.И.Анучин и его жена даже не стали дорабатывать комментарий, сделанный в свое время для “Литературного наследства”. Последняя их ссылка на печатный источник относится к 1934 году.

18 июня 1936 года Горький умер. Смерть писателя, по всей видимости, стала одной из причин, по которым посвященный ему том “Литературного наследства” не вышел в свет.

Исследователю, чтобы не допустить ошибку, очень важно учитывать временной, исторический контекст. Этого не сделала Л.В.Азадовская. Она, определяя мотивировку поступков В.И.Анучина, судила о них с позиций 60-х, а не 30-х годов. В 60-е публикация писем Горького сулила их адресату почет. В 30-е — была небезопасна и требовала немалого мужества.

Не сразу, после майских событий 1935 года, Василий Иванович решил на обнародование писем. 6 января 1939 года он писал в редакцию журнала “Красная новь”: “Мне совершенно понятно ваше желание опубликовать письма Алексея Максимовича полностью: они дают столько ярких и глубоких штрихов к портрету Ал.Макс. Больше того,— я понимаю, что держать эти письма под спудом обидно и, пожалуй, нехорошо, но я все-таки остаюсь при намерении опубликовать их только после моей смерти,— причины тому, может быть, и Вы признаете основательными. Из-за писем /Ленина и Горького/ я несколько раз тяжело пострадал от троцкистов. В 1922 г. меня вызвали в ЧК /в Томске/ и потребовали выдачи писем Ленина, Горького и Дзержинского. Я отказался выдать /письма были надежно спрятаны/. С тех пор много раз в Томске и в Казани обыски, аресты /правда, кратковременные/, угроза административной высылки,— и всякий раз с требованием выдачи писем. Если б

не заступничество Дзержинского¹⁵, Красикова /Гос.Прок./ и М.И.Калинина — я бы гнил в ссылке. В последний раз история, и исключительно тяжелая, разверзлась здесь, в Самарканде. Переделка, в которую я попал, была на этот раз настолько крута, что мне пришлось выдать ложную расписку в том, что я никогда никаких писем от Горького, Ленина и Дзержинского не получал. Спасло меня только вмешательство В.Д.Бонч-Бруевича. Вот я и опасаясь, что троцкисты /а они далеко еще не все выкорчеваны/ найдут способ доставить мне неприятности, если письма будут опубликованы. Конечно, сослаться на страх — дело недостойное, но я стар и болен /порок сердца и язва желудка/. Между прочим, меня посетила даже специальная комиссия: представитель парт[ийного] контроля из Ташкента и двое от местного Горкома /в том числе т. Кичанов — ныне нар.ком. Просвещения в Ташкенте/. Я читал ту рукопись, которая находится у Вас, а они проверяли по подлинникам писем А.М.Трепали меня бесконечно”¹⁶.

Лишь к осени 1939 года В.И.Анучин преодолевает сомнения — дает добро на полную публикацию в “Литературном современнике”. Научную подготовку издания осуществляет И.А.Груздев¹⁷. Но вето накладывает И.К.Луппол, в то время директор Института мировой литературы¹⁸.

Письма Горького увидели свет лишь в 1941 году в “Сибирских огнях”, стараниями С.Е.Кожевникова, и параллельно в “Трудах” Самаркандского пединститута. Василий Иванович сперва соглашался лишь на сибирское издание, но его “вызвали в Обком партии и сказали, что Институту нельзя отказать”¹⁹.

Как видим, письма Горького к В.И.Анучину перед публикацией прошли двойную научную экспертизу. Первый раз /еще при жизни Алексея Максимовича!/ ее провела редакция “Литературного наследства”, второй раз — И.А.Груздев. И никто ни разу не усомнился в их подлинности, поскольку оснований для этого никаких нет.

С горьковской непосредственно связана ленинская тема. Она трудно поддается исследованию, так как документальных материалов мало. И все же ряд соображений можно высказать.

Незадолго до своей смерти Василий Иванович рассказал о переписке с Владимиром Ильичом и поделился воспоминаниями о встрече с ним в Красноярске в 1897 году²⁰. Л.В.Азадовская и Б.В.Яковлев эти факты назвали вымыслом по следующим соображениям: 1) В.И.Анучин не переписывался с Лениным, так как в Центральном партийном архиве нет следов этой переписки; 2) В.И.Анучин слишком поздно /в 1940 году, после смерти Горького, Н.К.Крупской и других близких к Ленину людей/ опубликовал свои воспоминания о Ленине, следовательно он врет.

Переписку В.И.Анучина с Лениным не удалось обнаружить и мне. Но это ни о чем не говорит. Владимир Ильич не имел привычки бережно относиться к письмам своих корреспондентов. Судьба же ленинских автографов такова. В первый раз их

попытались отобрать у Василия Ивановича в марте 1922 года в Томске. Вот как он рассказывает о пребывании в ЧК: “Режим был там чрезвычайно суров меня вызвали к следователю только для того, чтобы ложно сообщить, что моя жена “уже вышла замуж”. Или под вечер ко мне являлся кто-нибудь из Чека и сообщал, что согласно приговора, утвержденного Москвой, я сегодня в ночь буду расстрелян. Меня несколько раз били. Мне рукоятью нагана вышибли шесть зубов. В декабре при сорокаградусном морозе вынули на всю ночь рамы из окна камеры, утром полумертвого отнесли в больницу /я затем 2,5 года ходил на костылях/”²¹. В этом позднем описании наслоилось несколько пребываний в “гостях” у чекистов, откуда декабрьский мороз. Но есть и современный событиям 1922 года документ — письмо В.Я.Шишкова В.И.Анучину от 13 августа /письма Василия Ивановича погибли во время Великой Отечественной войны/. В нем читаем: “А самое главное вот что: не унывай. Все уладится, и ни ты, ни семья твоя не пропадут. Приезжай [в Петроград — Е.Н.], будет тебе приют, любовь и пропитание и поможем как-нибудь семье. В первый же день приезда выпьем хорошего портвейну или вообще какой-нибудь дряни”²². В 1924 же году в Қазани сотрудникам ГПУ удалось отобрать у В.И.Анучина все 16 подлинных ленинских писем 1903-1913 годов²³.

О воспоминаниях. Они были написаны в феврале 1924 года. И сразу же автор стал пытаться их опубликовать. Но его обращения не только в различные редакции, но и к таким видным деятелям коммунистической партии, как К.Б.Радек и Н.И.Бухарин, не дали положительного результата. Наконец, 31 мая 1938 года Василий Иванович был вынужден обратиться в последнюю инстанцию — к Сталину²⁴. Ответ пришел из Института Ленина. Возможно, благодаря ему воспоминания увидели свет в 1940 году на страницах “Литературного современника”.

И последнее. Не случайно, на наш взгляд, антианучинские статьи увидели свет в 1965 году. В это время начала готовиться к печати биохроника “Владимир Ильич Ленин”, наиболее полная из канонических биографий вождя мирового пролетариата. Упоминание в ней В.И.Анучина, по характеристике Г.Н.Потанина, морального анархиста, а по партийной принадлежности эсера /не говоря о других “грехах”/, кому-то показалось неудобным.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Азадовская Л.В. История одной фальсификации // Новый мир.— 1965.— № 3.— С.213-229; Яковлев Б.В. Фальсификатор В.И.Анучин // Сибирские огни.— 1965.— № 11.— С.114-126.

² АГ, КГ-П. 5-4-1.

³ 8 из 23 опубликованных писем написаны до 23 мая 1911 года.

- ⁴ Этот же адрес указан в письмах К.И.Чуковского к В.И.Анучину.— ЦГАЛИ, ф.14, оп.1, д.34.
- ⁵ См. письмо В.И.Анучина к Г.Н.Потанину от 16 декабря 1898.— ЦГАЛИ, ф.381, оп.1, д.2^а, л.12.
- ⁶ АГ, П-ка “Зн” 1-45-1.
- ⁷ Это видно из второго письма В.И.Анучина в “Знание” /лето 1900 года/.— АГ, П-ка “Зн” 1-45-2.
- ⁸ См. письмо В.И.Анучина к Г.Н.Потанину от 21 марта 1901 года.— ЦГАЛИ, ф.381, оп.1, д.2^а, л.18.
- ⁹ В первом письме В.И.Анучина к Горькому, написанном, как я считаю, 23 мая 1901 года, говорится: “Извините, но я решил послать Вам мою книжку [Анучин В.И. Сибирские легенды.— СПб., 1901.— Е.Н.]. Может быть, Вам как-нибудь случится ее прочесть. Суть, конечно, не в этом. Я задумал послать для сборника “Знания” рассказ — так вот шлю визитную карточку”.
- ¹⁰ ЦГА Узбекистана, ф.Р-1726, оп.1, д.70, л.22. В записке к П.П.Крючкову /июнь 1935 года/ Г.А.Смольянинов также подчеркивает: “Материалы нашего горьковского сборника, разумеется, будут согласованы с Алексеем Максимовичем” /ЦГАЛИ, ф.140, оп.4, д.4, л.1 об./.
- ¹¹ ЦГА Узбекистана, ф. Р-1726, д.70, л.29.
- ¹² Там же, л.51. Вместе с копиями был прислан автограф одного письма /№ 10/, с которого В.Д.Бонч-Бруевичем была сделана фотокопия /она недавно была обнаружена М.А.Семашкиной в собрании негативов Литературного музея/. Автограф был возвращен В.И.Анучину и вскоре утрачен.
- ¹³ Сохранилось письмо 1935 года Е.Э.Лейтнекера к Горькому /АГ, КГ-П. 44.—12.— 7./ Сам В.И.Анучин в марте 1935 года пытался возобновить переписку с Горьким /АГ, КГ-П. 5-4-19/.
- ¹⁴ ЦГАЛИ, ф.14, оп.1, д.8, л.3.
- ¹⁵ Среди бумаг наркома внутренних дел сохранилась записка /РЦХИДНИ, ф.76, оп.2, д.171, л.16/, свидетельствующая о том, что в январе 1925 года направляемому в Архангельскую губернию В.И.Анучину при проезде через Москву удалось встретиться с Ф.Э.Дзержинским и с его помощью добиться возвращения в Казань.
- ¹⁶ ЦГА Узбекистана, ф. Р-1726, оп.1, д.70, Лл. 67-68.
- ¹⁷ АГ, ФГ. 1-9-1=3.
- ¹⁸ См. письмо В.И.Анучина И.А.Груздеву от 13 февраля 1940 года.— АГ, ФГ. 1-9-2.
- ¹⁹ Письмо В.И.Анучина С.Е.Кожевникову от 24 января 1941 года // Сибирские огни.— 1963.— № 10.— С.166.
- ²⁰ Анучин В.И. Встреча // Литературный современник.— 1940.— № 1.— С.5-10.
- ²¹ ЦГА Узбекистана, ф. Р-1726, оп.1, д.1, л.30.
- ²² ЦГАЛИ, ф.14, оп.1, д.35, л.13 об.
- ²³ Там же, оп.2, д.2, л.1.
- ²⁴ РЦХИДНИ, ф.4, оп.2, д.83.; См. также воспоминания Е.П.Пешковой: В.И.Ленин и А.М.Горький.— М., 1969.— 3-е доп.изд.— С.430.

*Посвящаю памяти моего сына
Павла Пэнэжко.*

Н.Л.Пэнэжко

ШЕХТЕЛЬ — РЯБУШИНСКИЙ — ГОРЬКИЙ
(К истории дома на М.Никитской)

Когда думаешь об истории дома на М.Никитской (в настоящее время — мемориальный Музей-квартира А.М.Горького), то возникают имена трех выдающихся деятелей общественной и культурной жизни России первой трети XX века — архитектора академика Ф.О.Шехтеля, предпринимателя и ученого С.П.Рябушинского, писателя и общественного деятеля А.М.Горького.

Ни одно исследование, отечественного или зарубежного автора, посвященное модерну или литературной жизни 20-30-х годов России не обходит этот дом своим вниманием. Его появление в начале 900-х годов на московской земле было отмечено выходом открыток, выпущенных тремя издательскими фирмами почти одновременно.

До настоящего времени интерес к дому не иссякает и не только потому, что он является одним из лучших памятников русского модерна, но и в силу того, что в его стенах жили и работали столь незаурядные личности.

К созданию этого дома по заказу Степана Павловича Рябушинского Федор Осипович Шехтель приступил в 1900 году в зрелом возрасте, будучи широко известным архитектором.

Это было время расцвета модерна, проявившегося в России с середины 90-х гг. XIX века до вступления России в первую империалистическую войну. Модерн привлекал художников тем, что не ограничивал их жесткими стилевыми канонами, позволял наиболее полно выразить себя творчески и давал возможность передать свое отношение к окружающему миру.

Социальные конфликты времени порождали настроения надежды и тревоги, люди в прошлом искали аналогий и ответов. Отсюда возрос интерес к отечественной культуре и истории, что вылилось к концу XIX в. на русской почве в создание неорусского стиля.

Шехтель только в Москве и области построил около 50 зданий разного типа, из которых, по меньшей мере, половина — выдающиеся памятники архитектуры. В своих работах он часто использовал архитектурные традиции древней Руси, но так их творчески переосмысливал, что не сразу можно было определить прообраз сооружения, его истоки. Ближе ему было

искусство Новгорода 16 в. В него более четко выразилось то, что в его время называли христианской красотой в искусстве. Цель этого искусства была в том, чтобы вывести человека из мира грубых чувственных наслаждений и возвести в мир высший, духовный, возжечь в душе человека божественный огонь надежды, веры и любви к ближнему. Отсюда можно сделать вывод, что главная идея христианского искусства, в частности зодчества, была нравственная.

Памятники отличались возвышенной простотой, архаичностью форм и соразмерностью пропорций, например, “Спас в Нередицах”, “Покрова на Нерли” и т.п. Федор Осипович по-разному использовал эти традиции. При создании Ярославского вокзала и павильонов Международной выставки в Глазго он обратился к декоративным формам и деталям. В павильонах выставки легко угадывается Преображенская церковь Кижей.

В доме на Никитской осуществился другой подход. Не детали, а принципы, законы построения древней архитектуры: возвышенная простота, соразмерность пропорций, минимум декоративных мотивов при многовариантности их использования.

Первое впечатление от дома — монолит с четко выраженной геометрической формой, а при ближайшем рассмотрении он оказывается состоящим как бы из 3-х объемов, что отдаленно напоминает палатную архитектуру. Обогащенный крыльцами-балконами с мощными столбами и разнопрофильными арками, как древние крыльца, он создает ощущение легкости и устойчивости одновременно. Дом венчает мозаичный фриз из орхидей, выполненный по эскизам Шехтеля знаменитой петербургской мастерской Фроловых. Он придает зданию элегантность.

Главным украшением особняка является парадная лестница. Она располагается в центре здания, в холле, высота которого 12 метров. В древних палатах сени, одно из главных помещений, всегда торжественны и величественны, потому что здесь происходит первая встреча с гостями. В решении холла проявилась еще одна особенность творческой манеры Шехтеля — повествовательность декоративных решений. Он как режиссер выстраивает здесь картину подводного царства. Видимо, на творческом почерке архитектора отразился опыт его работы в качестве художника-декоратора у знаменитого режиссера М.Лентовского, организатора фантастических феерий и народных праздничных представлений.

В холле полумрак от тонированных стекол верхнего света и витража. Стены окрашены в зеленоватый тон. Парадная лестница из серого эстонского мрамора низвергает волны и завершается мощным всплеском, вскинувшим кверху светильник-медузу. Столовая переливается в холл через широкую арку. Иллюзию переливания создает инкрустация пола, выполненная из 3-х пород дерева, изображающая волну.

Все декоративные детали не навязчивы. Ручки дверей, несколько решеток ручной работы, резные украшения парапета лестницы и порталов, витражи, лепнина потолка в столовой

подчинены одной теме — воды, водной стихии, видимо поэтому в сюжетах резьбы варьируется одна и та же декоративная деталь — фигура капли. Это придаст всему декору ощущение меры, необходимой достаточности, но не избытка украшений.

Внимание к эстетической стороне не исключает у Шехтеля экономического подхода к строительству и стремления создать для человека удобную, совершенную среду обитания. Так в двухэтажном доме, кроме первого и второго этажей, жилыми являются чердак и полуподвал. В доме осуществлена одна из первых в Москве система кондиционирования воздуха, оригинально разработанная самим Шехтелем. Он был хорошим инженером, и все расчеты по этому дому производились им самим.

Раскрывая гуманистическую программу Шехтеля, недостаточно остановиться на практической стороне его строительной деятельности. Для него красота “жизнестроительна”, так до революции определяли положительное воздействие на человека искусства, вообще всего прекрасного. Считалось, что человек, попадая в эстетическую среду, независимо от своей воли, подвергается ее воздействию. И это воздействие нравственное, потому что вызывает у него желание делать доброе. Красота гармонизирует душевное состояние человека. Некоторые так и говорят: “Когда мне плохо, я смотрю на красивое”.

Такое же воздействие на человека оказывает и природа. Но Шехтель не только населяет свои дома образами, взятыми из природы: пейзаж, саламандры, медуза, черепаха, лилии, волна и т.п. Он из природы черпает и свои мысли, художественные идеи. Его декоративная линия напоминает то силуэт лягушки, то улитки, то стелящуюся в воде водоросль. Он старается не нарушать связи человека с внешним миром. Отсюда окна-витражи, стеклянный коридор 2-го этажа, позволяющий мгновенно, переходя в другую комнату, очутиться вне стен дома. Ощущение связи с космосом рождается, когда приходишь в моленную. Оформленная люнетами комната вечером превращается, благодаря особенностям росписи, в открытую галерею, и человек оказывается как бы наедине со звездами, со вселенной.

Дом выделяется из ряда других прекрасных строений Шехтеля не только тонким художественным вкусом и мастерством, но какой-то доверительностью, как бы непринужденным диалогом с понимающим тебя человеком. И это, наверное так, потому что Шехтель строил его для человека, занимающегося искусством, способного понять его язык, Степана Павловича Рябушинского. Об их отношениях, выходящих за рамки деловых, говорит Шехтель в своем последнем письме к И.Д.Сытину, написанном за полтора месяца до смерти. Федор Осипович вспоминает, что Степан Павлович был знаком с его коллекцией, ценил принадлежащий ему Деисус 16 в. из палат царя Федора Иоановича в медном киоте и икону св. Христофора 16 в. и предложил как-то продать ему их за большую сумму¹.

Когда началось строительство дома на Никитской, Степану Павловичу Рябушинскому было 26 лет. Он был четвертым

сыном знаменитой семьи Рябушинских. Работали братья очень много, были прекрасно образованы, большие средства тратили на благотворительность. “Собственность не только дает права,— говорил старший П.П.Рябушинский,— но собственность обязывает”. Служебные обязанности между ними были четко распределены. Пятеро занимались политикой, промышленно-торговыми и финансовыми делами, трое младших — посвятили себя науке и искусству.

Главным наследственным делом Рябушинских была текстильная фабрика в с. Заворове В.-Волоцкого уезда, которой занимались Павел, Сергей и Степан. Они превратили фабрику в огромный текстильный комбинат с замкнутым производственным циклом, независимым от рынка².

Торговой частью этого комбината руководил Степан Павлович. Он ведал всеми складами (амбарами) и магазинами фирмы, разбросанными по всей России.

Другим делом Степана и Сергея Рябушинских было создание первого в России автомобильного завода АМО — Акционерного Московского Общества (современный автозавод им. И.Д.Лихачева)³. В годы войны правительство России отпустило кредиты на строительство пяти авто- и самолетостроительных заводов. Первыми, как всегда и во всем, отозвались Рябушинские.

Одновременно покупалась земля в Тюфелевой роще близ Симонова монастыря, закупались за границей станки, на квартире директора разрабатывался проект завода. Заложили завод 2-го августа по н.ст. 1916 г. Осенью намечено было завершить строительство, а в марте 1917 г. начать выпуск легковых и грузовых машин. Одновременно в соседней березовой роще строили жилье для инженеров, техников и рабочих, семейным предоставлялись отдельные дома с огородом и садом.

Наблюдатель из военно-промышленного комитета отмечал, что строительство шло “прочно, красиво и чрезвычайно быстро”. Но все же срок сдачи завода был нарушен. Немецкие подводные лодки потопили 2 транспорта со станками, правительство задержало валюту, рабочие под руководством большевиков начали митинги и демонстрации. Несмотря на то, что администрация завода шла навстречу их требованиям, недовольство не утихало. И однажды рабочие на тачке вывезли с территории завода директора и главного инженера. Вскоре они убедились, что наладить производство завком не может, и через две недели пригласили директора и главного инженера вернуться. Возвратился только главный инженер. Но все же строительство завода было доведено до уровня, позволившего в год революции собрать 10 легковых машин, оснастить их пулеметами и использовать в революционных боях.

Но более известен Степан Павлович как коллекционер, собравший лучшую в России коллекцию икон, вполне заслужившую свою славу “художественно-исторической ценностью входящих в нее икон”, — писал в 1917 году о ней известный искусствовед Николай Пунин⁴.

Степан Павлович был профессиональный собиратель. В истории нашей культуры он известен как первый, кто начал научную расчистку или реставрацию древних икон⁵. До него, в 16 веке потемневшую икону расписывали вновь, в 18 и 19 веках счищали до доски старый левкас с первоначальной росписью, и, наложив новый, писали икону заново, таким образом погибали древние иконы. Степан Павлович предотвратил гибель ценнейших памятников древности. В своем особняке на М.Никитской (Качалова, 6/2) он устроил реставрационную мастерскую, в которой работал известный и искусный художник-реставратор Алексей Васильевич Тюлин. К реставрации приступали после тщательного изучения иконы. Так в 1911 году была открыта из-под ремесленного письма и копоти знаменитая икона конца XIII в. Пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской, которой Степан Павлович Рябушинский посвятил свое исследование^{6,7}.

По инициативе Степана Павловича в феврале 1913 г. в археологическом институте, которого он состоял действительным и почетным членом, была открыта выставка древнерусского искусства, "на которой впервые были показаны древнерусские иконы в их первородной подлинности, т.е. после расчистки"⁸.

Освободив икону от разложившейся олифы, Степан Павлович с помощниками, совершив грандиозную работу, открыл миру высокое мастерство, красочность, философское содержание древней иконы. Древнерусская икона, таким образом, вошла в ряд памятников мирового значения наравне с произведениями высокого античного искусства. На этой выставке, посвященной 300-летию рода Романовых, было представлено 147 икон, из них 54 были из собрания Степана Павловича, и 3 из 4-х самых древних икон также принадлежали ему. Степан Павлович совместно с художником Тюлиным были авторами научного описания первого отдела выставки. Степан Павлович написал много научных статей, опубликованных в журналах "Церковь" (1908, 1909 гг.) и "Русская икона" (1914 г.), на издание которых жертвовал немалые средства⁹. Журнал "Русская икона" в 1914 году поместил сообщение о том, что Степан Павлович в своем особняке на Никитской собирается открыть музей иконы. Вероятно комнаты на 2-м этаже, стены которых были до революции обтянуты кожей, предназначались для этой цели. Сейчас в них размещена экспозиция музея А.М.Горького.

Собрание Степана Павловича, а также других коллекционеров, навело общественность на мысль о необходимости создать музей частных коллекций. Искусствовед Грищенко в 1917 г. пишет о необходимости построить в центре Москвы соответственное здание, где и разместить частные коллекции С.И.Остроухова, А.В.Морозова, С.П.Рябушинского, В.М.Васнецова, Рахманова и других собирателей. Создание музея "единственного и своеобразного в мире искусства явилось бы самым

крупным делом за последнее столетие не только в России, но и в целой Европе. Не таким ли путем,— заканчивает он,— создано лучшее собрание европейской живописи — Лувр?” К сожалению, после национализации коллекция была разрознена: 53 иконы были отправлены в Государственную Третьяковскую Галерею, 128 — в Государственный музейный фонд в дом Дервизов у Красных ворот, часть в Исторический музей, остальные свезены в подвал, после 28 года они попали в Антиквариат, Пермский и Кубанский музеи.

Степан Павлович широко и разнообразно занимался меценатством. Он сделал крупные пожертвования на строительство нового здания для Московского археологического института и Музея им. Забелина при нем, на организацию выставок икон, на нужды рабочих (на предприятиях Рябушинских было введено бесплатное медицинское обслуживание). На его деньги был построен новый старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы в 3-ем Ушаковском переулке, здание которого сохранилось¹⁰. Для старообрядцев, к которым принадлежала вся семья Рябушинских, Государственный акт от 17 мая 1906 г. имел чрезвычайное значение. Именно по этому акту старообрядцы во всем получили равные права с представителями и последователями ортодоксальной церкви. С этого времени в России начинается бурный рост старообрядческих общин и строительство церквей при них. Степан Павлович один из первых учредил в центре Москвы остоженскую старообрядческую общину, председателем которой был избран верующими.

Первым его шагом на этом поприще было строительство нового храма для общины по проекту архитекторов Адамовича и Маята на земле, подаренной общине П.П.Рябушинским, на средства Степана Павловича.

В основу композиции церкви Степан Павлович положил тип новгородского храма “Спаса Нередицы”, который представлял собой памятник древней христианской архитектуры кубического типа, берущей начало от древнего храма Соломона, который характеризовала равная высота, длина и ширина. Эту красивую простоту древнего храма удачно осуществил Степан Павлович, наблюдавший за проектом и строительством храма. Его стараниями в храме был создан трехъярусный, древнего рисунка резной золоченый иконостас, уставленный древними редкими иконами новгородского письма XV и XVI веков из его собрания. Церковь торжественно была освещена 12 октября 1908 г. Это был первый старообрядческий, новый, то есть построенный после акта 1906 г., храм в Москве.

Революция оборвала и многое уничтожила из того, что сделали Рябушинские. После вынужденной эмиграции они с семьями поселились в Париже. В 1925 году братья Владимир и Степан основали здесь широко известное общество “Икона”. После некоторого перерыва оно возобновило свою работу с 1927 года до сегодняшнего дня¹¹. Владимир Павлович был избран председателем, Степан Павлович вошел в Совет общества.

Открывая первое заседание, Владимир Павлович так сформулировал цели и задачи общества: “Изучение и охрана древней иконы и искусства Восточной Церкви” Для этого он считал необходимым объединить художников-иконописцев, любителей и собирателей икон, религиозных ревнителей и богословов-догматиков. Время было удачным. На Западе и среди русских начался подъем интереса к иконе, усиление религиозного чувства. Школа иконописцев, организованная обществом “Икона”, славилась своими мастерами. Иконы, написанные ими, разошлись по всему миру. Художники работали даже для других конфессий. Они расписали многие церкви в Европе и США. Один из них был создателем иконостаса церкви Успения на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. За время своего существования общество организовало в разных странах около 40 выставок древних и современных икон, которые пользовались неизменным успехом. В 1927 г. в его изданиях была опубликована статья С.П.Рябушинского “Заметки о реставрации икон”.

В Париже остался жить сын Степана Павловича Борис, художник-анималист. Сам же Степан Павлович с женой и дочерью переехал в Милан, где основал текстильное производство. Умер он в 1942 г. близ Генуи на 68 году жизни. Московский дом его был национализирован и 13 последующих лет принадлежал попеременно то наркомату иностранных дел, то интернату, то государственному издательству художественной литературы, то ВОКСу, то детскому саду. За это время были утрачены мебель и осветительные приборы, выполненные по рисункам Шехтеля, разрушена вентиляционная система, изменена отделка стен.

В 1931 году дом срочно ремонтировали, обставили мебелью: правительство решило поселить здесь Алексея Максимовича Горького. Горький приехал сюда прямо с вокзала с семьей: сыном, невесткой и внучками. Поселился на первом этаже. Постепенно, когда прибыли коллекции, заказанные им книжные шкафы, рабочий стол и полочка для книг в спальню, его комнаты приобрели характерный горьковский облик. Осмотрев дом, Горький, поблагодарив правительство, сказал: “Работать можно”. Работал он, несмотря на нездоровье и возраст — 63 года — много. Заканчивал 4-ый том своего “прощального на восемьсот персон” романа “Жизнь Климса Самгина”, редактировал его первые тома, написал 3 пьесы, множество статей, писем, доклад для съезда писателей. Дом стал центром литературной и культурной жизни страны. Для литераторов, благодаря Горькому, он был желанным местом встреч и бесед. Они называли его академией дерзких планов и мастерства. Гостеприимный хозяин, интересный собеседник, прекрасный рассказчик, умевший двумя-тремя словами создать портрет, пейзаж, сюжет, Горький хорошо знал Россию и с удовольствием рассказывал о ее промыслах и ремеслах, великих и обыкновенных людях, городах и селах. Побывавшая на такой встрече у

Горького О.Берголец выразила свое впечатление в стихотворении "Максиму Горькому"¹²:

...Но мне пришлось взглянуть
в глаза певца —
Я не увижу глаз прекрасней.

Вот так — чиста, доверчива, горда,
Так смотрит совесть к смелости взывая,
И, если смутно в сердце,—
Я всегда тот соколиный взгляд припоминаю...

Стихотворение передает ту высокую нравственную атмосферу, которая влияла на участников бесед в доме Горького.

Главным направлением деятельности Горького в то время была организация литературной жизни страны, формирование многонациональной советской литературы. Совещания у Горького проходили в непринужденной обстановке, регламент не устанавливался, протоколов и стенограмм не вели. На столе стоял самовар, пили чай. Авторитет и деловитость Горького сдерживали эмоции.

Здесь зародился Союз писателей, подготавливался Первый всесоюзный съезд писателей. Консолидация писательских сил в те годы активного и даже какого-то непримиримого противостояния писательских группировок была необходима и полезна. Об этом свидетельствуют сами писатели причем такие разные, как А.Белый, Вс.Вишневский, В.Каверин и многие другие.

Горький стремился к объединению и самоопределению писателей различных творческих индивидуальностей и направлений. Он искал возможности, чтобы оградить их от недостойных выпадов рапповской критики, командного тона и перегибов в литературной политике. Поддержку Горького получили М.Булгаков, Б.Пастернак, Б.Пильняк, Е.Замятин, М.Шолохов, И.Бабель, Л.Леонов, Л.Соболев, С.Маршак и др.

Несмотря на строгую изоляцию, которая осуществлялась с помощью его секретаря П.П.Крючкова, до Горького доходили вести об арестах известных ему людей. Посетивший Горького летом 1935 года Ромен Роллан увидел грусть в глазах писателя и почувствовал, что "тайники его сознания полны боли и пессимизма".

В письмах к Сталину он просил об облегчении участи репрессированных, обращал внимание на тревожившие его факты в культурной политике. Он решительно возражал против травли Шостаковича на страницах "Правды" за оперу "Леди Макбет Мценского уезда"

Обстановка в доме Горького заметно изменялась в начале 30-х годов. Он чувствовал как под влиянием пришедших к руководству литературной жизнью партийных чиновников воцарился административно-командный стиль, диктовавший другие нормы поведения.

И самому Горькому было нелегко: Сталин ждал от него хвалебного очерка, к которому он так и не приступил.

Сравнивая свои встречи с Горьким на Кронверкском в начале 20-х годов и последние в 30-е гг., Каверин рассказал мне 17 апреля 1965 года: “Ленинградские встречи были полны литературными разговорами. Горький был близок со многими из “Серрапионовых братьев”, группы, к которой я принадлежал. Всегда интересовался нашими делами, был в постоянной переписке”. В 30-е годы Каверин ехал к Горькому в Москву под впечатлением теоретического спора с Б.Л.Пастернаком об абстрактном искусстве. Он хотел этот вопрос вынести на обсуждение коллег. И когда пришел к Горькому, то понял, что незачем заводить разговор на эту тему. У Горького были не только литераторы, но и военные, и политические деятели: Бубнов, нарком просвещения, Эйдеман, Гамарник, ожидали Ворошилова. Командовал и суетился Крючков, который на Каверина произвел плохое впечатление. Из писателей были Леонов, Тихонов, Тынянов, Л.Никулин и другие. Демонстрировали калмычку, окончившую университет, как достижение дружбы народов и успехов советской власти. Пел под гитару Лев Никулин. Горький ушел рано. Всем объяснили, что остальные могут остаться. “Но что-то переменялось, когда он ушел,— продолжал Каверин,— все-таки была некоторая сдержанность во всем этом. Когда он ушел, то вот этот, я бы сказал, спектакль какой-то, проявился в полной мере...” и дальше: “И то, что я увидел и услышал в тот вечер, заставило меня подумать, что Горький как-то уже не волен над собой, что нет вот этого сознания, свободно действующего в литературе огромного писателя, которое всегда естественно входило в его жизнь и которое было так важно для всех нас”¹³.

Горький никогда не встречался с первым хозяином этого дома Степаном Павловичем, но был знаком с его братьями. В 1911 году Алексея Максимовича посетил на Капри Николай Павлович Рябушинский, издатель и редактор журнала “Золотое Руно”. В 1918 г. Горький добился освобождения из ЧК младшего брата Степана Павловича Дмитрия, ученого с мировым именем, основавшего на собственные средства в Кучине (под Москвой) первый в мире Аэродинамический институт, основоположника активно-реактивной артиллерии, истинного патриота России. После освобождения Дмитрий Павлович ездил к Горькому на Кронверкский проспект благодарить за хлопоты¹⁴.

Итак, мы видим, что жизнь трех талантливых людей была связана с историей дома на М.Никитской. Каждый из них — яркая индивидуальность, оставившая свой неповторимый след в отечественной культуре. Не заслоняя друг друга, они убеждают нас в том, что подлинную историю можно понять до конца только прочитав все ее страницы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ ГМА Щусева, рукописный фонд Шехтеля, раздел I, № 11628/2, л.1, дубл.
- ² Товарищество мануфактур П.М.Рябушинский с С-ми.— М., 1913.
- ³ История Московского автозавода им. И.А.Лихачева.— М.: Мысль, 1966.
- ⁴ Ник.Пунин. Эллинизм и Восток в иконописании. По поводу собрания икон И.С.Остроухова и С.П.Рябушинского // Русская икона.— 1914.— № 3.
- ⁵ Грищенко А. Русская икона как искусство живописи // Вопросы живописи.— М., 1917.— Вып.3.— С.207.
- ⁶ Икона Божей Матери Одигитрии Смоленской: Из собр. Ст.П.Рябушинского.— М., 1913.
- ⁷ Грабарь И.Э. История русского искусства.— Т. VI.— М., 1914.— С.146.
- ⁸ Выставка древнерусского искусства в Москве. 1913 г. Каталог. I отдел — С.П.Рябушинский и Тюлин.
- ⁹ В журналах: Церковь.— 1908-1909; Русская икона.— 1914. Икона.— 1927. были опубликованы след. статьи С.П.Рябушинского: а) Интересный памятник христианской старины — (др. церковь Богородицы VI — VII — VIII вв.); б) О реставрации и сохранении древних св. икон.; в) Изображение воскресения Христова.; г) Строгановский иконописец Никифоров и его манера. (совм. с Тюлиным); д) О реставрации икон.
- ¹⁰ Церковь. Статьи.— 1908.— № 34.— С.1165; № 40.— С.1349; № 42.— С.1430.
- ¹¹ Общество “Икона”, I-ое заседание.— Публикация // Возрождение.— Париж, 1925 (1927).— № 3.
- ¹² Литературная газета.— 1964.— 12 мая.— № 56.— С.3.
- ¹³ Магнитофонная запись воспоминаний Каверина, сделанная Н.Л.Пэнэжко на квартире Каверина в Лаврушенском пер.— 1965.— 17 ноября.
- ¹⁴ Воспоминания об обстоятельствах, при которых я покинул нашу родину в конце 1918 года. Выступление Дмитрия Павловича Рябушинского на встрече в Союзе русских военных инвалидов в январе 1960 г. (не опубликованы).

М.ГОРЬКИЙ НА РОДИНЕ
(Горьковской комиссии — 50 лет)

В марте 1993 года исполнилось 50 лет с того дня, как на родине Горького начала свою деятельность Горьковская комиссия. За истекшие пять десятилетий работа Комиссии способствовала повышению роли нижегородских ученых в изучении жизни и творчества Горького, превращению Нижнего Новгорода в один из всероссийских центров исследования его наследия. Систематическое (через каждые два года) проведение “горьковских чтений” стало укоренившейся традицией, содействовало объединению горьковедов не только Поволжья, но и многих других городов и регионов страны.

Уже в 30 и 40-е годы Комиссия сосредоточилась на изучении местных материалов, характеризующих жизнь и творчество Горького, которое становится основным направлением ее деятельности. Такой выбор не был случайным, ибо Нижний, как известно, являлся для Горького не только родиной, но и городом, в котором он прожил более трети всей своей жизни. Здесь он делал первые шаги на избранном пути, формировался и мужал его характер, закладывался фундамент творческой индивидуальности одного из выдающихся художников XX-го столетия. В родном городе у Горького была возможность наблюдать людей разного рода и характерные приметы российской действительности конца прошлого века. Учитывая все это, а также тот факт, что в годы начала работы литературоведов в данном направлении имелось немало неизученных архивных материалов и живых свидетелей былого, думается, что местные исследователи поступили правильно, обратившись к изучению нижегородского периода жизни и творчества Горького.

Время развертывания деятельности горьковедов на родине писателя относится к суровой поре войны, но материалов, касающихся этой работы, сохранилось крайне мало. Среди дошедших до наших дней документов “Докладная записка об образовании постоянной Горьковской комиссии при областной библиотеке имени В.И.Ленина в г.Горьком”, подготовленная в апреле 1943 года и подписанная Е.М.Томасовой, А.Н.Свободовым и Д.А.Баликой, которая была направлена заведующему ОБЛОНО, а также найденное мною в архиве поэта и фольклориста А.А.Белозерова письмо доцента А.Н.Свободова, датиро-

ванное 1944 годом, где сообщается о Горьковской комиссии как уже об активно действующем органе.

В первом из них содержится указание на то, что идея создания Горьковской комиссии “для работы по изучению жизни и творчества М.Горького” была высказана на научной сессии, посвященной 75-летию со дня рождения писателя. “Такое предложение, — говорится в этом документе, — было принято, так как оно отвечало назревшей потребности — поставить дело по изучению жизни и творчества нашего земляка на его родине на должную высоту и объединить работу научных кадров в области горьковедения, придав им соответствующий темп и направление в постановке горьковских тем”¹.

Научная сессия, состоявшаяся в родном писателю городе в марте-апреле 1943 года, и положила начало традиционным Горьковским чтениям, на которые в Нижний, уже в двадцать пятый раз, съезжались литературоведы России, Украины, Латвии, Норвегии и более двадцати крупных городов в день 125-летия Алексея Максимовича Горького в марте 1993 года. Первая же, как сообщалось в справке о работе Горьковской комиссии, была задумана для того, чтобы всколыхнуть мысль научных работников и не дать “заглохнуть этой работе во время войны, показать широким кругам читателей Горького как пламенного борца против фашизма”².

В числе участников на I-х Горьковских чтениях были преимущественно местные исследователи творчества писателя и в их числе: доцент И.И.Ермаков, сделавший доклад на тему “Горький — великий патриот и пламенный борец против фашизма”, доцент Б.И.Александров, выступивший на тему “Горький о величии русской литературы”, научный сотрудник музея А.М.Горького А.В.Сигорский с темой “Горький в Нижнем Новгороде в 1900-1901 годах”, доцент А.Н.Свободов, доклад которого посвящался раннему творчеству писателя-земляка. Были также доклады о горьковской библиографии за последние пять лет и о мировоззрении Горького 90-х годов (проф. Д.А.Балика), об образе русского человека в горьковской драматургии (проф. М.С.Григорьев), о постановке пьес Горького местным театром драмы (искусствовед Г.А.Яворовский).

В том же 1943 году приказом по ОБЛОНО № 413 Горьковская комиссия была утверждена. В ее состав вошли представители педагогического института, областной библиотеки, литературного музея А.М.Горького, историко-бытового музея детства А.М.Горького, краеведческого музея, архивного управления, областного издательства, а также литературоведы, краеведы и работники культуры областного центра. Председателем комиссии была утверждена директор областной библиотеки Е.М.Томасова, ученым секретарем — заведующий отделом библиографии профессор Д.А.Балика. Заместителем председателя и неизменным инициатором многих начинаний комиссии по-прежнему оставался А.Н.Свободов. Горьковская комиссия в те годы состояла из восьми человек. Кроме названных, в ней работали

Р.Н.Алексеева, А.И.Елиссев, П.Ф.Ржига, А.В.Сигорский, А.А.Белозеров.

Деятельность комиссии в течение первых лет ее работы была весьма плодотворной. На регулярно проводившихся заседаниях обсуждались не только вопросы организационного характера, но и заслушивались теоретические доклады и сообщения о ходе и результатах научных исследований, обсуждалась тематика будущих сборников, книг и популярных изданий. Среди докладов, заслушанных в 1944-45 годах: "Горький-гуманист" (А.Н.Свободов), "Горький и Чехов" (Н.П.Привалов), "Горький и история нашей области" (А.В.Сигорский), "Ошибки и вымыслы в воспоминаниях о Горьком" (А.А.Белозеров). В числе других дел комиссии были: обработка материала для словаря в произведениях Горького, работа по выявлению горьковских мест в городе и уточнению связанных с ними дат. Именно тогда А.В.Сигорский составил путеводитель по горьковским местам, который после обсуждения его на заседании комиссии, был сдан в печать. Кроме того, как сообщается в "Справке о работе комиссии", была подготовлена к печати рукопись "Старый Нижний Новгород и его люди в изображении Горького" и установлены тексты ранних рассказов Горького, которые не вошли в его собрания сочинений. "Этот материал,— читаем мы в "Справке",— составлен и сдан в издательство"³. И еще один любопытный штрих: "подготовлен материал для справочника — горьковского календаря нижегородского периода, содержащего около 1500 дат, мемуары, архивный материал, письма и прочее. К справочнику прилагается статья "Нижегородский период жизни и творчества Горького"⁴.

На заседании комиссии заслушивались сообщения о научной работе, которая велась в литературном музее, областной библиотеке, где тогда занимались выявлением книг Алексея Максимовича, которые в разное время дарились им не только этой, но и ряду других библиотек города. Вместе с тем в областной библиотеке шла работа по изучению помет Горького на его книгах.

Итак, работа Горьковской комиссии уже в первое пятилетие, из которых почти половина приходится на годы Великой Отечественной войны, была плодотворной. Главное состояло в том, что удалось объединить усилия исследователей, скоординировать их деятельность, а постоянный обмен информацией позволил устранить параллелизм в изысканиях. Одновременно с этим комиссия смогла организовать в ту нелегкую пору научные конференции горьковедов, которые состоялись в 1946, 1948 и 1951 годах. На них, как писала Е.М.Томасова, были "и установочные доклады и обмен опытом работы", который "помог координировать" деятельность ученых, исследовавших богатейшее наследие Горького.

Примечательным также является и то, что тематика Горьковских чтений уже с самых первых встреч горьковедов на

нижегородской земле отличалась разнообразием обсуждаемых проблем и актуальностью.

Горьковские чтения на родине писателя давно стали не только местом общения и обмена информацией литературоведов многих регионов, но и своеобразным полигоном для апробации взглядов и суждений по самым разным проблемам горьковедения. Именно поэтому можно с полным основанием утверждать и то, что немалое число различного рода горьковедческих материалов, вошедших в актив науки о Горьком, связано с Горьковскими чтениями, проводимыми в Нижнем. Здесь, наряду с регулярным изданием тезисов выступлений, следует отметить работы, выполненные на основе материалов, доложенных на пленарных и секционных заседаниях чтений, а также труды ученых-горьковедов, научные идеи которых возникли в атмосфере конференций. После докладов, сделанных на чтениях, суждения, высказанные в среде специалистов, нередко становились темой статьи или солидного исследования. Можно было бы привести немало примеров, подтверждающих это положение и назвать имена известных ученых — докторов наук, выносивших свои труды на обсуждение участников чтений. Среди них следовало бы назвать: Г.С.Зайцеву, Л.Ф.Гаранину, Н.И.Желтову, А.М.Минакову, Л.К.Оляндэр и др.

Каждый раз Горьковские чтения предоставляли для исследователей возможность встретиться, побеседовать, получить высококвалифицированную консультацию у самых авторитетных горьковедов страны. Стало доброй традицией приглашать на наши научные конференции ведущих ученых академических институтов, известных литературоведов из университетов и педагогических институтов крупных городов. Так, уже на одних из первых Горьковских чтениях, состоявшихся через год после окончания Отечественной войны, среди участников форума горьковедов в городе Горьком были: научный сотрудник ИМЛИ АН СССР Н.П.Белкина и профессор МГПИ имени В.И.Ленина И.Г.Клабуновский, профессор М.С.Григорьев и драматург А.П.Штейн. В числе докладчиков на III-х Горьковских чтениях — старший научный сотрудник ИМЛИ профессор Б.В.Михайловский и доктор наук Б.А.Бялик, который нередко бывал на наших чтениях в 60-х и 70-х годах. С 1973 и до года своей кончины важную роль на Горьковских чтениях играл заведующий сектором Полного собрания сочинений М.Горького профессор А.И.Овчаренко. Он приезжал на чтения вместе с основными сотрудниками сектора и других отделов ИМЛИ и среди них — доктора наук Л.А.Спиридонова, С.В.Заика, научные сотрудники Н.В.Драгомирецкая, Л.Ф.Киселева, И.И.Вайнберг, И.А.Ревякина, Н.Н.Примочкина и др.

Из других литературоведов столицы, с давних пор активно участвовавших в Горьковских чтениях, следует назвать заведующую Архивом А.М.Горького С.С.Зимину и нынешнего руководителя этой богатейшей сокровищницы материалов доктора филологических наук В.С.Барахова, а также таких ученых-

горьковедов, как В.А.Лазарев, А.М.Минакова (Москва), Н.И.Желтова (Петербург), Л.П.Егорова (Ставрополь). В былое время участниками чтений на родине писателя являлись К.Д.Муратова, Б.А.Пирадов, Р.М.Сабирова, Д.Н.Нуралиев, В.А.Вавере и многие другие.

Активнейшим участником Горьковских чтений была Екатерина Павловна Пешкова, которая, начиная с 1946 года аккуратно приезжала на наши научные конференции вплоть до 1964 года и всякий раз выступала с интересными сообщениями, связанными с жизнью и деятельностью А.М.Горького. Как дорогих и желанных гостей встречают участники Горьковских чтений внучек Алексея Максимовича Марфу Максимовну и Дарью Максимовну Пешковых.

Итак, созданная полвека назад Горьковская комиссия внесла свой достойный вклад в историю развития отечественного горьковедения, а впереди новые Горьковские чтения, новые замыслы, идеи, встречи, издания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Докладная записка об образовании постоянной Горьковской комиссии при областной библиотеке имени В.И.Ленина в г.Горьком. Фонды Нижегородского государственного литературного музея А.М.Горького.
- 2 Справка о работе Горьковской комиссии. Фонды Нижегородского литературного музея А.М.Горького.
- 3 Там же.
- 4 Там же.

РАЗДЕЛ 2

СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

КРИТИКА О ГОРЬКОМ В ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПИСАТЕЛЯ

(дореволюционный период)

Первые значительные статьи о творчестве Горького появились вскоре после выхода двух его книг “Очерков и рассказов” (1898), вызвавших большое количество преимущественно одобрительных откликов. “Прав я или нет,— писал в связи с этим Горький,— но к той критике, какая есть,— отношусь только с любопытством, в уверенности, что иного отношения она не стоит. Это не дерзость, это скорее всего — грустный факт”¹.

Такая точка зрения Горького на критику его произведений, в сущности, не менялась на всем протяжении его творчества². Отвечая в 1930 г. на вопрос анкеты, обращенный к писателям,— “оказывают ли на Вас какое-нибудь влияние рецензии?”, Горький сказал: “Рецензии никогда и никак не влияли. Современные особенно не способны влиять, ибо видишь, что рецензенты читают книги невнимательно, неумело, и часто не понимают прочитанного”³.

Горький не принимал чересчур восторженных оценок — он был очень строг к себе как к писателю. “Вероятно, я видел и пережил больше, чем следовало бы, отсюда — торопливость и небрежность моей работы. В общем — я гораздо менее талантлив, чем тот М.Г., о котором критики иногда пишут излишне хвалебно”⁴. А однажды он заметил с иронией: “Иногда мне хочется написать критическую статью о Горьком как художнике. Я уверен, что это была бы самая злая и самая поучительная статья из всех, написанных о нем”⁵.

Тем не менее писатель считал целесообразным издание книги статей о своем творчестве, но такой, которая показала бы читателю «широкую “картину мнений”, отразила бы суматоху эпохи, да и, вероятно, помогла бы ему в оценке Горького как “художника”»⁶. Намечая содержание такого сборника. Горький назвал статьи «марксистов — Плеханова, В.В.Воровского и др., народников — Редько, Михайловского и т.д., “модернистов” литературы, напр., Иннокентия Анненского — о “На дне” из “Книги отражений”, Д.Мережковского — “Не святая Русь” о “Детстве”, Философова — “Конец Горького”; я бы даже рекомендовал злые выходки Гиппиус и, пожалуй, грубости Арцыбашева, Куприна»⁷.

Некоторые из названных писателем критических работ есть в его личной библиотеке: на отдельных страницах сохранились горьковские пометы. Кроме того, нами привлекаются несколько других исследований и суждений о Горьком дореволюционного периода, также отмеченных им. Вообще же из обширной дооктябрьской критики о творчестве писателя в его библиотеке сохранилось очень мало работ⁸.

В настоящей статье предпринята попытка определить время, когда могли быть сделаны пометы, что связано с историей бытования той или иной книги в личной библиотеке Горького, а также деятельностью писателя в данный период.

Рассматриваемые нами впервые пометы Горького (они выделены в тексте курсивом) — отчеркивания на полях, подчеркивание отдельных слов и строк, знаки вопроса — нередко выражают его сомнения или заключают элементы полемики. В то же время в отдельных высказываниях писателя можно почувствовать его заинтересованность той или иной мыслью и даже одобрение ее.

1

Пометы на исследованиях народнической и марксистской критики касаются ряда проблем раннего творчества писателя 1890-х — начала 1900-х годов. Бесспорно, наиболее влиятельным голосом в критическом “хоре” вокруг Горького было выступление Н.К.Михайловского с двумя статьями о творчестве писателя⁹, в которых он отозвался о нем как “о большой художественной силе”, пришедшей в русскую литературу. Статьи были даже некоторой неожиданностью для писателя, что вполне понятно, если вспомнить отношение критика к “Челкашу” и особенно к “Ошибке”¹⁰.

О времени обращения Горького к статьям Н.К.Михайловского свидетельствует история появления его книги “Отклики”, т. II (СПб., 1904) в библиотеке писателя.

Живя зимой 1936 г. в Тессели, Горький получил из Симферополя письмо от М.Л.Гурвича, сообщившего, что у него сохранилась книга Михайловского со статьями о Горьком. “Если этих статей у Вас нет и они представляют для Вас интерес, я охотно и с удовольствием подарю Вам упомянутую книгу”¹¹. Горький быстро откликнулся на это предложение¹² и вскоре получил книгу. «Прошу Вас принять искреннюю благодарность за подарок Ваш — “Отклики” Н.К.Михайловского», — писал Горький Гурвичу 15 марта 1936 г.¹³.

В книге всего две пометы, сделанные Горьким на статьях, ему посвященных. В первой статье Михайловский писал, что Горький не касается социальных корней босячества и что это обуславливает нетипичность его героев, их нехарактерность для своего общественного слоя: «Горький чрезвычайно скуп на разъяснение тех условий, при которых “суровая жизнь” вы-

швыривает за борт его героев; и даже когда более или менее подробно рассказывает их биографию, то обрывает ее на самом интересном месте... Все они как будто не от нужды бегут из разных "ям", а, напротив, сами лезут на рожон, хотя ищут, конечно, не ее, а воли». Размышляя далее об отличии индийских чандалов, выброшенных из своих каст по сословным причинам, от русских босяков, имеющих иное происхождение, критик замечал:

*"... у нас в России не только нет кастового строя, но и сословные перегородки постепенно сглаживаются и теряют свое значение. Сын дворянина и мещанки или крестьянина и дворянки, может, конечно, попасть в ряды босяков, но не по рождению, а по такому же стечению обстоятельств, какое и чистокровного дворянина, как и чистокровного мужика, может ввести в эти ряды"*¹⁴.

Можно предположить, что писатель отметил эти строки потому, что они подтверждают и его мнение о разнообразии внесословных причин ухода в босяки (одно из последних высказываний на эту тему — в статье "О пьесах" в связи с персонажами из "На дне").

Во второй статье критик называет "Ошибка" "странным рассказом", "указывающим на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем пути". Михайловский замечает, что в рассказах Горького «идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам. Отсюда многие художественные бестактности... К сожалению, г.Горькому грозит в будущем нечто гораздо худшее, чем эти досадные бестактности, а именно — "тонкие и острые иглы декадентства", которые в действительности не только не тонки и не остры, а напротив, очень грубы и тупы»¹⁵.

Нетрудно догадаться, как отнесся Горький к опасению Михайловского, что автор "Ошибки" может впасть в декадентство. Именно этим и вызвана его полемическая помета.

О том, что Горький не переставал проявлять особое внимание к оценке Михайловским рассказа "Ошибка", свидетельствует еще одна помета писателя, сделанная им на письме В.Г.Короленко к Н.К.Михайловскому от 15 апреля 1895 г. В письме Короленко, просившего сообщить о причине отказа напечатать "Ошибка", которая, по его мнению, "отличает дарование" и написана "сильно", Горький подчеркнул название рассказа¹⁶.

Известно, что Горький неоднократно редактировал "Ошибка", однако авторская редакция не коснулась основной идеи рассказа.

В связи с рассказом "Ошибка" следует отметить, что близкое авторскому замыслу понимание этого произведения Горький увидел в статье Овсяннико-Куликовского. «Впервые в русской литературе,— писал он критику в упоминаемом письме (см. прим.2),— дана удивительно точная и глубокая характеристика "тоски" — таинственного свойства русской души, которым у

нас принято хвастаться, которое и я, в свою пору, считал началом творческим, но которая в существе своем есть ничто иное, как национальная болезнь духа, превосходно описанная Вами на 12-й стр. той же книги, — болезнь Ярославцева»¹⁷. Напомним эту характеристику, вызвавшую одобрение писателя: "...усталость, угнетенность духа, испуг мысли, страх перед русской действительностью (болезнь Ярославцева) Это болезнь хроническая, истощение душевной энергии, грозящее оскудением жизни, если будет распространяться и прогрессировать»¹⁸.

Помету Горького, имеющую отношение к Михайловскому, мы находим на статье Р.В.Иванова-Разумника "Герцен и Михайловский"¹⁹.

Рассуждая об истории терминов "мещанство" и "индивидуализм", введенных Герценом и Михайловским полвека назад, Иванов-Разумник заметил, что термин "мещанство" в смысле, употреблявшемся Герценом, начал пробивать себе дорогу "с легкой руки М.Горького". Именно Горький, по мнению критика, «в своих "Мещанах" (и других произведениях) принял за этим термином приданный ему Герценом смысл и упрочил его в широкой публике. Впрочем — и это интересно отметить — рецензент "Русского богатства" (1902 г.) упрекал М.Горького за непростительный каламбур и обвинял его в игре слов за то, что у него термин "мещанство" имеет не исключительно сословное значение! Этот "каламбур" полвека тому назад лег краеугольным камнем мировоззрения Герцена... Обвинение во всяком случае было направлено не по адресу»²⁰.

Вставший на защиту Горького Иванов-Разумник говорит о рецензии на "Мещан", которая была опубликована без подписи в "Русском богатстве" (1902, № 4) и принадлежала Н.К.Михайловскому²¹. Можно предположить, что, помечая эти строки, Горький не знал, что автором рецензии является Михайловский. Писателя могла привлечь и мысль о корнях близкой ему традиции изображения мещанства в русской литературе, восходящей к Герцену.

Несомненный интерес имеет помета Горького на статье о нем в большой энциклопедии под редакцией С.Н.Южакова (СПб.: Просвещение. В 22 т. Первое издание выпускалось в 1902-1904 гг.). Статья о Горьком помещена в седьмом томе, впервые вышедшем в свет в 1902 г. (цензурное разрешение от 4 ноября 1901 г.). Вполне возможно, что эту статью о себе Горький впервые читал вскоре после выхода книги.

Уже сам факт появления большой статьи (почти четыре столбца), посвященной Горькому, свидетельствует, что не только его имя и произведения пользовались широкой популярностью, но и литературный процесс не мыслился без его участия. Однако эта статья не была зарегистрирована составителями библиографии о творчестве писателя; в книге С.Д.Балухатого

“Критика о Горьком, 1893-1932” (Л., 1934) она не упоминается²².

Энциклопедическая статья о Горьком — не подписная, как и все другие статьи этого издания, но сличение ее текста со статьей А.М.Скабичевского “М.Горький. Очерки и рассказы” (в сб.: Критические статьи о произведениях М.Горького. СПб., 1901) не оставляет сомнений в его авторстве — полное совпадение не только основных мыслей, но в ряде мест и текстуальная идентичность.

В статье довольно подробно дана биография писателя: Горький-художник характеризуется как поэт “босой команды, золоторотцев”. Иная проблематика его творчества не затрагивается, при этом автор ставит Горького на “одно из первых мест в современной беллетристике, наравне с В.Короленко и А.Чеховым”²³. Творчество Горького рассматривается в контексте русской литературы XIX в. С одной стороны, подчеркивается отличие горьковских бродяг от подобных им персонажей Решетникова, Левитова, Гл.Успенского, Мамина-Сибиряка. С другой — выявляется определенное родство босяков Горького с “героями времени” русской классической литературы. «В продолжение всего истекшего столетия лелеялся в нашей литературе идеал бездомного шатуна. Что такое представляли собою так называемые “герои времени” — Чацкий, Евгений Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, как не в своем роде интеллигентных бродяг. Чем отличается презрительное отношение Челкаша к Гавриле от того, как относятся Чацкий к Молчалину или Бельтов к Круциферскому?»²⁴.

Мысль об известной преемственности “бывших людей” от типа “лишних людей” русской литературы, об их нравственно-психологическом родстве неоднократно развивалась Горьким в ряде статей, начиная с “Разрушения личности” и кончая статьями, раскрывающими замысел организованной им серии книг “Истории молодого человека XIX столетия”. «Бесчисленная масса “лишних людей”, — писал Горький, — всевозможных странников, бродяг, Онегиных во фраках, Онегиных в лаптях и зипунах, людей, которыми владеет “беспокойство, охота к перемене мест”, это одно из характернейших явлений русского быта — является не чем иным, как бегством от жизни, от дела и людей»²⁵.

Однако, подчеркивая “психическое сродство” (25, 322) “бывших” и “лишних” людей, Горький говорил о необходимости принципиально различного к ним отношения. «Когда тип “лишнего” человека отмечался литературою среди культурного общества, это было не страшно: культура создается энергиею народа. Но когда сам народ из своей среды и непосредственно выдвигает “никчемных”, “никудашных”, “ненужных” людей, это опасно, ибо свидетельствует об истощении почвы культурной — духовных сил народа; это явление надо учесть, с ним необходимо бороться» (24, 77).

Возможно, помета на Большой энциклопедии была сделана писателем в период его размышлений над серией “История молодого человека XIX в.”, т.е. в начале 1930-х годов, когда он мог перечитать эту статью. Большая энциклопедия находилась в библиотеке писателя в Горках, где он жил с лета 1931 г.²⁶ Тогда же в письме к А.К.Виноградову, автору ряда вступительных очерков к книгам серии, Горький рекомендовал обратить внимание на русских “лишних людей”, начиная с 1870-х годов²⁷.

Из дореволюционной марксистской критики писателем сделана помета на статье В.Воровского “Максим Горький”, впервые опубликованной в 1910 г.²⁸

Горький не случайно предлагал начать сборник исследований о своем творчестве с марксистской критики, прежде всего с работ Воровского. По-видимому, писатель принимал основные выводы этих статей; известно лишь одно его резкое возражение по поводу мысли критика о нетипичности образа Ниловны²⁹.

Помета на статье В.Воровского сделана Горьким на странице юбилейного сборника “Максим Горький” (Кооперативное издательство писателей “Никитинские субботники”.— М., 1928)³⁰.

Анализируя в 1909 г. творчество Горького, Воровский выделил в нем три периода: первый — рассказы и повести 90-х — начала 900-х годов, в основном посвященные изображению босячества,— период, завершившийся пьесой “На дне”; второй — цикл пьес об интеллигенции, третий — новый этап, связанный с пьесой “Враги” и повестями “Мать” и “Исповедь”. Подытоживая характеристику первого этапа, критик называет “На дне” одним из “самых значительных произведений Горького”, играющим “очень важную роль в развитии самого автора”³¹.

Критик отмечает в пьесе отход от романтизации босяков, представляющих “жалкими, несчастными, исковерканными людьми”, которые бросили обществу “свою — вернее, авторскую — правду”, и теперь “им необходима исцеляющая правда жизни. И автор подсылает к ним Луку — этого шарлатана гуманности, бессмертный тип лживого успокоителя страдающих, жаждущих забвения во лжи”³². Такая оценка критика близка горьковскому отношению к “утешительству” Луки.

Но далее Воровский пишет: «И тут перед нами открывается другая, весьма важная сторона пьесы “На дне”: это — то искание правды, которое отныне становится в центре литературной деятельности М.Горького. Обездоленным и отверженным несет он словами Луки призрачную правду фантазии, противопоставляет ее реальной правде жизни... Это евангелие миражей, которое со времени Христа несли обездоленным массам все реформаторы, проскальзывает у М.Горького с самого начала его деятельности»³³. Сопоставляя раннюю аллегорию “О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины”, где чиж протестует против “правды” дятла, которая “камнем ложится на крылья”, со словами Клеца о горестной правде реальной жиз-

ни, не нужной ему, критик пишет: “Это бегство от неприглядной действительности: сильных — в небеса! (“Песня о Соколе”), слабых — в царство фантазии, и есть единственный выход и вместе с тем примирение с жизнью, какие дает М.Горький в первый период своей деятельности”³⁴. Подчеркнув и сопроводив на полях знаком вопроса эту итоговую оценку первого периода своего творчества, Горький тем самым выразил свое несогласие с ней³⁵.

2

Пометы на письме Л.Андреева и статье Д.Мережковского “Не святая Русь” связаны с критикой нового этапа творчества Горького — его произведений 1910-х годов.

Л.Андреев в письме к А.В.Амфитеатрову от 14 октября 1913 г., раскрывая свою эстетическую позицию, выразил критическое отношение к творчеству Горького последних лет, имея в виду, вероятно, с одной стороны, “окуровские” повести, а с другой — “Сказки об Италии” и рассказы из цикла “По Руси”.

Об этом суждении Андреева Горький вскоре узнал из письма Амфитеатрова к нему от 16 ноября 1913 г., на что ответил: «Весьма заинтригован я его “теоретической исповедью”, интересно — куда его теперь влечет»³⁶.

Впервые письмо Л.Андреева было опубликовано (по копии, не полностью и неточно) в сб. “Реквием. Памяти Леонида Андреева” (М., 1930). Именно эта публикация и привлекла внимание Горького, причем в той ее части, где Андреев дает свою оценку Горькому-художнику.

Сближая Амфитеатрова с Горьким, он пишет: “И может быть, в этом ошибка. Ваша, Горького и других, что в момент перевооружения всех художественных и умственных сил Вы во что бы то ни стало стремитесь сохранить старые ружья и добрый, старый, дымный порох, который когда-то был так хорош! Вот я не могу без тоски думать о Горьком. Величайший романтик, огромный (и совсем не использованный) талант, первый, быть может, во всей литературе рыцарь пролетариата — он вверх и вниз катает Сизифов камень реализма, свой чудесный и вещей сон о пролетариате мучительно распяливает на четырех правилах арифметики, ... насилует жизнь своим романтическим псевдорелизмом” (с.261, 262).

Справедливо сетуя на бытописательный, приземленный, “догматический” реализм амфитеатровского толка, Андреев не ощутил в горьковских произведениях 1910-х годов усилившееся взаимовлияние двух основных художественных тенденций — объективно-реалистической и патетико-романтической и не принял органически присущего Горькому исторического оптимизма. Именно противостояние “космического пессимизма” Андреева горьковскому историзму было главной причиной их

“личного спора”³⁷. Потому Горький не мог не “ответить” на очень серьезное обвинение: спор шел не только о художественной форме, но и о глубинных основах мировоззрения. Он дал ответ в статье “О цинизме” (1931), в которой, многократно ссылаясь на свою статью под тем же названием 1908 г., подчеркнул, что продолжает мыслить, как и прежде, и что время подтвердило его правоту.

В 1908 г. Горький писал, что “современный цинизм одевается разнообразно,— всего грубее и наименее умно — в черный плащ пессимизма” (24, 8). «Сегодня я говорю то же самое, что говорил всегда,— писал он в 1931 г.— Мой друг, а затем мой “враг” Леонид Андреев в 1913 г. в письме к А.В.Амфитеатрову назвал меня “рыцарем пролетариата” — слова, конечно, слишком громкие и лестные, но они ведь сказаны только затем, чтоб сказать: “... он вверх и вниз катает Сизифов камень реализма, свой чудесный и вещей сон о пролетариате распяливая на четырех правилах арифметики. Ведь, в конце концов, реально только то, чего я не люблю, а то, что люблю и чего хочу,— всегда нереально”. Это напечатано в книге “Реквием”, издания “Федерация” и это — очень грустная ошибка Андреева; ему, как и всем, не следовало пренебрегать четырьмя правилами арифметики, правила эти — основа науки» (25, 379)³⁸.

Отзвуки полемики с Л.Андреевым есть и на страницах четвертого тома “Жизни Климса Самгина” в сцене вечера у Андреева (24. 519). В этом эпизоде Горький с беспощадной иронией изобразил хозяина и близких ему по духу гостей³⁹.

Подводя итоги этой полемики, следует подчеркнуть, что в предшествующие десятилетия Горький всесторонне оценивал всю сложность трагически мятежного, глубоко противоречивого и ярко самобытного творчества Л.Андреева, считая его “талантливейшим писателем современности”⁴⁰, за которым “навсегда останется место одного из оригинальнейших художников”⁴¹.

В 1930-е годы Горький излишне резко и односторонне подходил к андреевскому творчеству. Об усилении критического отношения Горького к творчеству Андреева в этот период свидетельствует еще одна помета в сб. “Реквием” на письме Андреева — В.В.Вересаеву в феврале-марте 1907 г. Сообщая о завершении рассказа “Иуда Искариот”, Андреев заметил, что написал “нечто по психологии предательства. *Горький одобряет*” (с.169). Подчеркнув эту оценку, писатель сопроводил ее знаком вопроса, как бы сомневаясь в ее верности. Но именно в середине февраля 1907 г. Горький оценил “Иуду Искариота” как “очень интересный” рассказ (29, 16) и опубликовал его в сб. “Знание” (кн.ХVI за 1907 г.).

В противоположность Андрееву Мережковский в статье “Не святая Русь” справедливо увидел в новом этапе горьковского реализма не голое жизнеподобие и бытописание, а глубинное постижение проблем и судеб русского народа, России в целом. Он рассматривал образ Бабушки как отражение “святой Руси” При этом он подчеркнул, что так высоко ценит повесть

не только “в художественном смысле” но и в “смысле религиозном”⁴².

Такой высокой оценки, исходящей от модернистской критики, еще не получали произведения Горького.

Впервые напечатанная в газете “Русское слово” (1916, 11 сент.), статья вошла в книгу Мережковского “Невоенный дневник, 1914-1916”. В личной библиотеке писателя хранится эта книга с дарственной надписью: “Алексею Максимовичу Горькому на память от автора 2 ноября 1918. Петербург”⁴⁴. Многочисленные пометы есть только на статье “Не святая Русь. (Религия Горького)”⁴⁵.

В статье Мережковский соотносит своеобразную религию бабушки с мировоззренческой позицией Горького и на их “тождестве” строит свою концепцию повести”. Приводя горьковские слова о том, что в детстве “Бог был самым лучшим и светлым, что окружало меня”, он пишет: «Так было в детстве, в начале жизни. Когда круг замыкается, то начало сходится с концом. Богом все началось у Горького — не Богом ли и кончится? Бог его — “бабушкин бог”» (с.10). Эта первая помета касается главной мысли статьи. Далее автор подробно анализирует особый характер “отношений” бабушки с богом, суть ее необычной религии — “любви к миру”, ибо для христианства “Любовь к миру — вражда Богу. А бабушка любит мир и бога вместе” (с.12). Горький отмечает те характеристики (взятые из повести), которые показывают не догматический характер “взаимоотношений” бабушки с богом: “бабушка — не святая, а грешная”, “окаянная”, “не умеет молиться, как следует”, говорит с богом “внушительно”, в то же время ее молитвы — “прекраснейшие акафисты божьей матери ...радость неизбывная яблоня в цвету” (с. 13, 14).

В отличие от догматической троицы — “отец, сын и дух”, “в этой бабушкиной, как будто нехристианской, “еретической” — отец, сын и мать. Неоткрытый, исповеданный, неполноценный лик духа — в лике земли-матери... Вот к чему она прикасается, “старая дура”, “безумная, безграмотная” (с.15)⁴⁶. И далее автор заключает, что в религии бабушки сходится «высота русского религиозного сознания с глубиной русской религиозной стихии. И опять всего удивительнее, что это схождение увидел — хотя бы слепо увидел, только нащупал — не христианин Толстой, не православный Достоевский, а “безбожный” Горький». При этом “безбожным” он называет Горького в кавычках, т.к. считает, что в своем “Детстве” он приближается к русским “богоискателям”.

В особой религии бабушки Мережковский увидел воплощение своих неохристианских идей, слияние “земного” и “небесного” начал; правда бабушки — это правда “святой Руси”. Но статья называется “Не святая Русь”. Правда “не святой Руси”, едва проступающая сквозь “звериный облик”, — это дедушкина правда. И Мережковский соотносит горьковскую концепцию “двух душ” русского народа с образами бабушки и деда, как бы

олицетворяющими восточное и западное начала в русском народе.

Статья “Две души” оказала воздействие на оценку “Детства” критикой, близкой религиозно-философским кругам, хотя в “Детстве” Горький-художник опровергал Горького-публициста.

Не за преувеличение начал восточного “пассивизма” в русской душе упрекал Мережковский Горького, а за недооценку роли религии для “безбожного” Запада. Горький, по мысли Мережковского, проявил “психологическую” неосведомленность, противопоставляя “религию, как абсолютное созерцание, науке, как абсолютному действию” (с.19). Мережковский был не согласен с мыслью Горького, что религия поработает, а наука освобождает личность. Он утверждает, что наука без религии невозможна: *“Когда человеческий разум утверждает, что он — все и ничего больше нет в человеке, ничего больше не надо, то сам разум становится безумием”* (с.20). Мысль о недоверии к интеллекту, попытка ограничить роль разума была глубоко враждебна Горькому, и он не мог не отметить это суждение Мережковского, хотя, конечно, имел в виду разум, одухотворенный чувством.

В образе деда Мережковскому видится “Россия новая, обращенная к Западу... И если, вообще, кто-нибудь забунтует в России, то уж, конечно, не бабушка, а дедушка”. Поэтому будущее за “грешной”, а не за “святой Русью”, ибо в том, что она “забунтует”, уже нет сомнений.

Мережковский почти полностью приводит ключевые слова из повести о “свинцовых мерзостях” и о “подлой правде”, которая “не издохла” и в которой “так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни”. Он цитирует слова о том, что *“сквозь этот пласт растет доброе... возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой”*. Выделяя эти слова, Горький, возможно, с удовлетворением отмечал, что критик уловил основную идею произведения. “Надо самому пройти сквозь тьму России, прошлой и настоящей, чтобы так говорить о светлой России будущей”, — замечает Мережковский. Он чутко подметил то новое мироощущение, новое философское осмысление жизни, которое принес в современную литературу Горький, и сделал из этого свой вывод: «Не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что “святой Руси” нет, верит, что святая Россия будет. Вот этою-то верою и делает он, “безбожный”, божье дело. Ею-то он и близок нам — ближе Толстого и Достоевского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким» (с.25).

В статье “Не святая Русь” Мережковский попытался сблизить свою религиозно-философскую концепцию с идейно-эстетической позицией Горького, примирить “новое религиозное сознание” с грядущей революцией и обрести союзника в Горьком⁴⁷.

К середине 1920-х годов относятся резкие оценки Горьким не только политической позиции Мережковского, но и его художественного творчества⁴⁸. Следует иметь в виду, что для Горького отношение к Мережковскому формировалось живой литературной жизнью, обнажившей их идейно-эстетическую непримиримость еще в конце 1890-х годов и остававшуюся неизменной, даже несмотря на попытку Мережковского стать “рядом” с Горьким⁴⁹. Известная категоричность горьковских оценок русского модернизма сказалась и на восприятии им творчества Мережковского⁵⁰.

Горький не осуществил намерения написать “самую злую” статью о своем творчестве. Тем больший интерес представляют немногие горьковские маргиналии на критических статьях и высказываниях о нем. Пометы писателя дают возможность выявить отдельные элементы самооценки и полемики, что и определяет их безусловную значимость.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Письмо Ф.Д.Батюшкову 8-9 окт. 1898. // Горький М. Собр. соч. В 30 т.— Т.28.— С.32.
- 2 Отдельные его одобрительные отклики на критику лишь подтверждают это. Особенно показательно письмо Горького Д.Н.Овсяннико-Куликовскому от декабря 1911 г. по поводу его статей о раннем творчестве писателя // Вестник воспитания.— 1911.— № 6, 8, 9. “В свое время я был весьма обласкан критикой,— писал Горький,— но — она не дала мне решительно ничего, кроме приятных эмоций, ничему не научила меня — позвольте сказать Вам, что впервые за двадцать лет литературной деятельности я испытал чувство глубокого нравственного удовлетворения, читая Ваши поучительные и как нельзя более современные статьи” М.Горький. Материалы и исследования.— Л., 1941.— Т.3.— С.135.
- 3 Как мы пишем.— Л., <1930>.— С.28.
- 4 Заметки (о личном) // Архив А.М.Горького.— М., 1969.— Т.12.— С.195.
- 5 Там же.— С.197.
- 6 Письмо А.М.Горького И.А.Груздеву 23 дек. 1927. // Архив А.М.Горького.— М., 1966.— Т.11.— С.158.
- 7 Там же. См. также письмо А.М.Горького — П.П.Крючкову от 23 дек. 1927 г. // Архив А.М.Горького.— М., 1976.— Т.14.— С.472; письмо к Н.К.Пиксанову от 31 дек. 1927. // АГ, ПГ-рл. 30-22.
- 8 См.: Личная библиотека А.М.Горького: Описание.— Кн. 1,2.— М., 1980.
- 9 См.: О г.Горьком и его героях; Еще о г. Максиме Горьком и его героях // Рус. богатство.— Кн. 9, 10, 1898.
- 10 Глубоко огорчило Горького возвращение рукописи “Ошибки” из редакции “Русского богатства” без каких-либо объяснений (см. п.Горького — В.Г.Короленко // Собр. соч.: В 30 т.— Т.28.— С.11). Н.К.Михайловский в письме к Короленко подчеркнул, что нашел в “Ошибке” декадентство, искусственность, “выдуманную произвольную психологию двух сумасшедших”. Короленко В.Г. Избранные письма.— М., 1936.— Т.3.— С.93.
- 11 Письмо М.Л.Гурвича — Горькому 18 февр. 1936 г. // АГ, КГ-рл. 8-10-1.
- 12 См. письмо М.Л.Гурвича — И.П.Ладыжникову 27 февр. 1936 г. // АГ, КГ-рл. 8-10-2.
- 13 АГ. ПГ-рл. 12-9-1. Вскоре Горький отправил адресату в подарок “Жизнь Клима Самгина” (см. помету на письме Гурвича — Горькому от 21 марта

- 1936 г. // АГ, КГ-рл. 8-10-3). О том, что в ЛБГ¹ хранится именно этот экземпляр книги, свидетельствует штамп на титульном листе "Практические курсы бухгалтерии М.Л.Гурвича. Симферополь, Тавр. губ."
- 14 Михайловский Н.К. Отклики.— Т.2.— С.339.
- 15 Там же.— С.393. Цитируемые слова об "иглах декадентства" говорит герой рассказа "Ошибка" Ярославцев ("декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное").
- 16 Короленко В.Г. Письма (1888-1921) / Под ред. Б.Л.Модзалевского.— Пб.: Время, 1922.— С.55. Об отношении Михайловского к рассказу "Ошибка" см. также в ст. М.Г.Петровой — Н.К.Михайловский и критика "Русского богатства" в кн.: Горький и его эпоха. Исследования и материалы,— вып.2.— М., 1989.— С.175-179.
- 17 М.Горький. Материалы и исследования.— Т.3.— С.135.
- 18 Вестн. воспитания.— 1911.— № 6.— С.12.
- 19 Вошла в кн.: *Иванов-Разумник Р.В.* Литература и общественность.— СПб.: Прометей, (1911).
- 20 Там же.— С.38-39.
- 21 Вошла в Полн. собр. соч. Н.К.Михайловского.— СПб., 1913.— Т.10.— С.1073-1077. См.: *Балухатый С.Д.* Критика о Горьком, (1893-1932).— Л., 1934.— С.87. На эту рецензию тогда же возразил Вл. Кранихфельд в статье "Мещанство и его значение" (Образование.— 1902.— № 7-8), назвав высказывание о "каламбуре" Горького "странным обвинением".
- 22 В то же время статьи о Горьком во всех энциклопедиях зафиксированы: И.Игнатова — в энциклопедии Гранат (М., 1913.— т.16); И.Беспалова — в Лит. энциклопедии (М., 1929.— Т.2); Н.Пиксанова и А.Луначарского в БСЭ (М., 1930.— Т.18).
- 23 Большая энциклопедия / Под редакцией С.Н.Южакова.— 4-е изд.— (1905).— Т.7.— С.339.
- 24 Там же.— С.338-339.
- 25 Горький М. Статьи 1905-1916 гг.— 2-е изд.— Пг., 1918.— С.185.
- 26 Подбор книг в Горках свидетельствует о том, что там были собраны в основном приобретения последнего периода жизни писателя — большое количество изданий "Academia", ряд книг, выписанных Горьким по антикварным каталогам "Международной книги" в 1934-1935 гг., а также Большая энциклопедия и Энциклопедический словарь Гранат.
- 27 См.: Письмо А.М.Горького — А.К.Виноградову 19 нояб. 1931 г. // АГ, ПГ-рл. 8-19-35.
- 28 Напечатана в сб.: Из истории новейшей русской литературы.— М.: Звено, 1910.
- 29 См.: Письмо А.М.Горького — Н.И.Иорданскому 14...16 (27... 29) янв. 1911. // Горький М. Собр. соч.: В 30 т.— Т.29.— С.154.
- 30 В сборник, открывающийся библиографическим очерком Е.Ф.Никитиной, вошли ранее опубликованные статьи В.Воровского, А.Луначарского, П.Лебедева-Полянского, В.Фриче, А.Воронского, Вяч.Полонского, М.Неведомского, Г.Плеханова, И.Кубикова.
- 31 Максим Горький.— М., 1928.— С.41.
- 32 Там же.— С.42.
- 33 Там же.
- 34 Там же.— С.43.
- 35 В современном исследовании творчества В.В.Воровского подчеркнуто, что критик <не смог до конца понять социальную природу пьесы "На дне", так же как и революционную романтику знаменитой горьковской "Песни о Соколе">, и потому несправедливо его утверждение "о примирении Горького с действительностью". См.: Черноуцан П. Вступ. статья // Воровский В. Литературно-критические статьи.— М., 1956.— С.32-33.
- 36 Лит. наследство.— М., 1965.— Т.72.— С.542.

- 37 Там же.— С.404.
- 38 В комментарии к первой полной публикации письма Л.Андреева к А.Амфитеатрову (ЛН.—Т.72.— С.543) указано, что сб. “Реквием” с пометами Горького хранится в ЛБГ, но не отмечено, что помета сделана именно на этом письме.
- 39 К.Д.Муратова, подчеркивая “язвительность” этой сцены, отмечает, что Горький все же считал нужным “напомнить о неугасшей ненависти Андреева к миру мещан” (ЛН.— Т.72.— С.55).
- 40 Письмо А.М.Горького Е.К.Малиновской, после 28 марта (10 апр.) 1909. // Архив А.М.Горького.— Т.14.— С.330.
- 41 <О творчестве Леонида Андреева. “Сашка Жегулев”> Предисловие Горького к роману (ЛН.— Т.72.— С.404); см. также горьковский очерк-портрет “Леонид Андреев” // Горький М. Полн. собр.соч.— Т.16.— М., 1973.
- 42 Мережковский Д. Невоенный дневник (1914-1916).— Пг.: Огни, 1917.— С.9.
- 43 Анализ статьи Мережковского см. в ст. В.А.Келдыша.— Автобиографический цикл 10-х годов и его критика в кн.: Горький и его эпоха. Исследования и материалы.—Вып.2.— С.175-179.
- 44 В ЛБГ есть еще одна книга Мережковского Д. Было и будет. Дневник. 1910-1914.— Пг., 1916 с дарственным автографом Горькому. В АГ есть несколько писем Мережковского 1919 г. Все это свидетельствует о его попытке установить с Горьким контакт в связи с возможной постановкой в Петрограде пьесы Мережковского “Царевич Алексей” и предполагавшейся публикацией его романа “Александр I” (письма от 11 февр., 29 апр., 14 мая 1919. // АГ, КГ-п. 50-25-1, 2, 3). В то же время известны многочисленные критические оценки Горького не только религиозно-философских взглядов Мережковского, но и его художественного творчества как рассудочного и эклектичного.
- 45 По графическому характеру помет (не совсем аккуратные, более жирные, чем обычно у Горького, линии) составители “Описания ЛБГ” сочли их предположительно горьковскими. Мы полагаем, что, поскольку книга была подарена автором и Горький неоднократно упоминал о статье Мережковского (об этом см. ниже), для приведенной оговорки нет оснований.
- 46 В этой связи любопытна помета Горького на статье профессора Н.К.Кольцова “Родословные наших выдвиненцев”, опубликованной в “Русском евгеническом журнале”. Т.4.— М.: ГИЗ, 1926. Проследившая генеалогию Горького по его автобиографическим произведениям, ученый анализировал образ бабушки и делал вывод, что “она была одной из тех, которые рождаются единицами на многие тысячи женщин. *Евгенисту трудно найти лучший пример великого могущества среды, которая порою самому ценному генотипу не позволяет выжаться в сколько-нибудь соответствующем его ценности фенотипе*” (с.116) (генотип — наследственная основа организма, фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе индивидуального развития). Горького привлекла, вероятно, мысль ученого о чрезвычайной одаренности бабушки, проявлявшейся в исключительной своеобычности ее характера и поведения.
- 47 Отношение к этой мысли Мережковского Горький также высказал и в двух своих соррентийских заметках, сделанных не ранее 1925 г. Рассказывая о встрече в 1916-1917 гг. с проф. богословия А.В.Карташевым, он записал: <Мне показалось, что выспрашивает он по инициативе Мережковских — это было в те дни, когда Д.Мережковский напечатал статейку “Не святая Русь” и в конце ее заявил, что “мы — с Горьким”. Спасибо за компанию. Не ожидал> (Архив А.М.Горького.— Т.12.— 1969.— С.242).
- 48 См. письмо Горького — Д.А.Лутохину от 10 авг. 1924 г. // Архив А.М.Горького.— М., 1976.— Т.14.— С.390.

- ⁴⁹ Исключение составляет кратковременный “зигзаг” Горького, отразившийся в его письмах к А.Л.Волынскому (1897-1898), где он писал о своей глубокой заинтересованности идеей исторического романа Мережковского “Отверженный” (первая часть трилогии “Христос и Антихрист”) и “настроением ее автора” и выражал желание прочитать вторую часть трилогии — “Леонардо да Винчи” (см. письмо А.М.Горького — А.Л.Волынскому (1897, нояб.) // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX в.— М., 1975.— С.359).
- ⁵⁰ И все-таки, несмотря на негативное отношение к Мережковскому, Горький не мог не видеть его значительной роли в истории русской модернистской литературы. Поэтому он считал, что издание “Писатели современной эпохи”(М., 1928) должно включать в себя статьи о Мережковском (Горький М. О двух книгах // Известия.— 1928.— 11 сент.; см. также письмо П.С.Когана — А.М.Горькому от 16 сент. 1928 г. // ЛН.— Т.70.— С.210).

М.ГОРЬКИЙ И П.СЛАВЕЙКОВ

/Черты ницшеанства в образах романтических героев/

В истории плодотворных связей Горького с болгарской литературой (И.Вазов, П.Тодоров, Е.Пелин) творчество молодого поэта Пенчо Славейкова занимает особое место. Одновременно с Горьким он весьма интенсивно разрабатывает ницшеанские идеи и мотивы, отдавая дань всеобщему увлечению, и вместе с тем творчески их переосмысливает в полном созвучии со своими поэтическими представлениями и идеалами. Его ранняя поэма "Сердце сердец", которая является одной из лучших его произведений нравственно-философского содержания, имеет много точек соприкосновения с произведениями Горького. Поэма, как и рассказ "Макар Чудра", вышла в 1892 году. И это удивительное совпадение позволяет нам глубже проникнуть в творческий мир двух художников слова.

Пенчо Славейков не только хорошо знал и любил русскую литературу. Он переводил на болгарский язык Пушкина, Лермонтова, Чехова, Короленко, который в его жизни и творчестве, как, впрочем, и в жизни Горького-художника, сыграл значительную роль. Безусловно, не только литературная школа связывала внутренний художественный мир писателей, но историческое своеобразие эпохи, понимание общественной значимости личности писателя. Почти одновременно у них возникает интерес к философии Ф.Ницше, к его "книге книг"¹ "Так говорил Заратустра". И нам предстоит еще со всей объективностью, в полной мере осмыслить те внутренние потребности, которые толкнули их к этому сложному, противоречивому философу, культивировавшему в своем учении силу и отрицавшему жалость, на которой базируются основы этики человечности. На наш взгляд, было бы интересно в этом смысле рассмотреть и совпадение, и отличие взглядов Горького и Славейкова, тем более что их творческое становление проходило в одно и то же время.

В 90-х годах XIX столетия Фридрих Ницше был одним из самых модных философов не только на Западе, но и в России. Его идеи получили значительное распространение среди некоторой части русской интеллигенции. Как известно, М.Горького познакомил с немецким философом его друг Н.З.Васильев, который переводил книгу "Так говорил Заратустра", называя при этом философию Ницше "красивым цинизмом". Беседы со

старшим товарищем, по воспоминаниям писателя, породили в его сознании хаотический поток разнообразных чувств, противоречивших друг другу философских идей. Однако Васильев не помог Горькому разобраться в их истинной сути, считая, что свобода мысли единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. “Ею обладает тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности”².

Молодому писателю ничего не оставалось, как попытаться самому постичь сущность учения Ф.Ницше, его понятий о соотношении добра и зла, человеческого и античеловеческого в современном мире. Размышляя над тезисом, что объективный мир существует в сознании собственного “я” познающего его субъекта, Горький писал: “...возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает,— особенно — если бить кулаком по твердому, убеждаешься, что оно существует”³.

Приведенные выше слова свидетельствуют о том, что Горький действительно ничего “не принимал на веру”. Смысл многих сложных философских и нравственных вопросов учения Ницше он попытался, на наш взгляд, осознать в своем творчестве. Не претендуя на полное освещение этой темы, хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу рассказа М.Горького “Макар Чудра”. Тем более что время его написания практически совпадает с тем периодом, когда писателя особенно интересовала книга “Так говорил Заратустра”. Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. В рассказе “Макар Чудра” приводится песня Лойко Зобара, которая по своему ритмико-интонационному строю, форме, содержанию во многом напоминает одно из ранних стихотворений базельского профессора Фридриха Ницше “Без родины”. Приведем несколько строф из этих стихотворений.

Легкие быстрые кони
Без страха и трепета гонят
Меня сквозь даль равнин.
Кто видит меня, тот знает,
Кто знает, меня величает:
Безродный господин.
Гоп, гоп, гопля!
Звезда моя!
О счастье, не бросай меня!⁴

(Ф.Ницше)

Гей! гоп — гей!
Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одега степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей — гей!

Лети и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу луну!

(М. Горький)⁵

Еще более серьезные доказательства интереса Горького к Ницше можно привести, если остановиться на анализе главных героев рассказа — Радды и Лойко Зобара. Это “незаурядные”, “сильные”, “настоящие люди”, которые принимают жизнь такой, как она есть, с ее жестокостью, несправедливостью, считая, что они входят в жизнь как ее составные, неотъемлемые компоненты. Горький наделяет этих героев такими чертами, как властолюбие, себялюбие, утверждение грубой силы, власти “сверхчеловека” над окружающими людьми. Они умны, талантливы, проницательны, необычайно красивы. Эти качества позволяют им чувствовать свое превосходство. Орлицей ощущает себя Радда. Напомню, что у Заратустры орел — символ гордости. Также горд и красавец Лойко Зобар, слава о котором облетела всю Венгрию, Чехию и Славонию, “и все, что кругом моря, знало его...” Кажется, что самой природой эти люди были созданы друг для друга. Но когда к ним приходит любовь, их отношения резко отличаются от поведения “простых влюбленных” Каждому из них воля дороже любимого, каждый из них борется за власть над любимым. “Воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу”, — говорит Лойко Зобар. “Я хочу, чтоб ты был моим и душой, и телом”, — требует Радда⁶. Сознание своей обособленности не только не внушает им страха, но и не настраивает на трагический лад.

“Сила не ведает жалости”, — утверждает Ницше. И все поведение героев подтверждает эти слова. Радда сбила с ног кнутом своего возлюбленного, высмеяла его перед всем табором. Хорошие, удалые люди, они равны по силе. Даже признаваясь в любви к Лойко, она вооружена пистолетом, а он — ножом. В заключительной сцене, когда Лойко Зобар убивает Радду, девушка гордо говорит ему: “...Я знала, что ты так сделаешь”⁷. Вместе со смертью к Радде приходит победа. Мертвой Лойко поклонился в ноги перед всем табором. Ценой своей жизни утвердила Радда свою приобщенность к “сильным”. Преступление, совершенное Лойко, говорит о его слабой воле. Писатель так рисует величие Радды: “В воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды... А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар, они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой”⁸.

Создание этих образов помогло Горькому сделать для себя более определенные выводы об истинной сути “сверхчеловека” Фридриха Ницше. Несмотря на то, что поначалу он романтизировал и поэтизировал своих героев, в произведении довольно

отчетливо прослеживается и авторская позиция, хотя Горький выступает в нем в роли наблюдателя.

На протяжении всего повествования автор упорно употребляет слово “воля” и только единственный раз заменяет его словом “свобода”, да и то потому, что применение его дважды нарушало бы ритмический и интонационный строй фразы. В словаре Даля слово “воля” толкуется как “данный произвол действия”, а “свобода” — как “возможность действовать по своему”. Как видим, оттенки существенны. Есть и еще одна небольшая деталь. В рассказе фигурирует образ красавицы Нонки — “царицы-девки”. Своей надменной гордостью и красотой она отдаленно напоминает Радду. На вопрос Макара, нравится ли она юноше проходящему, тот отвечает отрицательно. По мере развития сюжета Радда награждается такими эпитетами, как “чертова девка”, “проклятая Радда”, “дьявольская девка” И наконец, и это, пожалуй, самое главное, народ не может объяснить поведение двух влюбленных: “Дивно это ... Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга...”⁹, — огорченно размышляет Макар Чудра. Удивлены и опечалены событиями старейшины табора. И как ни жалко им было своих красавцев-цыган, смерть Лойко от руки Данилы была ими принята, как справедливое возмездие. Народ высказал свое отношение к этим “господам земли”, к их “морали господ”, к их “воле власти” и вынес им свой приговор. Именно “простые люди” оказались вершителями их судьбы.

И все же у Горького были основания сказать в 1897 г., что Ницше “нравится ему”¹⁰. Возможно, благодаря интересу к учению этого философа Горький создал произведения, принесшие ему известность и признание в самом начале творческого пути. И в дальнейшем Горький не отринет совсем мировоззрения этого ученого, но истинное его отношение к философии Ницше можно выявить не при помощи умозаключений, а лишь только при тщательном анализе произведений этого сложного и во многом противоречивого и до конца не изученного писателя.

Ницшеанские идеи сильной личности нашли яркое художественное выражение и в раннем творчестве П.Славейкова. Достаточно назвать такие его произведения, как “Симфония безнадежности”, “Гимн о смерти сверхчеловека”, “Сердце сердец”, “Перикл” и другие. Особое место среди них, на наш взгляд, занимает поэма “Сердце сердец”.

В ней поэт со свойственной ему глубиной охарактеризовал те эстетические воззрения, которые привлекали его в философии Ф.Ницше.

В основу поэмы “Сердце сердец” Пенчо Славейков положил реальный факт гибели английского поэта Шелли. Как известно, он погиб на море во время бури, и его тело друзьями было предано огню. Но сердце Шелли не поддавалось пламени. И тогда один из друзей выхватил его из огня. Оно было захоронено в Риме, а на надгробии друзья сделали надпись “Сердце сердец”.

В произведении изображена группа молодых людей — иноземцев, которые ведут между собой философский спор. Среди них — прекрасный Шелли. Он самый яростный участник спора о смысле жизни, вдохновенно проповедует “светлые стороны” ницшеанской философии, несущей в себе черты творческого человека будущего, позволяющего человеку найти “вечные, универсальные основы человеческого существования” (Трубецкой)¹¹. При этом Шелли предстает перед нами как яркий живой образ, “дарящий добродетели” (Ф.Ницше), с прекрасным вдохновенным лицом романтика. Речь его, обращенная к друзьям, возвышенна и благородна. Глаза его “излучают силу таинственно суровую”, в них “отражается небо”. “Поверьте, лишь тот назвать себя счастливым вправе, в чьем сердце пламя истины горит и чистым светом озаряет разум”. Самое страстное желание — вести за собой людей к светлым целям. “Если мне чело ласкает солнце, его тепло я буду отдавать всему и всем, кого сковал мороз! Кто хочет греть людей, идем со мной!”¹². При этом он, как истинный ницшеанец, “сверхчеловек” непомерно горд тем, что в нем заложены благородные душевные качества. “Там, где простому смертному предел природа ставит,— там герой без страха свой новый путь уверенно начнет”¹³. Или “Сквозь гордый мрак плыву я с песней вольной, и сердцу моему сомненья чужды!”¹⁴. Напрасно пытается возразить Шелли его товарищ, который, судя по всему, высказывает в произведении тоже ницшеанские идеи, но несущие в себе культ силы и отрицание жалости. Для него смысл жизни — в эгоистической и эгоцентрической природе человека. Ведь в отличие от Шелли для него “правда поэтического сердца и правда жизни — вечных два врага”¹⁵. В его речи высказываются пессимистические мысли, и в то же время звучит такая же непоколебимая уверенность в себе, как у Шелли. С высокомерной иронией, в которой явно ощущаются высказывания Фридриха Ницше о “сверхчеловеке”, “человеке высшего типа, утверждающего культ силы и отрицающего жалость”, отвергает он возвышенные представления Шелли. “Нет, будь Монбланом! Вознесись над миром, оденься в лед и взором безучастным гляди на человеческий муравейник!”...¹⁶

Но между этими возвышенными гордцами встает третий спорящий, который становится как бы посредником между ними. В его высказываниях нет той горделивой безапелляционности, которой в полной мере обладают эти двое. Именно он замечает приближение бури и предостерегает Шелли об опасности. На возвышенные слова поэта он отвечает так: “Мечта небесная земного сына Не каждому дано взлететь над миром, не каждому дано подняться к солнцу ...”¹⁷ И далее: “Ах, если б не был человек так слаб! Но почему мы, сознавая слабость своих сердец и душ,— да, почему мы хотим быть сильными? И где найти ту силу, что дала нам крылья?” На что Шелли отвечает ему: “Та сила в нас. Познай ее в себе, уйди в себя, в

своем закройся сердце, как в храме жрец, и окрыли свой дух!"¹⁸.

Возвышенные слова Шелли прерывает налетевший смерч. Но тот продолжает: "... В любую непогоду — верю, знаю! — я выйду на счастливый берег! ..." ¹⁹. Однако пророчество поэта не сбывается. Именно в этот момент его поглотила буря, которая разыгралась на море.

Друзья в глубокой скорби предают тело Шелли огню. И здесь происходит чудо: энергия сердца поэта оказалась сильнее энергии огня. Один из друзей "приблизился к костру и выхватил из углей горячий живой комок. Дрожа он поднял руку — в ней трепетало сердце... бесценный дар, принадлежащий миру"²⁰.

Произведение Пенчо Славейкова "Сердце сердец" очень тесно соприкасается и с другим горьковским произведением, "Старуха Изергиль", где главный герой — поэт и пророк Данко. В статье "Романтика М.Горького в контексте современности", напечатанной в сборнике ИМЛИ "Новый взгляд"²¹, был дан генезис образа Данко, который еще не был исследован нашим горьковедением. Мною были рассмотрены следующие вопросы: истоки образа, его связь с эпохой, с жизненными впечатлениями писателя, а также влияние на него русской и мировой классики, христианской литературы и философии. Здесь же я бы хотела затронуть только философский аспект, который, на мой взгляд, позволит полнее ощутить общность взглядов Горького и Славейкова в исследуемом нами вопросе.

В своем очерке "О вреде философии" Горький писал, какое огромное впечатление произвели на него фантастические картины антропогенеза, созданные древнегреческим философом Эмпедоклом. "Я видел нечто неопишимо страшное: внутри огромной бездонной чаши, опрокинутый набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лица, идут человеческие ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно пауки, а ветки и листья живут отдельно от них: летают разноцветные крылья... — все видимое мною, внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно. В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел величественно движутся, противоборствуя друг с другом, Ненависть и Любовь..., от них изливается призрачное голубоватое сияние, напоминая о зимнем дне в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенным светом"²².

Этот древнегреческий ученый, поэт и философ произвел большое впечатление и на известных современников Горького. Говоря о духовном облике Эмпедокла, Ромен Роллан подчеркивал, что в нем "есть нечто современное". В понимании Стефана Цвейга Эмпедокл, как поэт, как истинный гений, осенен благодатью слияния со Вселенной, благодатью "небесного родства",

“вечной природой” Фридрих Ницше дал ему очень высокую оценку: “нет суждений более ценных для будущих эпох, как те, что высказал Эмпедокл”

Интерес Горького к этому греческому философу, очевидно, был связан с его знаменитой философской поэмой “О природе”, где Эмпедокл все многообразие вещей сводит к четырем корням: земле, воздуху, воде и огню, причем последнему он отдавал особое предпочтение. По Эмпедоклу, “огонь” — не просто огонь, а “разумный огонь”, способный мыслить, а потому достойный, чтобы его называли “Богом и гармонией”.

Известно, что Горький был страстным “огнепоклонником”. Его ранние романтические герои зачастую были люди с “солнцем в крови”. Описывая горящее сердце Данко, писатель, по-видимому, отталкиваясь от Эмпедокла, имел в виду, что этот огонь был не столь материален, сколь духовен, а главное — разумен, ибо сердце Данко загорелось от великого и бескорыстного чувства любви к людям и горело ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы вывести людей из мрака. Огонь горящего сердца Данко не исчез бесследно, а соединился со вселенной и напоминает людям о герое Данко. О том, что “горящее сердце Данко” родилось в художественном воображении Горького под влиянием философии Эмпедокла, свидетельствует и то, что тема огня стала непреходящей в его творчестве, хотя он идет дальше, рассматривая “разумный огонь”²³.

Тема “живого огня” присутствует и в поэме Славейкова “Сердце сердец”. И ему, очевидно, была близка философия Эмпедокла. “Огонь священный не задует бури — мой идеал неугасим: он искра огня небес, божественный огонь”, — писал поэт в своей поэме. Только “разумный и духовный божественный огонь” мог понять силу и величие сердца Шелли и преклониться перед этим величием, не тронув сердца.

Объединяющим моментом в мировоззрении двух художников становится тема сердца, так глубоко раскрытая в их произведениях. Герои Горького и Славейкова в буквальном смысле умели “чувствовать сердцем”. И Данко, и Шелли своему сердцу подчинили ум, волю и рассудок. Их уравновешенный добрый ум в сочетании с добрым сердцем и дали им ту внутреннюю гармонию, которая смогла творить чудеса. И оба героя готовы принести свои сердца в жертву людям. Для того чтобы убедить своих соплеменников пойти за ним в поисках лучшей доли, Данко вырывает из груди свое сердце, которое “горело ярче самого солнца”. Готов вести людей за собой к лучшей жизни и прекрасный Шелли. И здесь мы видим сближение не только в мотивации поступков, но и в чертах характера.

Однако есть в раскрытии психологии этих героев существенный момент, о котором стоит, на наш взгляд, все-таки задуматься. Согласно христианской литературе, “единение ума с сердцем”, “хранение сердца умом”, “гармоническое соответствие между умом и сердцем” дает возможность человеческой личности испытать благодать, а в его высших проявлениях

сотворить чудо. Однако мы уже говорили, что в основу образа Шелли положены ницшеанские мотивы, и самый яркий из них — гордость. Гордость присуща и Данко, только не так ярко выражена она в его психологии. И потому, рассматривая генезис горьковского героя, у нас были все основания говорить о том, что в основе лежит толстовская мотивация “человеска — Бога”. Но в таком случае гордость, как известно, чувство не несущее гармонию, это дисгармоническое чувство, а если так, то ни о каком чуде речи идти не может, ибо чудо — понятие божественное. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля эти слова объясняются следующим образом: “чудо всякое явление, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы. Богу все чудеса доступны. Христос являл чудеса, исцеляя чудесами. Гордость качество, свойство гордого, надменность, высокомерие. Гордым быть, глупым слыть. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. В убогой гордости дьяволу утеха”., а гордость понятие сатанинское. А это не учли художники.

Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать следующие выводы.

На протяжении всей своей творческой жизни Горький был тесно связан с выдающимися представителями болгарской литературы: Тодоровым, Бакаловым, Славейковым, но из этой яркой плеяды писателей по своему внутреннему мироощущению и художественному настрою ему ближе всего был П.Славейков. В мировоззрении Горького и Славейкова, формировавшихся в одно и то же время, немало общего. Оба они испытали на себе влияние русской классики и пришли в мир большой литературы ярко выраженными романтиками. Их сближали философские интересы. Оба они обращались к учению древнегреческого философа Эмпедокла; проявили определенный интерес к философии Ф.Ницше, к его расплывчатому понятию о сверхчеловеке, о чем справедливо заметил С.А.Франк: “Ницше нигде не дал точного ответа на этот вопрос, нигде не охарактеризовал нам конкретнее своего сверхчеловека; это не входило в его задачи”²⁴. Поэтому писатели пытаются постичь его в своем творчестве. В таких произведениях, как “Макар Чудра” и “Сердце сердец”, они используют некоторые ницшеанские идеи, чтобы точнее уяснить для себя это сложное и во многом противоречивое учение, выразить свой взгляд на человека, его духовную и нравственную красоту.

Не прошли тогда еще молодые художники слова и мимо такой сложной темы в литературе, как “тема сердца”. Их ранние герои Данко и Шелли умели “чувствовать сердцем”.

Однако при раскрытии этой трудной темы не смогли писатели избежать одних и тех же неточностей. Так, внося в гармоническое единение ума и сердца дисгармоническое чувство гордости, они исключили, тем самым, понятие “чуда”, которое так ярко запечатлели на страницах своих произведений.

Безусловно, такая идейная и художественная близость во многом и объясняет ту большую симпатию, которую писатели питали друг к другу. Горький хорошо понимал и ценил силу таланта, большую поэтическую культуру Пенчо Славейкова. Вместе с болгарским народом он искренне переживал смерть поэта. В телеграмме, которую Горький послал Петко Тодорову в Софию, было написано: "Разделяю скорбь болгарского народа и Вашу, дорогой друг. Поэт — сердце народа. Он — бессмертен!"²⁵

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Пенчо Славейков. Собр. соч.— Т.7.— С.77.
- ² Горький М. Собр. соч. В 30 т.— М.,1954.— Т.25,— С.320.
- ³ Там же.— Т.25.— С.319.
- ⁴ Ф.Ницше. Собр. соч. В 2 т.— М.: Мысль.— Т.11.—С.813.
- ⁵ Там же.— Т.1.— С.12.
- ⁶ Там же.— С.14.
- ⁷ Там же.— С.15.
- ⁸ Там же.— С.16.
- ⁹ Там же.— С.13.
- ¹⁰ Речь идет об оценке романа Мережковского "Отверженный".
- ¹¹ Трубецкой. Философия Ницше.— М., 1904.— С.2.
- ¹² Славейков П., Яворов П., Дебелянов Д. Избранное.— М.: Худ. лит, 1979.— С.74.
- ¹³ Там же.— С.76.
- ¹⁴ Там же.— С.78.
- ¹⁵ Там же.— С.74.
- ¹⁶ Там же.— С.75.
- ¹⁷ Там же.— С.76.
- ¹⁸ Там же.— С.77.
- ¹⁹ Там же.— С.78.
- ²⁰ Там же.— С.80.
- ²¹ История советской литературы. Новый взгляд. По материалам Всесоюзной научно-творческой конференции.— Ч.11.— М.: Наука, 1990.— С.164-177.
- ²² Горький М. Полн. собр. соч.— М.: Акад. наук СССР, 1973.— Т.16.— С.201.
- ²³ Эта тема нами была подробно рассмотрена в журнале: Scando-slavica.— 1991.— tomus37.
- ²⁴ Франк С.А. Сочинения.— М.: Правда, 1990.— С.56.
- ²⁵ Летопись жизни и творчества А.М.Горького. /1906-1916- Вып.2.— Изд. АН СССР, 1958.— С.277.

М. ГОРЬКИЙ И ИЕРОНИМ БОСХ

(По материалам романа “Жизнь Клима Самгина”)

Творчество Горького органично связано с миром живописи. На рукописях его произведений нет рисунков, но “живопись словом” свидетельствует о его незаурядной одаренности живописца. Е.Б.Тагер в статье “О стиле Горького” отмечает: “Борьба за “физическую осязательность” образа была у Горького борьбой за “живописность” и “пластичность” языка. Эти метафорические термины прочно входят в его обиход. Он постоянно называл литературу “живописью словом” и повторял, что литератор “рисует людей словами, как рисует их кистью или карандашом” Книги Гонкуров напоминали ему “сухие, четкие рисунки пером”, а Бальзак — живопись маслом, и когда Горький впоследствии увидел картины Рубенса, он “вспомнил именно Бальзака”¹.

Общеизвестно увлечение Горького итальянскими художниками *trecento* и *quattrocento*. В романе “Жизнь Клима Самгина” будут упомянуты Леонардо да Винчи и Рафаэль. Но итальянская живопись не окажет влияния на художественный мир романа, ибо благодаря своему характеру не сможет послужить созданию его художественной системы. Своеобразие творческой природы Горького наложило отпечаток на выбор живописцев для изобразительного ряда романа, а также на их функциональное использование в сюжете.

Горький проявляет здесь, скорее, гениальную интуицию, чем сознательное стремление использовать в своем творчестве язык смежных искусств, ведь его знания в этих областях складывались стихийно, а художественный вкус не воспитывался с малолетства. Тем не менее, взаимопроникновение различных видов искусства можно назвать в ряду черт, присущих эстетике романа “Жизнь Клима Самгина”, а новые средства художественной выразительности несут в себе элементы психологической характеристики главного героя и многочисленных персонажей романа.

Потребность сопоставления творчества М.Горького с живописью Иеронима Босха вызвана, прежде всего, художественной системой романа “Жизнь Клима Самгина”. А.И.Овчаренко отмечал: “...в целях разоблачения Самгина Горький прибегает к необычайно смелым и очень сложным ассоциативным сближе-

ниями: Самгин и Иероним Босх... Такие ассоциации позволяют автору прорываться в почти недоступные глубины разорванного сознания и подсознания центрального персонажа”².

Таким образом, появление картин Босха отнюдь не исчерпывается его функцией как некоего изобразительного средства. Первоначально Иероним Босх функционирует в структуре романа буквально, т.е. как художник. Его картины видит Клим Иванович Самгин, приехавший в Германию отдохнуть от российской обстановки. К моменту встречи с картинами Босха Самгин находится в состоянии постоянного осмысления виденного в России. Европа манит его и как “колыбель культуры”, и как “колыбель подлинной свободы и демократии”. Переехав границу, Самгин мечтает “закрыть за собой какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нем”³ (24, 8).

Эпизод первой встречи Самгина с Босхом исподволь готовится Горьким. Сначала Берлин — и шире — Германия: “плотные ряды серых зданий”, “мелкий серый дождь”, забастовка носильщиков, сердитая и озабоченная этим толпа “рослых и толстых” людей; выхваченные Самгиным из толпы характерные типы и реплики; “Бальц пансион” и его хозяйка фрау Лизабет Бальц, олицетворение немецкого мещанства. Вся она — один большой пузырь совершенной формы, с “красным нарывчиком” наверху, из “трещины” которого “текут слова”: “социалисты это — люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии ее законных владельцев, но этого могут хотеть только евреи. Да, да — читайте Рихтера, это — здравый, немецкий ум!”; Германия не допускает революции...”; “Наш Кайзер гениален, как Фридрих Великий, он — император, какого давно ждала история” (24, 9).

Берлин, — с его “жесткими панелями”, “влажными стенами домов” в желтоватых пятнах солнца, Берлин военных, “коренастых, крупных каменщиков” и плотников “с грудями колесом” и деревянными, “как у военных” лицами, — этот Берлин, над которым серые облака время от времени “крошились мелким дождем”, — не понравился Климу Ивановичу, напомнив Петербург. Самгин шел “торговыми улицами, как бы по дну глубокой канавы, два ряда тяжелых зданий двигались встречу ему, открытые двери магазинов дышали запахами кожи, масла, табака, мяса, пряностей, всего было много, и все было раздражающе однообразно” (24, 12). По жанру эта зарисовка похожа на голландский натюрморт. Она не уступает ему своим колоритом и сытым изобилием.

Берлин, город “толстых”, заставляет Самгина вспомнить слова Лютова: “Германия — прежде всего Пруссия. Апофеоз культуры неумеренных потребителей пива” (24, 12).

Описание приезда Самгина в Берлин в день забастовки носильщиков и восприятие им города автобиографично. Неприятие Берлина, характеристика, данная Германии Владимиром Лютовым, напоминающим “человека Достоевского”, само ощу-

щение “сытости” буржуазного города, — всем этим Горький как бы следует “антимещанской” линии русской литературы (Горький, Достоевский)⁴.

...Клим Иванович Самгин решаст посмотреть музеи и уехать. Горький делает пояснение: “Живопись не очень интересовала Самгина. Он смотрел на посещения музеев и выставок как на обязанность культурного человека”, — обязанность, которая дает темы для бесед. Картины он обычно читал, как книги, и сам видел, что это обесцвечивает их” (24, 13).

И вот Самгин в музее живописи.

Он “на секунды” остановился “пред изображениями тела женщин”, равнодушно прошел жанровые картины:

“Самгин предпочитал жанру спокойные мягкие картинки доброжелательно и романтически подкрашенной природы. Не они ли это создают настроение незнакомой ему приятной печали?” (24, 13).

И опять, как и в процессе чтения, рой культурных реминисценций услужливо торопится к Самгину, тесно окружая его, не давая пробиться непосредственному впечатлению, сквозь их вязкую осведомленность. На сей раз — это стихи Тютчева, навеянные “сотнями красочных напоминаний о прошлом”, заключенных в “прохладе пустынный зал”:

“...Элизиум теней,
Безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам години буйной сей,
Ни радости, ни горю не причастных...”

Тютчев второй раз встречается нам в этом фрагменте романа. Двумя днями раньше Клим Иванович припоминает его “тревожный вопрос”: “о чем ты воешь, ветр ночной?” — и мольбу:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос...” (24,11)

Подспудное настроение, владеющее Самгиным, выражено этими строками Ф.Тютчева. Его поэзия, данная как бы в двух измерениях: ироническом (горьковском) и гармоническом (самгинским), — наряду с явственно звучащей антибуржуазной, антимещанской, антиобывательской интонацией, появившейся в описании Берлина и Германии, и составляют те “нервные узлы” значений, прикоснувшись к которым внимательный читатель сможет понять настроение Самгина и его суть.

...И тут возникает Иероним Босх.

По контрасту со “светлыми и прекрасными” тенями, “темноватый квадрат” его картины, равен непристойному крику, раздавшемуся в музейной тишине. Это крик причастности к “замыслам години буйной сей”. К ее радости и горю:

“Самгин остановился пред темноватым квадратом, по которому в хаотическом беспорядке разбросаны были странные фигуры фантастически смешанных форм: человеческое соединилось с птичьим и звериным, треугольник с лицом вписанным в

него, шел на двух ногах. Произвол художника разорвал, разъединил знакомое существующее на части и комически дерзко связал эти части в невозможное, уродливое. Самгин постоял перед картиной минуты три и вдруг почувствовал, что она внушает желание повторить работу художника, — снова разбить его фигуры на части и снова соединить их, но уже так, как захотел бы он, Самгин. Протестуя против этого желания и недоумевая, он пошел прочь, но тотчас вернулся, чтоб узнать имя автора. “Иероним Босх” — прочитал он на тусклой медной пластинке и увидел еще две маленьких, но столь же странных. Он сел в кресло и, рассматривая работу, которая как будто не определялась понятием живописи, долго пытался догадаться, что думал художник Босх, создавая из разрозненных кусков реального этот фантастический мир? И чем более он всматривался в соединение несоединимых форм птиц, зверей, геометрических фигур, тем более требовательно возникало желание разрушить эти фигуры, найти смысл, скрытый в их угрюмой фантастике. Имя — Иероним Босх — ничего не напоминало из истории живописи. Странно, что эта раздражающая картина нашла себе место в лучшем музее столицы немцев” (24, 13-14).

Вопрос: “Что думал художник Босх, создавая... этот фантастический мир?” — задавал себе и Горький.

Ознакомившись с планом издательства “Academia” на 1935-1937 гг. он, в частности, высказывает следующее пожелание: “...очень хорошо бы украсить библиотеку “Academia” книгою Эсса де Кейрош и тоже хорошо дать рядом с Хогартом книгу о Иерониме Босхе — (художнике, который видел сытую голландскую жизнь как сплошной кошмар, как процесс дробления человека на куски)”⁵. Интересно, что здесь характеристика дается только Босху. Полагаю, это является свидетельством “засевшей гвоздем мысли” о содержании и значении живописи Босха. Кроме того, ощущение жизни как “кошмара” и “дробления на куски” текстуально совпадает: первое — с репликой Самгина (24, 14); второе — с его же мироощущением, доминирующим в 4-ой части романа, — и свидетельствует о прорвавшейся в официальный документ постоянной “работе мысли” над “Самгиным” и в том числе над местом живописи Босха в художественной системе романа. Само же восприятие Горьким живописи Босха как гротеска, призванного обличать “сытую” голландскую жизнь” — лишь одна из функций Босха в изобразительном ряду романа. Горький здесь отводит Босху роль обличителя всеобщего и вневременного мещанства (в том его понимании, которое было свойственно писателю). Но не только это.

...Итак, Самгин оказался безоружным перед картинами Босха. Он вышел с ними один на один, без цитатной защиты. И Самгин устремился на ее поиски. В киоске музея монографии о Босхе не оказалось. “В книжном магазине нашлась монография на французском языке” (24, 14). По-видимому, это несколько успокоило Самгина. Он вернулся в пансион фрау Бальц и,

пообедав жареным гусем, картофельным салатом и карном, закурил и лег на диван, “поставив на грудь себе тяжелую книгу”. Клим Иванович испытывал потребность встретиться с работами Босха истолкованными словом, встретиться с картинами в пересказе. И он был вправе ожидать этого от монографии, тонко подметив еще в музее, что Босх “как будто не определялся понятием живопись”. А встреча с книгой для Самгина — это встреча с давно известным ему соперником и собеседником. Над ним, как мы помним, Клим Иванович умел молча смеяться и не верить ему, с ним он умел молча спорить.

И вот с репродукцией монографии чередой на него устремились “крылатые обезьяны, птицы с головами зверей, черти в форме жуков, рыб и птиц; около полуразрушенного шалаша испуганно скорчился святой Антоний, на него идут свинья, одетая женщиной, обезьяна в смешном колпаке; всюду ползают различные гады; под столом, неведомо зачем стоящем в пустыне, спряталась голая женщина; летают ведьмы; скелет какого-то животного играет на арфе; в воздухе летит или взвешен колокол; идет царь с головой кабана и рогами козла... в каждой картине угрюмые, но все-таки смешные анахронизмы.

“Кошмар” — определил Самгин и с досадой подумал, что это мог бы сказать всякий” (24, 14).

Ответа нет. Книга не успокоила Самгина.

Не найдя ответа на мучивший его вопрос, Клим Иванович вспоминает: в тексте монографии было указано, что “картины Босха очень охотно покупал злой и мрачный король Испании, Филипп Второй. “Может быть царь с головой кабана и есть Филипп”, — подумал Самгин. — “Этот Босх поступал с действительностью, как ребенок с игрушкой, — изломал ее и затем склеил куски как ему хотелось. Чепуха. Это годится для фельетониста провинциальной газеты. Что сказал бы о Босхе Кутузов?” (24, 14-15).

Так единственный раз, благодаря Босху, Самгин мысленно ставит рядом Филиппа II и Кутузова. Ему одинаково интересно: за что любил Босха деспот Филипп II Испанский и что сказал бы о нем большевик Кутузов. Ответы на вопросы близкие по смыслу Самгин будет искать и ставить, но никогда больше не свяжет их решение с этими двумя именами. Единственное ощущение, которое он испытал, ассоциируя цепочкой (Кутузов, дым отсыревшей папиросы, дым отечества, в отечестве проливается “слишком часто и много” крови ради “попытка выскочить из царства необходимости в царство свободы...”, “царство свободы” — это социализм. “Что обещает социализм человеку моего типа? То же самое одиночество, и, вероятно, еще более резко осязаемое...” (24, 15), — было ощущение одиночества как “классового чувства”. Одиночество в реальной истории прежде, чем одиночество в жизни, — вот что вынес Самгин из странного сопоставления Филиппа II со Степаном Кутузовым, размышляя о живописи Босха в Берлине.

И все же почему Кутузов? Быть может потому, что Кутузов хочет “соединить несоединимое” в политической жизни и судьбе России, как это сделал Босх на своих полотнах? Перед “темноватым квадратом” картины Босха Клим Самгин стоит как перед рентгеновским аппаратом. Босх высветил в Самгине главное — то, что и для самого Клима Ивановича было туманным, сокровенным,— его желание соединить в России части политического целого так, как захотел бы он, Самгин, соединить “правильно”, не так, как хочет Кутузов,— а в несоединимых людях — найти общее, которое объясняло и упрощало бы их. Ведь “большинство людей — только части целого, как и на картинах Иеронима Босха. Обломки мира, разрушенного фантазией художника” (24, 20). Босх пугал, ибо казался Самгину “двойником”, зеркалом механизма его психики.

Итак, фраза о “царе с головой кабана и рогами козла” является, пожалуй, переломной для существования Босха в художественном мире романа. От этого персонажа картины у Самгина возникает ощущение подтекста. Ведь первоначально Самгин воспринимает Босха как художника. Его картины удивляют. Они ни на что не похожи. Они “засели в голове” и требуют культурной адаптации. Далее,— Босх становится достоянием жизни сознания главного героя романа,— и, освоенный этим сознанием, понятый настолько, насколько это возможно для данного “воспринимающего сознания”, уже определяет собой другие явления. Это, прежде всего, явления социальной жизни, затем, пейзажи и портреты персонажей. Сущность творчества Босха, воспринятая Самгиным, в том числе из подтекста его картин, становится художественным приемом, предназначенным для психологической характеристики.

Однако на каком-то этапе чтения фрагмента о Самгине в Берлине, начинает казаться, что жизнь Босха в его, Самгина, сознании кодирует целые темы, что имя Босха является ассоциативным символом этих тем. На такую мысль наталкивает следующее наблюдение. Размышления Клима Ивановича, даваемые Горьким всегда в кавычках, перемежаются с описанием настроения Самгина во время этих размышлений. Описания контрастны по интонации: “рефлексия” героя, по сути, трагична, в то время как авторская оценка состояния и настроения Клима Ивановича в момент размышления — иронична. Это создает “снижающий” эффект: серьезность затронутых в размышлениях героев вопросов как бы затушевывается, и читательское восприятие скользит мимо этого вопроса, мимо темы и может так скользить вечно, следя лишь за внешней канвой событий. Но все же контраст между серьезностью темы размышления героя и ироническим восприятием этих размышлений автором обращает на себя внимание и заставляет задуматься. В романе существует еще один способ кодирования темы — это прямой вопрос. Вот Самгин вспоминает, что “картины Босха очень охотно покупал злой и мрачный король Испании, Филипп Второй” и спрашивает себя, глядя на одну из репро-

дукций: “Может быть царь с головой кабана и есть Филипп...” (24, 15). Следующий вопрос, который задает сам себе Самгин: “Что нравилось королю Испании в картинах Босха?” (24, 15). Конечно, мы можем ответить на этот вопрос для себя, но не мы ставим этот вопрос перед собой, а герой романа. И он оставляет вопрос без ответа, хотя бы элементарного. Вместо этого Самгин задает себе следующий вопрос: “Что сказал бы о Босхе Кутузов?” В связи этих прямых вопросов, обращенных героем к самому себе и обнаруживается тема, требующая раскрытия, — эта тема “художник и власть”. Она рождается в Самгине из “толчков непонятной тревоги”. Этот вопрос не дает ему уснуть. Нам не известен ход мыслей героя. Мы можем о нем лишь догадываться. Вопрос задал тему в закодированном виде, а ее раскрытием является “цитатность имен и сюжетных положений”⁶: Босх — художник, Филипп II — деспот.

Напрашивается вопрос: сложилось ли у Горького восприятие художественной системы Босха в процессе тщательного изучения его наследия, или постижение художественного мира полотен Босха произошло интуитивно, эмпирически? Имеются лишь скудные архивные свидетельства, дающие возможность получить некоторое представление о том, как происходило знакомство Горького с Иеронимом Босхом.

Имя Иеронима Босха появляется в четвертой, последней части романа “Жизни Клима Самгина”. К работе над ней Горький приступает в конце 1932 г., спустя 2,5 года после окончания первых трех. Однако имеются и более ранние свидетельства интереса Горького к творчеству Босха. Вероятно, некоторые его картины он видел в берлинском музее живописи, с остальными познакомился в репродукциях. Точных сведений о том, какие именно картины видел Горький в Берлине, мы не имеем. Комментаторы романа “Жизнь Клима Самгина” предполагают, что в четвертой части романа Самгин знакомится в музее либо с “Искушением св.Антония”, либо с картиной “Grotesque Figuren” (“Греческие фигуры”) (25, 446).

Известно также, что в 1906 г. в Берлинском музее живописи экспонировалась картина Босха — “Святой Антоний с горным ландшафтом и фантастическими фигурами”, а в 1907 г. музей приобрел вторую его картину: “Святой евангелист Иоганн на Патмосе”, однако, неизвестно, застал ли Горький в 1922 г. в экспозиции музея именно эти картины.

Итак, когда впервые и какие картины Босха увидел Горький — неизвестно. Можно говорить лишь о том, что Горький знал и имел в своей библиотеке репродукции Босха и монографию о нем. У сына он подмечал похожие наклонности к гротеску. 25 декабря 1922 г. он пишет Е.П.Пешковой, что Максим обнаруживает оригинальные способности “сочинять сумасшедшие картины в стиле Босха”⁷. В 1924 г. Горький дарит сыну на Рождество альбом Босха с дарственной надписью: “Подарок отца на елку: 25.XII.24”. Это книга Курта Пфистера /Pfister K. Nieponymos Bosch-Potsdam:Gustav Kiepenhever Verk,

/1922/8. А после смерти Максима Алексеевича напишет о нем Р.Роллану: "...Он был даровит. Обладал свособразным, типа Иеронима Босха, талантом художника..."⁹.

В процессе работы над романом "Жизнь Клима Самгина" Горький жадно ищет и трбует от своих друзей и знакомых книг о творчестве Босха.

В ответ на "ругань" Горького (Будберг не выполнила его поручений относительно книг), Мария Игнатьевна отвечает в декабре 1932 г. из Эстонии: "...Тер обещал послать книжки и монографию о Босхе Pfister'a"¹⁰. В марте 1933 г. она же пишет из Лондона: "...Но вот, например, и относительно Bosch'a: Nachette никогда не издавал монографии о нем, так мне, по крайней мере, сказали в Париже у них. Здесь я нашла не очень хорошее, но крупное издание, стоящее 6 фунтов. Послать Вам его? Напишите..."¹¹. В конце февраля 1936 г. Горький получает из Лондона от М.И.Будберг два письма подряд. В одном — она пишет: "...Посылаю Вам Босха, найденного в Париже. Кажется то, что вы хотели"¹³.

В ноябре 1935 г. Горький посылает П.П.Крючкову переведенный на русский язык ответ Ромена Роллана на свое письмо, из которого следует, что Алексей Максимович обратился к Р.Роллану с просьбой сообщить ему библиографические данные о книгах, посвященных Иерониму Босху. П.П.Крючкову пересылается роллановский список биографий Босха, вышедших к тому времени на французском и немецком языках. Это книги М.Госсара (Жером Бош, Лилль, 1907 г.); П.Лафона (Иероним Бош, Брюссель, 1914), Вальтера Штюрмейера (И.Бош, Мюнхен, 1923) и Макса Фридендера (Геертген ван Гаарлем и Иероним Бош, Берлин, 1927). Список литературы снабжен припиской Горького: "Дорогой П/етр/ П/етрович/ — пожалуйста, вышлите мне эти книги, — если возможно — скорее! А/лексей/ П/ешков/"¹⁴. Мы не располагаем свидетельствами о том, что Горький получил и прочел книги из роллановского списка, однако, в ткань горьковского романа живопись Босха вошла.

Самгин, как мы видим, определяет для себя его живописью явления социальной жизни. Однако большой интерес представляет также сопоставление полотен художника с пейзажем и портретом у Горького, ибо, как уже отмечалось выше, "цитаты" из его полотен становятся художественным приемом, предназначенным для психологической характеристики.

Горький воссоздает действительность, используя живописные образы. Пример тому — изображение природы, имеющее много точек соприкосновения с нидерландской пейзажной живописью. Для того, чтобы лучше ощутить разницу в пейзажных зарисовках между романом "Жизнь Клима Самгина" и произведениями более ранними, сравним их с описанием пейзажа "Сказок об Италии" и проследим эволюцию Горького.

В "Сказках об Италии" Горький смотрит на природу как уральский подмастерье, который в детстве с избытком налюбо-

вался самоцветными камнями, яшмами и сердоликами; заслушался народных сказок; настоялся в церквях и храмах в тесноте и свечном мерцании тяжелых чеканных серебряных и позолоченных окладов. Ощущение природы как мастерской, как чего-то рукотворного (из-за овеществленных сравнений цвета) присутствует в ранних горьковских пейзажах:

“Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день; весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя — топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, рубинами на кумаче герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листе деревьев” (10, 147).

Позже подобное сравнение стало для Горького невозможным, но “овеществление” цвета сохранилось и перешло на качественно новую стадию. В романе “Жизнь Клима Самгина” Горькому уже свойственно ощущение фактуры цвета: Москва — “чудовищный пряник”, “рыхлый”, “припудренный опаловый пылью” (взгляд Клима Самгина), и она же — “парчовый город, богато расшитый золотистыми пятнами церковных глав” (взгляд Константина Макарова) (21, 269). Снежный пригорок в Русь-городе “пышно окутан серебряной парчей” (23, 124). В Петербурге — “желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа”, напоминает о “старой нотной бумаге” (21, 201). Часто встречается эпитет “жирный”, применительно к огню. Например, “масляные”, “жирные” блики огня на речной глади.

Пейзаж редко встречается в романе. Это обусловлено его структурой. Читателю романа передается только то, что может воспринимать Клим Самгин и только тогда, когда он это может делать. Поэтому изображение факта реального мира (действительности), окружающего Самгина (например, Клим рассматривает картину, незнакомого человека, ту или иную местность), одновременно является характеристикой самого Клима через способ восприятия наблюдаемого им факта. Внутренняя “раздробленность” героя ярко проявляется и в восприятии им природы, а значит и в пейзажных фрагментах романа. Эта “раздробленность” выражается в том, что Самгин не любит природу и не чувствует гармонического слияния с ней. Клим с детства не чувствует потребности в сближении с природой. В зрелые годы всеобщее восхищение ее красотами даже будут вызывать у него раздражение. Обнаружив в себе это чувство, Самгин предположит, что “равнодушие к природе внушила ему Лидия Варавка своею враждебностью к ней” (21, 269). Такова позиция героя.

Отсюда изображения природы в романе кажутся абсолютно чуждыми авторскому чувству. Они бесстрастно-объективны. Избранная повествовательная манера лишает их “романтической пышности вольной природы”, свойственной полотнам западноевропейских романтиков. Не пестрят они изысканными сравне-

ниями и тонкими суждениями о цвете, ибо их предназначение — дать скупую, но выразительную декорацию последовательному ряду “сцен”, или послужить поводом для диалога-спора персонажей. Таковы как сельские, так и городские пейзажи. Описания города как пространства встречаются у Горького довольно редко, хотя основное действие романа “Жизнь Клима Самгина” разворачивается именно в городах,— Нижнем Новгороде, Петербурге, Москве, Берлине, Женеве, Париже и Риге, в маленьких провинциальных городках. Если же городской пейзаж и появляется на страницах романа, то большей частью характеризует город с отрицательной стороны.

В городском пейзаже, как правило, подчеркивается духота, безликость, равнодушие, или мещанская сытость города. Так характеризуется Берлин, Петербург, Москва и родной город Клима. Чаше детали городского пейзажа даются обобщенно мимоходом: “туманный вечер”, “крыльцо неприглядного купеческого дома” (21, 199), или так: “окно комнаты смотрит на кирпичную стену”, или “стена трехэтажного дома, густо облеплена заплатами многочисленных вывесок” (21, 201).

Осмысление сельского пейзажа у Горького невозможно без сопоставления с традицией голландского пейзажа, берущей свое начало у Босха и Брейгеля.

Очевидно, что для Горького общая идея пейзажа выражается в первую очередь через его композицию, ведь именно пространственная композиция наиболее повествовательна. Здесь для него композиция важнее колорита.

В пейзажах Горького также несколько планов, он, как и голландцы также испытывает потребность в построении “панорамической” композиции с “завышенным первым планом”¹⁵.

“В лесу, на холме, он /Клим.— Е.М./ выбрал место, откуда хорошо видно было все дачи, берег реки, мельницу, дорогу в небольшое село Никоново, расположенное недалеко от Варавкиных дач, сел на песок под березками и развернул книжку... Но читать мешало солнце, а еще более — необходимость видеть, что творится там, внизу.

Около мельницы бородатый мужик в красной рубахе, игрушечно маленький, конопатил днище лодки, гулкие удары деревянного молотка четко звучали в тишине. Такая же игрушечная баба, встряхивая подолом, гнала к реке гусей. Двое мальчишек с удочками на плечах идут берегом, один — желтый, другой — синий. Вот шагает Макаров, размахивая полотенцем, подошел к мосткам купальни, свесил босую ногу в воду, выдернул и потряс ею, точно собака. Затем лег животом на мостки поперек их, вымыл голову, лицо и медленно пошел обратно к даче, вытирая на ходу волосы: казалось, что он, обматывая полотенцем голову, хочет оторвать ее на берегу реки стоял Турбоев и, сняв шляпу, поворачивался, как на шарнире, вслед Алине Телепневой, которая шла к мельнице. А

влево, вдали, на дороге в село, точно плыла над землей тоненькая, белая фигурка Лидии” (21, 326).

Безусловно, здесь можно говорить лишь о композиционном сходстве. С большой осторожностью — о сходстве “социально-го звучания пейзажа” (выражение Б.Виппера), но ни в каком случае не о философском, мировоззренческом отождествлении “модели мира”, изображенного Босхом, с “панорамическими” (от термина “панорамирует” (камера) пейзажем горьковского романа. Сравнивая символику пейзажных планов его полотен с пейзажами Горького, можно лишь утвердиться в том, что философского и мировоззренческого отождествления не может быть еще и потому, что пейзаж у Горького — лишь фрагмент эпического полотна романа, в его функцию не входит сжатая характеристика “модели мира”, в то время как у Босха — картина есть идейное целое, а не фрагмент.

Таким образом, сходство изобразительных планов, существующее между пейзажами Босха и Горького, не означает и не может означать внутреннего, т.е. философского родства. Причем, если в пейзаже это родство проявляется наиболее непосредственно (через “пейзажно пространственные” решения в романе), то в обрисовке портрета, социальных отношений и явлений в обществе Горький, используя реминисценции из Босха, проявляет свое зачатую неожиданное восприятие его живописи. Оно свидетельствует о том, что от подлинной трактовки сюжетов и символов картин Босха Горький далек, а с тонкостями современного ему искусствоведческого анализа был знаком недостаточно.

Для портретов персонажей, описания толпы или группы людей в последней части романа Горький избирает более жесткую гротесковую манеру. Теперь его персонажи, увиденные глазами “усталого”, “разбитого” и “встревоженного” Клима Ивановича Самгина, отдельными чертами, движением, позой или сумрачным колоритом словесного письма, порой, напоминают персонажи босховских картин. Вот Самгин едет в Ригу: “Вагон был старый, изъезженный, скрипел, гремел и подпрыгивал до того сильно, как будто хотел соскочить с рельс. Треск и судороги его вызвали у Самгина впечатление легкости, ненадежности вагона, туго нагруженного людьми. Три лампочки — по одной у дверей, одна в середине вагона — тускло освещали людей на диванах, на каждом по три фигуры, люди качались, и можно было подумать, что это они раскачивают вагон” (24, 413). У человека в вагоне лицо напоминает “благородную морду датского дога”. “Сумрак показывал всех людей уродливыми, и это очень совпадало с настроением Самгина” (24, 413). Он чувствовал, что опускается в бессмыслицу Иеронима Босха” (24, 413).

А вот Клим Иванович в Петрограде на квартире одного из членов Союза докладывает о своей поездке в небольшом собрании. Его слушают “десятка два мужчин и дам”. Один из

слушателей, названный Тагильским “мудрецом”, “сидел на стуле и, подсакивая, размахивая руками, ощупывая себя, торопливо и звонко выбрасывал слова... Его лицо, слепленное из мелких черточек и густо покрытое черным волосом, его быстро бегающие глаза и судорожные движения тела придавали ему сходство с обезьяной “мартышкой...” он непрерывно говорил, подсакивая, дергаясь, умоляюще складывая ладони, разводя руки, обнимая воздух, черпая его маленькими горстями, и казалось, что черненькие его глазки прячутся в бороду, перекачиваясь до ушей, опускаясь к ноздрям.

“В нем есть нечто от Босха, от гротеска”, — нашел Самгин, внимательно слушая тревожный звон слов” (24, 453).

Массовые сцены романа, всегда людные и в предыдущих частях, сейчас написаны эксцентрично, жизненное пространство до отказа заполняется мелкими фигурами разных людей, обозначенных, подобно босховской манере, с подчеркнутой социальной точностью. Таково описание июльской манифестации по Невскому к Зимнему дворцу (24, 367-369).

Всегда, когда нужно “объяснить необъяснимое”, Горький опирается на Босха. Наблюдая парад кокоток в Булонском лесу, Самгин думает: “Нужен дважды гениальный Босх, чтоб превратить вот такую действительность в кошмарный гротеск” (24, 87).

В финальной сцене романа Самгин, находящийся на ступеньках Таврического дворца, всматривается “в лицо толпы” и пытается вылепить из массы костлявых, чумазых, закоптевших, мохнатых лиц одно лицо: “Это не удавалось и, раздражая, увлекало все больше. Неуместно вспомнился изломанный разбитый мир Иеронима Босха, маски Леонардо да Винчи, страшные рожи мудрецов вокруг Христа на картине Дюрера ...” “...Нет,— каким должен быть вождь, Наполеон этих людей? Людей, которые видят счастье жизни только в святости?” (24, 565).

Напомним, что с именем Босха в романе связаны две темы: обличение мещанства и тема “художник и власть”. Несомненно одно: социальное чутье превалирует над культурой восприятия живописных полотен. Ощущение хаоса и распада, свойственное переломным эпохам, нашло свое выражение в сравнении Горьким современной ему эпохи с фантастическим миром Босха: “...Иероним Босх формировал свое мироощущение смело, как никто до него не решался...”, — думает Самгин (24, 55).

Ощущение одиночества, измельчения человека и всеобщего распада окружающего — главные ощущения для Самгина последней части романа. Самгин, явившийся по воле автора наблюдать “разлом” прежнего и рождение нового мира, такой Самгин изнутри раскрыт живописью Иеронима Босха.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Тагер Е. Избранные работы о литературе.— М.: Сов. писатель, 1988.— С.118-119.
- ² Овчаренко А.И. Горький и литературные искания XX столетия.— М.: Сов. писатель, 1971.— С.187.
- ³ Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25 т.— М.: Наука, 1975.— Т.24. Далее — ссылки на это издание даются в тексте; первая цифра обозначает том, вторая — страницу.
- ⁴ Долинин А. Поглядим на арлекинов. // Литературное обозрение.— 1988.— № 9.— С.18.
- ⁵ АГ, КГ-изд. 2-31-1.
- ⁶ Гинзбург Л. О литературном герое.— М.: Сов. писатель, 1979.— С.43.
- ⁷ АГ, ПГ-рл. 30-19-655.
- ⁸ АГ, Дн-Г-кн. 6-29-3.
- ⁹ АГ, ПГ-ин. 60-6-58.
- ¹⁰ АГ, КГ-рзн. 1-157-252.
- ¹¹ АГ, КГ-рзн. 1-157-256.
- ¹² АГ, КГ-рзн. 1-157-283.
- ¹³ АГ, КГ-рзн. 1-157-284.
- ¹⁴ АГ, ПГ-рл. 21а-1-459.
- ¹⁵ Кащук Л. Творческий метод Питера Брейгеля Старшего // Сб. Панорама искусств.— М.: Сов. художник, 1985,— № 8.— С.65.

ПЕРЕПИСКА М.ГОРЬКОГО С К.И.ЧУКОВСКИМ

*Подготовка текста Е.Ц.Чуковской и Н.Н.Примочкиной,
комментарии Н.Н.Примочкиной*

Первая часть переписки Горького с Чуковским, состоящая из 28 писем и двух приложений и охватывающая период с 1917 по 1921 год, напечатана в третьем выпуске серийного сборника “Неизвестный Горький (Горький и его эпоха. Исследования и материалы)” Публикуемая ниже вторая часть переписки, включающая в себя 7 писем Горького и 23 письма Чуковского, относится к 1926-1935 гг. Тексты писем печатаются по автографам, хранящимся в Архиве А.М.Горького ИМЛИ РАН. Почти все письма публикуются впервые. Отдельные случаи предыдущих публикаций оговариваются в комментариях.

29. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*Ленинград
Кирочная 7 кв.б.
5.IV.26*

Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Вечерняя “Красная газета” поручила мне попросить Вас, чтобы Вы написали для нее какой-нибудь фельетон или представили ей один из своих новых рассказов. Некоторый процент с валового дохода, полученного ею в тот день, когда будет напечатана Ваша статья, “Красная” обещает отдать *в пользу беспризорных детей*. Сумма может получиться немалая, — так как “Вечерняя Красная” имеет в Питере огромный тираж.

Должно быть Вы забыли, что у меня хранятся некоторые Ваши бумаги: конверты с письмами (от читателей “Новой жизни”, с Вашей надписью на одном из конвертов “Читатель отвечает”) и очень ценные фотографические карточки (“Вы и Лабриола”, “Вы и Марк Твен” и пр.), данные мне когда-то Марией Федоровной¹. Что с ними делать? Я полагал бы, что самое лучшее — передать их в Пушкинский Дом при Акад. Наук — с тем, чтобы они немедленно были предоставлены во временное пользование Илье Груздеву², который, как вы знаете, работает над Вашей биографией. Жду Ваших указаний.

Третье дело почти фантастическое. Вы знали когда-то портного Иосифа Наумовича Слонимского — и даже когда-то написали о нем несколько добрых слов в каком-то рекомендательном письме. Теперь этот Слонимский под судом³. Кажется, он дал кому-то какую-то взятку. Я, конечно, не знаю, кто прав, кто виноват, это решит суд, но — ко мне несколько раз прибегала его жена, и все плакала, что она не может разыскать какое-то Ваше письмо, где Вы очень тепло отзывались о ее несчастном муже. Если Вы и в самом деле знаете этого человека с хорошей стороны, не напишете ли Вы — хотя бы в письме ко мне — несколько хороших слов о нем — может быть, это облегчит его участь. Но, конечно, я не настаиваю: весьма возможно, что все разговоры о Вашей симпатии к нему — только “лыгенда”.

Сердечный привет Марье Игнатьевне⁴. (Я когда-то послал ей свои детские книжки, но, должно быть, она их не получила). И Владиславу Фелициановичу⁵: он вырос в колоссального поэта. Его последние стихи для меня — откровение!

Ваш Чуковский

30. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

<17 апреля 1926 г., Сорренто>
17'/III-26.¹

Будьте любезны, Корней Иванович, сообщить “Кр<асной> газете”: готовых рассказов у меня — нет; ни рассказов, ни статей писать не могу². Конверт с письмами читателей “Новой Жизни” ко мне, а также карточки Лабриола и Твэна передайте в Пушкинский Дом, если Вам это не трудно.

Портного Слонимского лично я не знаю, никогда не видел, но помню, что хлопотал о нем по какому-то поводу и по чьей-то просьбе. Сейчас ничего не могу сделать, ибо не знаю, что он сделал.

М<ария> И<гнатьевна> в Германии, когда возвратится — передам Ваш поклон.

Ходасевич — в Париже. Пишет в белых газетах плохие статейки и очень зло, очень несправедливо написал о С.Есенине в Совр<еменных> Записках³. А стихи он делает, действительно, — хорошо и все лучше.

Будьте здоровы.

А.Пешков

Читал “Профессора Зворыку”⁴. А стихи сын Ваш перестал писать?

А.П.

Sorrento.

31. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*Кирочная 7 кв.б. Ленинград
15 сентября <1926 г.>*

Алексей Максимович. Посылаю Вам свою книжку о Некрасове¹, так как писана она в те баснословные года, когда Вы помогали нам, литераторам, остаться литераторами. Если бы в 1919 году Вас не было в нашей среде, эта книжка — как и сотни других — не была бы написана. Не думайте, что я изъявляю благодарность, я просто “констатирую факт”.

Все бывшие у меня матерьялы, относящиеся к Вашей биографии, я еще весною передал в Пушкинский Дом. Получили ли вы от Дома офиц<иальное> уведомление об этом?

Вы спрашиваете о моем сыне. Так как со стихами ему некуда податься, он сделался чернорабочим: рецензирует для Госиздата новые английские и американские романы, получаемые из-за границы. В год прочитывает не меньше 80 романов. Кроме того, пишет повести для юношества, которыми до сих пор был так мало доволен, что не решался послать Вам. Но последняя его книга, которая выйдет на днях (о капитане Кукке — “исследование” по первоисточникам)², нравится ему больше других, и потому не удивляйтесь, если Вы получите ее. Он женат, счастлив, наивен, добродушен, круглолиц, работающ: ему 22 года, а он перевел уже около 20 англ. романов. Одна беда: он растет вне жизни. Мне хотелось бы двинуть его куда-нибудь — на Урал или в Мексику.

Жму Вашу руку.

К Чуковский

32. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

<28 сентября 1926 г., Сорренто>

Спасибо за книгу, Корней Иванович! И за комплимент — благодарю, хотя знаю, что не заслужил его.

Книгу прочитал с большой охотой, несмотря на то, что почти все было читано мною раньше.

Пушкинский Дом не уведомил меня о получении от Вас “материалов”, да это уведомление и не нужно мне. К тому же я забыл: какие это материалы?

Есть у меня к Вам просьба: не скажете ли Вы издательству “Кубуч”, чтобы выслали мне книгу

Арманди. Остров Паски¹.

Пожалуйста — скажите! А деньги Вам уплатит Груздев, которому я об этом напишу.

Будьте здоровы.

А.Пешков

Р.С. Жаль, что Чуковский II-й не может издать свои стихи². Но это и здесь — трудно. Ходасевич, написавший не мало прекрасных стихов, тоже не может издать их.

А.П.

28.IX.26.

33. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Вторая декада октября 1926 г., Ленинград>

Кирочная 7, кв.6

Алексей Максимович.

Получили ли “Остров Пасхи”? Я послал Вам эту книгу 17 октября. Оказывается, она имела огромный успех, — в КУБУЧЕ не осталось ни одного экземпляра. Знаете ли Вы, что переводчик “Острова” — Иван<ов>-Разумник¹?

Вы спрашиваете, что я отдал в Пушкинский Дом. Фотографические снимки: Горький и Лабриола, Горький и Марк Твэн, Горький в Нижнем, Г. в Риге. И кроме того — матерьялы, относящиеся к Вашей работе в “Новой Жизни” — два конверта с газетными откликами на Ваши “Несвоевременные мысли” и один конверт с письмами читателей (на нем Вашей рукой: “Читатель отвечает”).

Был я на днях в Москве — ездил к Екатерине Павловне². Так как моей безумной дочери Лидии³ теперь 18 лет, то вот пришлось и мне побывать на Кузнецком — у Ек. П. Кузнецкий мне во многом помог, но дочь от этой помощи отказалась — непременно хочет пострадать.

Екатерина Павловна подтвердила газетные слухи, что Вы уже дедушка⁴. Посылаю Вашему внуку мои детские книжки — пусть рвет! Я окончательно впал в детство: после того, как понял, что критика моя никому не нужна, пишу для детей и о детях. Сейчас кончаю книгу о детском языке⁵. И это письмо пишу Вам с той целью, чтобы узнать, с натуры ли списали Вы маленького Илью Артамонова⁶: были ли Вами подслушаны его разговоры с отцом, или Вы выдумали их “из головы”. (“Ты поди к бабушке”. — “Она сегодня чихает”. — “Еще я тебе помру”... — “Паша учится по-родному, а я по-чужому”). Мне это очень нужно знать.

Ваш К.Чуковский

34. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

<2 ноября 1926 г., Сорренто>

Я заинтересовался “Островом Пасхи” потому, Корней Иванович, что полагал: это отчет археологической экспедиции, работавшей там, кажется, в 22-23 годах. Оказалось, что это —

роман, да еще и плохой. Разумник Васильевич перевел? “Нужда пляшет...”¹.

Да, я уже дедушка, внуку мою зовут Марфа и, кажется, она будет комической актрисой. А, м<ожет> б<ыть> — художницей, эдак вроде Виже-Лебрэн², ибо уже и сейчас заинтересована живописью, любит тыкать пальцами в картины и рассказывать о них на неизвестном языке весьма забавные истории. Картины пишут ее родители, сын Шаляпина Борис, сын Бенуа и Соловей Ракитский³, и еще многие, в том числе Борис Григорьев, который, написав портрет Горького, придал рукам его какое-то масонское положение и еще раз — в свою очередь — прославил писателя⁴; теперь, здесь, говорят: “А.Г<орький>-то — масон, видите?”

И в “Артамоновых”, и в “Тараканах”⁵ детские слова, вероятно, сделаны мною, а, м<ожет> б<ыть>, я их слышал когда-то и “освоил”. Веру Инбер Вы, конечно, использовали⁶, но разрешите напомнить Вам рассказ Сергеева-Ценского “Не надо” и рскомендовать Юрезанского “Человек” из его книги “Зной”⁷.

Вашей дочери 18 лет! Правильно говорят люди наблюдательные: время — летит.

Будьте здоровы. Книжек для Марфы я еще не получил, а она их — не получит, ибо есть человечки старше ее и уже мало-мало грамотные. Замечательные⁸.

Всего доброго.

А. Пешков

2-XI-26.

Sorrento

35. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*Кирочная 7, кв. 6
(14 декабря 26 г.)*

Да, Алексей Максимович, положение Ваших рук на портрете Григорьева загадочно и вызывает толки. Снимки с этого портрета выставлены в Пушкинском Доме, и я, бывая там часто, заранее знаю, что, подойдя к портрету, зрители заноят в один голос:

— А что же он *руками*-то делает?

Всмотревшись, догадываются:

— Это он в ладоши. Оратору.

Но скажут и снова всматриваются: не слишком уверены.

Мне же этот масонский портрет очень нравится. И очень мне нравится тот снимок (тоже выставленный в Пушкинском Доме), где вы, задрав кверху веселую голову, братаетесь с Борисом Григорьевым¹. Очень бы любопытно взглянуть на этого маэстро теперь. Я знал его в древнее время, тогда он восхищал меня своей “сумасшедшинкой”, писанием стихов и любовью к Андрею Левинсону². Его рисунки и портреты я люблю до сих пор до волнения. Как-то привился он в Европе? Должно быть

его влияние очень большое, потому что я сейчас получил из Америки негритянский журнал, и там рисунки какого-то негра явно слизаны с Бориса Григорьева.

Получила Ваша Марфа мои книжки? Не удивляйтесь, если в скорости получите еще — для нее. Прислали бы Вы в Пушкинский Дом свой портрет — с Марфой на руках. Я очень хорошо помню в “Журнале для всех” тот ваш портрет, где Вы держите на коленях ее отца³.

Получил письмо от Сергеева-Ценского. Он в восторге от Вашего предисловия к его книге, вышедшей в американском издательстве⁴. Его, бедного, очень изругали в “Известиях”, и на него — в захолустье⁵ — эта ругань ужасно подействовала⁶.

Слыхали ли Вы о “Республике Шкид”⁷, которая выйдет на днях в Госиздате? Если хотите, я пришлю Вам эту книгу. “Шкид” это — Школа имени Достоевского для нравственно дефективных детей, то есть для мазуриков, карманников и пр. Двое из этих “дефективных” написали великолепную книгу для юношества, о своем пребывании в Шкиде. Написали весело и ярко. По-моему, эту книгу непременно надо перевести на все языки. Книга в своем роде потрясающая и, как человеческий документ, не имеет себе равных. Замечательно, что один из авторов этой книги (их двое: Белых и Пантелеев), уже во время ее печатания, снова совершил некий поступок, не одобренный милицией, и угодил в каталашку, где написал новую (самую лучшую!) главу своей повести.

Если книга понравится Вам, и Вы посоветуете перевести ее на английский язык, я могу найти переводчика: англичанина, знающего советский быт.

Литературных новостей у нас множество. Поэт Константин Вагинов написал отличный роман (очень угловатый и вычурный, но свежий)⁸. Миша Слонимский встал во главе “Прибоя”, который для писателей является теперь тем, чем в 18-м и 19-м годах было издательство Гржебина — единственным прибежищем. К тому столу, за которым сидит бедный, зеленолицый, замученный Миша, всегда тянется очередь писателей (не хуже, чем некогда в Дом ученых): в очереди Пяст, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Ник. Тихонов, Н.О.Лернер, Семен Грузенберг — все те же.

Сию минуту получил письмо от И.Е.Репина. Ему 83-й год, и он жалуется: “У меня теперь никакой памяти — когда возьму краску на кисть, то в тот же момент забываю место в картине: куда надо положить краску с кисти. Я и кладу ее обратно на палитру...”⁹.

Простите, что пишу Вам такое длинное письмо, но у меня есть к Вам дело: скоро исполнится 15 лет со дня смерти Ник. Фед.Анненского. Близкие к нему люди затевают небольшой сборничек его памяти и поручили мне спросить у Вас, не написали бы Вы несколько страниц об этом человеке¹⁰. Мне кажется, что еще никто по-настоящему не изобразил Н.Ф.-ча.

Короленко, помню, был так удручен его смертью, что не мог писать о нем — написал через силу¹¹. Кроме Вас некому восстановить этот облик.

Ну, больше не буду. Простите!

Чуковский

36. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Около 14 февраля 1928 г.>

Алексей Максимович.

Я уехал в монастырь; в деревню, так как в городе мне очень круто пришлось¹. И вот сегодня ночью я вспомнил одну вещь, о которой Вы, должно быть, позабыли. Как-то во “Всемирной” Вы сказали мне, вернувшись из Москвы, что Ленин видел мою работу над Некрасовым (стихотворения Некрасова, под моей редакцией)² — и сказал Вам, что вот такая работа нам нужна, это хорошая работа. Если бы Вы вспомнили это и черкнули об этом мне (Кирочная 7, кв.6), Вы сделали бы доброе дело — не только мне, но и всему нашему сословию писателей. Ведь я написал о Некрасове 50 печатных листов, разыскал *несколько тысяч* его неизданных строк, заполнил цензурные бреши почти во *всех* его стихотворениях, убил на эту работу пятнадцать лет — и вот теперь из-за каких-то взбалмошных капризов вся эта работа насмарку. Здесь задет не я, здесь задето все наше сословие. Простите неряшливость письма. Пишу ночью, нездоров, надеюсь, что Вы не взыщете.

Ваш Чуковский

Видел в Москве Бориса Волина³. Он показывал мне фотографию: Вы и Ваша внучка. Очень любопытная штука.

Видели ли Вы мою книжку “Маленькие дети”⁴?

Привет Марии Игнатьевне.

Ваш Чуковский

37. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Вторая половина марта 1928 г., Ленинград>

В ответ на Ваше письмо¹, Алексей Максимович, позвольте привести цитату из моей книги “Некрасов”²:

“...Но можно ли сомневаться, что везде и всегда — в этой схватке плебей и барина — конечную победу одерживал в нем плебей. Об этом говорят его стихи — от первой строки до последней. Об этом же свидетельствует его журнал “Современник”, который к концу пятидесятых годов он отдал в полное распоряжение разночинцев. Хотя после разрыва “Современника” с дворянской плеядой писателей Некрасов, по секрету от “новых людей”, тяготел к покинутым друзьям, тосковал по их

артистическим вкусом, причудам и вольностям, — тем больше ценности в его отречении от этой любимой среды. Начиная с 1860 года, он, если судить по “Современнику”, решительно зачеркнул в себе барина и поступил, так сказать, на службу к плебеям” (стр.60).

Затушевывать это значило бы умалить Некрасова — и затемнить основной мотив его стихотворений.

За Ваше письмо в “Правде” я, конечно, благодарить Вас не должен. Дико благодарить Вас за то, что Вы — Горький. Но не могу же я скрыть от Вас то огромное, почти невыносимое счастье, которое доставило мне Ваше письмо. И со мною торжествуют все писатели. Так и звонят мне по телефону подряд: Сейфуллина, Тынянов, Зощенко, Слонимский, Тихонов, О.Мандельштам... Они чувствуют, что Вы защитили не только меня, но и их. Они поздравляют не только меня, но и себя. Очень уж тягостно им без добросовестной и умной критики.

У нас, детских писателей, есть надежда, что Ваше письмо повлияет на “комиссию Гус’а по детской книге”³. Эта комиссия, состоящая в большинстве из педагогов, запретила почти все мои книги — “Муху-Цокотуху”, “Чудо-дерево”, “Тараканнице”, “Бармалея” и проч. Запрещены также книги наиболее талантливых молодых детских писателей — Ольги Бич, Эрлиха, Елиз.Полонской.

Странно видеть педагогов, которые с таким легким сердцем уничтожают — книги. Причем сами они еще не сговорились, во имя чего происходит это уничтожение книг.

Ваш *К.Чуковский*

38. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<29 июня 1928 г., Ленинград>

И я шлю Вам свой сердечный привет, дорогой Алексей Максимович, и вместе с тысячами других ленинградцев жду того дня, когда Вы приедете к нам¹.

Касьяна Вечернего² я знаю два года. Он пришел ко мне из Крыма от Сергеева-Ценского — пешком — и принес огромную тетрадищу самоделковых виршей. Признаюсь, я не чаял, что такой пожилой человек превзойдет свои первые (столь поздние!) опыты.

Но сегодня он принес мне новую тетрадь — и я с удивлением вижу, что он способен к дальнейшему развитию, к самосовершенствованию. В его новой тетради есть несколько отличных вещей.

Преданный Вам *Чуковский*

39. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Июль 1928 г., Ленинград>

Алексей Максимович.

Уже 8 месяцев сидит за решеткой издатель “Мысли” Вольфсон¹.

Мне легко хлопотать о нем: я никогда не имел с ним никаких отношений, так как мы не слишком любили друг друга. Но нельзя отрицать, что как издатель он был ярко талантлив, что он вел свою “Мысль” блистательно, что множество изданных им книг имеют большую культурную ценность (напр<имер>, два тома А.С.Долинина “Достоевский”², сочинения Сергеева-Ценского³ и пр.).

Мне кажется, восьми месяцев вполне достаточно, чтобы внушить ему должное уважение к советской законности,— и дальнейшее его пребывание в тюрьме вредно не только для него, но и для книжного дела в СССР.

Преданный Вам К.Чуковский

40. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Лето 1928 г., Ленинград>

Дорогой Алексей Максимович.

Я затеял большую работу: “Лев Толстой.— Чернышевский.— Некрасов”. В ней я хочу показать по-новому на новом материале схватку разночинцев и дворян в 50-х и 60-х годах. В руках у меня драгоценный материал: неизданные письма Льва Толстого к Дружинину (1855-59) и дневник Дружинина, в котором изображена петербургская жизнь молодого Толстого (1855-1859)¹.

Уже 8 месяцев я изучаю этот материал, и только теперь научился как следует ценить Вашу книжку о Толстом², которая для меня есть правдивейшее и вернейшее из всего, что написано о Льве Николаевиче. (А я сейчас прочитал целый шкаф).

Смесь любви, благоговения и ненависти — *и именно в той пропорции, какая дана в Вашей книжке* — вот единственное правдивое отношение к Толстому, которое возможно для современных читателей. Химическая формула этой смеси найдена и предсказана Вами. Всякое другое отношение к Толстому есть ложь, и Фриче так же лжет, как Чертков³.

Очень бы хотелось мне показать Вам свою книгу, когда она будет закончена, так как в ней Толстой изображен “по Горькому” и так как я попытался вытравить из нее всю ту ненавистную мне “чуковщину”, которая еще оставалась во мне от старых времен.

К сожалению, писать эту книгу я могу лишь урывками, так как главный мой кормилец “Крокодил” все еще запрещен⁴. Я

концу ее не раньше ноября, и если она выйдет не слишком плохая, разрешите показать ее Вам. (Она будет потом напечатана в ГИЗ'е).

У нас в Питере две Горьковские выставки,— особенно удалась та, что в публичной библиотеке: там выставлена Ваша переписка с детьми.

Ваш *К. Чуковский*

Кирочная 7, кв. 6.
Ленинград.

Пожалуйста, известите, что Вы получили это письмо, так как адрес я пишу наугад.

41. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Март-апрель 1929 г., Ленинград>

Алексей Максимович!

Мы здесь чествуем художника Бродского¹. Торжество назначено на 16 апреля. К этому времени — или вернее: к 1 мая — выйдет сборник статей, посвященных его творчеству². Комитет по организации чествования,— а главным образом Ионов³ и Чагин⁴,— поручил мне просить Вас принять участие в этом сборнике. Желательна хотя бы краткая Ваша статья о Ваших встречах с Бродским, Ваше мнение о Бродском-художнике и Бродском-человеке⁵. Мне легко обратиться к Вам с этой просьбой, так как я помню, как однажды у Репина (в мастерской) Вы горячо отозвались об Исаке Израилевиче, как о талантливом живописце и человеке хорошей души.

Преданный Вам *К. Чуковский*

Привет милой Марии Игнатьевне⁶. Она сделала бы поистине доброе дело, если бы прислала мне какое-нибудь английское сочинение о детях (о детском языке, о детских песнях). У англичан есть капитальные труды по этой части, мне, к сожалению, недоступные. А я в обмен выслал бы М.И. любую русскую книгу, какую она только пожелала бы.

Статью пришлите, пожалуйста, либо мне, либо по адресу “Красной газеты” — П.И. Чагину (Фонтанка, 57).

42. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<14 апреля 1930 г., Ленинград>

Когда-то, Алексей Максимович, я по Вашему совету принялся изучать двух отщепенцев народничества: Слепцова и Николая Успенского.

Работу над Николаем Успенским я недавно закончил: разыскал материалы для его биографии, установил канонический текст его очерков, неискаженный цензурой; составил для Гиза том избранных его сочинений, снабдил этот том вступительной статьей и комментариями.

Книга должна была выйти в марте, но Гиз хоть и одобрил ее, не решается печатать ее нынче, так как “все эти Златовратские¹ сейчас не нужны”. Пожалуйста, напишите Халатову², что Николай Успенский не может быть причислен к “Златовратским”, что стародеревенские устои были ему ненавистны, что шоколадных мужиков он не изображал никогда, и что правверные народники предавали его за это анафеме.

Его рассказы живые, злободневные, очень талантливые. В этом издании они очень выиграют.

Если бы я не боялся быть слишком назойливым, я попросил бы Вас дать к этому изданию краткое введение, хотя бы несколько слов³. Вы сказали о семидесятниках в первом томе “Клима Самгина”: “Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты”⁴ и т.д. Ведь Николай Успенский был подвергнут бойкоту именно за то, что разоблачил эту ложь.

Ваше предисловие было бы для меня истинной радостью, так как из детской литературы я уже изгнан совсем. Педагоги выдумали какого-то несуществующего злодея-Чуковского, приписали ему множество пороков и с удовольствием бьют его изо дня в день. Слово чуковщина у них звучит как чубаровщина⁵. Когда кто-то⁶ однажды напомнил им, что я не только сочинил “Цокотуху”, но также дал советскому читателю первое революционное издание Некрасова, они даже огорчились,— до того вошли во вкус битья.

Мне нравится второй номер “Литературной учебы”⁷. Сейчас этот журнал заказал мне статью “Как Некрасов учился писать стихи”⁸. Сейчас сажусь писать ее. Я советую им в конце книжки напечатать несколько “стилистических задач и загадок”, чтобы читатель сам учился делать выбор между двумя или тремя вариантами. Можно бы придумать загадки забавные.

Вам преданный *К. Чуковский*

Кирочная 7.
14/IV 30.

43. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

<20 мая 1930 г., Сорренто>

Корней Иванович —

на мой взгляд статейка¹ не очень убедительна. Во всяком случае она нуждается в серьезных поправках.

На 4-й стр. подражание Бенедиктову едва ли доказано.

На 5-й: Неужели стихи: “Мало на долю мою бесталанную”² только “очередное упражнение”? А “заимствование” не вяжется со словами “набрел случайно”.

На 11-й не указано, что Бурнашовские стихи³ написаны в годы “картофельных бунтов”.

На 14-й — 15-й следовало бы уничтожить обе пародии, уж очень они пошловаты.

Оба Ваши совета: подражать классикам и учиться на пародиях — могут возбудить некоторое “смятение умов”. Гораздо полезнее учиться у классиков, чем подражать им и заимствовать у них. Второй совет — “пародировать” — может понудить некоторых “начинающих” к бесполезной трате времени на поиски нелепого набора словечек вроде: “Верзилу Вавилу бревном придавило”⁴. Но, для того, чтоб даже такие словечки подбирать, нужно быть Измайловым. Затем: что же, начинающие поэты друг друга пародировать будут? Взаимоотношения их и без этого не радуют.

Вообще — статья слаба, написана, видимо, “наспех”.

“Лит.учеба” — журнал очень ответственный, несравнимо более ответственный, чем все другие литерат<урные> журналы, — так мне кажется. Хотелось бы видеть в нем материал серьезно обработанный.

А<ртемию> Б<агратовичу> относительно Н.Успенского я, своевременно, написал⁵. Ответа не имею. За “рецензию” не сердитесь.

Будьте здоровы.

А.Пешков

20.V.30.

44. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Конец июня — начало июля 1930 г.,>

Ленинград

Кирочная 7

Алексей Максимович. Только сейчас “Литературная учеба” передала мне Ваше письмо. Конечно, я несколько не обижен суровой оценкой моей статьи о Некрасове, но мне больно думать, что Вы считаете эту статью написанной “наспех”. Из уважения к Вам и к “Литературной учебе” я не дал бы в Ваш журнал скороспелой и неряшливой статьи.

Редакция “Литературной учебы” знает, что, трудясь над этой статьей больше месяца, я переписывал и переделывал ее несколько раз. Недостатка в усердии не было и быть не могло, так как я пытался изложить очень дорогие для меня наблюдения над эволюцией Некрасовского творчества. Мне казалось

весьма поучительным, что Некрасов, создатель столь оригинального стиля, пришел к этому стилю путем подражания — и что образцы, которым подражал он на первых порах, были созданы враждебной ему группой писателей.

Вы говорите, что нужно не подражать классикам, а учиться у них, но ведь для молодых писателей подражание и есть один из методов самообучения.

Здесь догматика вообще опасна. Такие вопросы нужно решать прагматически. Практика многих веков говорит, что писатели, большие и малые, смолоду учатся своему ремеслу именно путем подражания. Даже Байрон, которому подражала молодежь всего мира, в свое время рабски копировал Попа и Спенсера. Молодой Толстой в “Рубке леса” откровенно подражал Тургеневу; юноша Блок — Фету, Соловьеву, Бальмонту; Достоевский — Гоголю; Суинберн — Виктору Гюго; Уот Уитмен — Эдгару По; Слепцов — Николаю Успенскому, и для начинающих все это было отличной литературной учебой, которая, как мы знаем, пошла им на пользу. Разрешите же не вычеркивать эту учебу из практики начинающих пролетарских писателей.

Вам не нравится мое замечание о том, что ученики, перерастая учителей, часто отделяются от влияния их стиля с помощью пародий на них. Но именно при таких обстоятельствах Достоевский (в “Селе Степанчикове”) пародировал Гоголя, Некрасов — Языкова и Бенедиктова, юноша Блок — Бальмонта. Многие считают пародию низшим родом литературного творчества, но мне кажется, значение пародии в том, что, истребляя в искусстве все омертвелое, банальное, штампованное, она является отличным оружием в руках нового социального слоя для борьбы с литературными формами старого. Я знаю несколько случаев, когда поэты, находившиеся в плену у “Лефа”, освободились из этого плена при помощи пародий на Маяковского. Точно так же два-три поэта моего поколения некогда спаслись от влияния надсоновщины. Вы боитесь, что, если мы укажем на подобные случаи, молодые писатели будут наперебой пародировать друг друга. Беда небольшая. Это учит их вглядываться в стилистические особенности своих и чужих писаний. Это плодотворнее, чем та взаимная брань, которой они предаются с таким упоением на страницах всяческих “литературных газет”.

Благодарю Вас за Ваше обращение к Халатову по поводу Николая Успенского. Книгу приказано сдать в типографию. Надеюсь, что она понравится Вам¹.

Преданный Вам *К. Чуковский*

⟨2 августа 1930 г., Сорренто⟩

Уже не помню, Корней Иванович, мотивов, которые дали мне право сказать, что статья Ваша о Некрасове написана “наспех”, но, видимо, мотивы — были; мне кажется, я отношусь к чужому труду внимательно и с должным уважением.

С Вашим утверждением, что “подражание и есть один из методов самообучения” мне очень трудно согласиться, несмотря на факты, Вами приведенные. Гоголь подражал Марлинскому, но он пошел Гоголем — мне кажется — уже после того, как перестал подражать. И вообще подражание едва ли учит, а что оно — порабощает, это бесспорно. Сейчас добрые три четверти молодой литературы нашей — подражательны. А, вот, на днях я прочитал книгу Пасынкова “Тайпа”¹ — какая свежая, независимая вещь! Нет, я против подражания, особенно в той его догматической — а вовсе не “прагматической” — форме, как Вы его утверждаете.

Всего доброго.

А. Пешков

Знали бы Вы, какая здесь паника, еще и теперь, хотя уже прошло 8 дней от катастрофы². И — невероятное количество “чудес”. В Сорренто даже явился с небес патрон города Антонино аббато. Гулял по улицам ночью, величественный, весь в белом и, обокрав две квартиры, исчез. А в Неаполе, на Вомеро по богатым виллам ходили монахи, предсказывая новое землетрясение и рекомендуя людям спать на улицах. Многие послушались и — потерпели. Третьего дня монахи были выслежены и арестованы.

Будьте здоровы.

А. П.

2.VIII.30.

46. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

27/VIII-30

Но, Алексей Максимович, вот что напечатано в последнем № Вашей “Учебы”:

“Может быть этим товарищам бесполезно будет напомнить, что большинство крупнейших художников слова шло к художественной самостоятельности путем длительной и упорной учебы у своих предшественников и современников, путем всевозможных подражаний, заимствований и переделок” и т. д. (Литературная учеба.— 1930.— № 4.— стр.123)¹.

Это и есть то самое, что говорится в моей статье о Некрасове.

Статью я, конечно, переделал по Вашим указаниям — но мне все же сдается, что подражание есть плодотворнейший метод литературной учебы. Чем оригинальнее автор, чем самобытнее его литературное лицо, тем упорнее он подражал предшественникам в *первый* подготовительный период своей литературной учебы. Вы требуете от писателя — “свежести”. Но, как это ни странно, литературная свежесть обычно достигается лишь в периоде зрелости. Писатель парадоксально свежеет лишь по миновании юного возраста. Лесков посвежел только в старости, а смолоду был банален и почти “без лица”. Бунин — тоже. Достоевский посвежел лишь к 40-летнему возрасту, а до той поры был подражателем Гоголя, Бальзака и даже Жанена. То “необщее выражение лица”², о к-ром говорит Боратынский, дается писателю лишь во *второй* или *третьей* период писательской жизни, а в первом периоде *писатель всегда подражатель*. Мне рассказывал покойный Короленко о Ваших *первых* вещах, что они казались ему переводом с французского, а между тем *вторые* Ваши вещи поразили читателя именно своей новизной.

Вы говорите, что сейчас Вам подражают три четверти молодой литературы нашей, но разве с этим возможно бороться? Во времена французской революции *все* молодые художники подражали Давиду, в семидесятых годах *все* русские молодые поэты подражали Некрасову. Если подражатели были безличны, то лицо эпохи они выражали вполне. Это явление закономерное и в корне своем положительное: ибо сильный все равно выбьется из оков чужого стиля, а для слабого — здесь не оковы, но костыль.

Жму Вашу руку.

К. Чуковский

Ленинград 14
Кирочная 7, кв.6

У меня заболела младшая дочь моя Мура костным туберкулезом. Из-за ошибки врачей — туберкулез порастил ее зрение. Мои друзья Юрий Тынянов, Ольга Форш и Слонимский хотели писать Вам об этом³ и просить, чтобы Вы помогли увезти больную за границу, но я просил их этого не делать. Если все же они написали Вам, тороплюсь уведомить Вас, что надобность в помощи, увы, миновала: глаз у нее погиб окончательно.

47. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Начало января 1931 г., Ленинград>

Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Вместе с этим письмом я посылаю Вам “Сочинения” Николая Успенского, которые вышли в свет исключительно благодаря Вам.

Теперь я редактирую Слепцова¹ и заранее радуюсь, что мне будет дано воскресить этого отличного писателя, который, помимо всего, был первым рабкором шестидесятых годов.

Я работаю над ним уже года четыре и собрал кое-какой материал, который, я надеюсь, заинтересует Вас очень.

Преданный Вам Чуковский

Кирочная 7, кв.6
Ленинград.

48. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

<26 января 1931 г., Сорренто>

Письмо Ваше, Корней Иванович, Вы адресовали в Позилиппо, а книгу — в Сорренто, что правильнее¹. Книгу я получил — поэтому — на трое суток раньше письма; прочитал — эта книга очень удалась Вам. Рад узнать, что Вы готовите Слепцова, Вам бы взять уже и Помяловского, да и Левитова.

У меня такое впечатление, что книги печатаются все более небрежно, не встречаю почти ни одной без типографских дефектов. В Н.Успенском на 166-й стр. рассыпан набор, получилась путаница, есть она и на других стр.

Вполне своевременно переизданная книжка об “Искусстве перевода”² очевидно не влияет на переводчиков, они свирспствуют, как привыкли: “Дезертиры? и маорисы — дикие племена Новой Зеландии”; “Они пустились через шею острова”, “Захотел сам с собою”, “Только тут он заметил, что прошел мимо себя и, быстро возвратясь, позвонил в дверь”³ — черт их возьми! В романе Р.Бенжамена “Жизнь Бальзака” Жоффруа Сент Иллер — Жоффруа святой Иллер⁴.

Вы много читаете,— вот бы Вам написать статью по этому поводу!

Жму руку.

А.Пешков

26.1.31.

49. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Февраль 1931 г., Ленинград>

Кирочная 7, кв.6

Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Оказывается, Николай I и не думал умирать во время Крымской войны. Он жил еще 30 лет и скончался после Александра II!

Это сенсационное открытие сделано Евгеньевым-Максимовым в книге “Некрасов и его современники” (“Федерация”, 1930). Там на стр.94 указано:

“Николай I, по официальным данным, умер 18 февраля 1885 года”.

В той же книге процитирована “Литературная газета” 1941 года и письмо Писарева от 3 июля 1967 года. (Стр.59 и 305).

В той же книге сказано, что человек, родившийся в 1862 году, был в 1877 году шестилетним ребенком! (Стр.251 и 263).

Автор, кажется, не виноват в этой фантастике, но издательство и типография проявили чудовищное презрение к советским читателям. А на днях я прочитал в новоизданном “Архив<e> Огарева” письмо француза Летурно к молоденькой дочери Герцена: “Разлука с Вами для меня равносильна тому, как если бы мне отрубили *член*”¹.

Оказалось, что во французском подлиннике стоит слово *membre* — и нужно было перевести: отрубили *руку или ногу*.

Я цитирую по памяти, книги у меня нет, но суть дела передаю Вам дословно.

Слепцова мы печатаем в “Academia” двумя очень изящными томиками. Я отыскал несколько его рукописей, заполнил кое-какие цензурные бреши и собрал материалы для его биографии. Знаете ли Вы, что, когда он был в Пензенском Институте, он, пятнадцатилетний подросток, вбежал во время богослужения в алтарь и, чуть только запели “Верую”, крикнул:

— А я не верую!

Знаете Вы его “Гробовщиков”, не вошедших в собрание его сочинений? (А “Владимирка и Клязьма”? А “Осташков”? Вот образцы для нынешних рабкоров.)

Сейчас я закончил для Воронского работу над книгой “Шестидесятники”, о которой он писал Вам². В эту книгу я ввожу отличное “Детство” Воронова, “Выборы” Петрова, “Питомку”, “Свиньи”, “Ночлег”, “Сцены в больнице” Слепцова — и *пять-шесть очерков* Николая Успенского. Помяловский будет представлен “Вуколом” и “Бегунами бурсы”, которые впервые появятся в подлинном виде, так как найдена его бесцензурная рукопись. Вы советовали Воронскому взять “Сватовство” Петрова из “Отечеств<енных> записок”. Я такого рассказа не нашел. Там есть его “Наносная беда” — рассказ реакционный и фальшивый.

Простите за большое письмо. Но меня так обрадовала Ваша похвала “моему” Николаю Успенскому, что я сделался чересчур говорлив.

Вы писали о смехотворной *Россике* Ларусса³. В Encyclop<edia> Britannica то же самое. А в американских — самых точных — словарях!

Вам преданный Чуковский

Алексей Максимович.

Мои товарищи, Ольга Дм. Форш и Тынянов, сообщили мне, что Вы приняли в Муру участие¹. Я уверен, что при Вашем содействии, Муру можно будет увезти за границу. Но Мура так плоха, что сопровождать ее должны оба родителя. Так как моя жена не знает языков, я должен хотя бы на месяц отправиться вместе с нею. Поэтому, Алексей Максимович, будьте так добры, похлопочите, чтобы и мне разрешили кратковременную отлучку за границу — иначе поездка Муры состояться не может. Ведь Мура очень плоха: у нее, кроме туберкулеза глаза, сильное поражение обеих ног, и кроме того врачи предполагают у нее туберкулез почек. Если бы она при этом не была так жизнерадостна, бодра, весела, мы сочли бы ее безнадежно больной и отказались бы от мысли о консультации европейских ученых.

Сейчас она в Бобровке под Алушкой. Бобровка — отличная санатория, и я хотел бы, чтобы Вы увидели ее. Жизнь в этой санатории страшно любопытна, поучительна и великолепно организована советской социальной медициной. Туберкулезно-костных ребят здесь около 300 человек. Я каждый день хожу к ним, читаю им, играю с ними в разные игры, познакомился почти со всеми, — и с изумлением вижу, что все эти калеки живут такой радостной, творческой жизнью, которая была совершенно немыслимой в прежние годы. У них есть ФЗУ, очень сплоченная группа хромых и горбатых, которые, живя под открытым небом и лето и зиму, изучают (под наблюдением врачей) столлярное, переплетное, портняжное дело, а в промежутках занимаются высшей математикой, механикой, техникой — и посмотрели бы Вы, какая у них труддисциплина, как виртуозно изготавливают они всякую мебель и аппараты для физического кабинета, и штаны, и толстовки, и переплеты для своей библиотеки — все эти безногие “уроды”, которые в прежнее время годились бы только для паперти, из которых прежняя жизнь формировала только злых паразитов. И сколько среди них изобретателей, поэтов, юмористов, ученых, ораторов. Их жизнь — отличный материал для радостной (и возвышенной) повести. Я и начал было писать эту повесть для юношества (вроде “Республики Шкид”) — но бросил из-за Муркиной болезни. Только бы ей стало лучше, я постараюсь осветить в литературе эту область “Наших достижений”, которая проходит до сих пор незамеченной.

Это я сообщаю Вам для того, чтобы Вы не думали, что Вы хлопчете об окончательно бесполезном писателе.

Горячо Вам благодарный Чуковский

Алушка. Улица III Интернационала, 4.

51. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Август — сентябрь 1931 г., Алупка>

Алексей Максимович.

Моя дочь умирает¹.

Туберкулез уже поразил ее внутренности.

Я истратил на ее лечение все, что у меня было, и теперь у меня нет денег даже на лекарство.

Между тем *Гухл* и "*Academia*" должны мне какие-то деньги. *Гухл* купил у меня седьмое издание "*Уота Уитмена*", "*Academia*" — первый том "*Сочинений Слепцова*", над которым я работал больше года.

Та же "*Academia*" подписала со мною договор на сочинения Воронова — и тоже не заплатила ни гроша.

Чагин не только не платит, но даже не отвечает на письма.

Мне нужны три тысячи немедленно, чтобы я мог до последней минуты бороться за жизнь ребенка.

Усовестите их, чтобы им стало стыдно. Пусть немедленно пошлют мне эти деньги.

К. Чуковский

У меня вчерне готова книга "Шестидесятники" (Николай Успенский.— Слепцов.— Воронов.— и др. *по новым материалам*). Не даст ли мне Чагин под эту книгу аванса?

Улица III Интернационала, 4

Алупка.

Крым.

52. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<29 сентября 1931 г., Алупка>

Алексей Максимович.

Сейчас я получил телеграмму: Халатов обещает выслать деньги, две тысячи рублей из "Молодой гвардии". Знаю, что это сделано Вами и спешу поблагодарить Вас за незаслуженное мною участие¹. Незаслуженное, — потому что я до сих пор не выполнил своего литературного долга и не делаю тысячной доли того, что должен бы сделать в такое горячее время. Но, Алексей Максимович, ведь мне ни на миг нельзя было оставить дочь, потому что до последней минуты меня не покидала надежда, что мне удастся победить ее болезнь. Туберкулез убивал ее по частям, по кусочкам: сначала поразил ее ногу, потом глаз, потом почки, потом другую ногу, потом легкие, потом горло, и сейчас она — сплошная рана, и конечно, я был бы мерзавец, если бы покинул ее. Но потом (это потом очень близко) для меня единственным спасением будет работа, и я умоляю Вас нагрузить меня работой по горло. Любой работой, самой неблагоприятной и черной. Если я Вам буду нужен, позови-

те меня. Мне страстно хотелось бы Вам пригодиться. О своем писательстве я невысокого мнения, но я грамотен и работаю, и, главное, меня гложет желание заглазить мою прежнюю (фельетонную) деятельность каким-нибудь серьезным и скромным трудом.

Словом, я был бы счастлив, если бы Вы дали мне возможность на деле выразить Вам мою признательность за все, что Вы для меня сделали.

К. Чуковский

Алупка.
29 IX 31.

53. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Декабрь 1931 г., Ленинград>

Алексей Максимович.

По Вашему совету, я принялся за борьбу с нашими литературными неряхами¹. Первое место редактору Гихла — Кирееву. Я сию минуту закончил небольшой фельетон о нем, который направляю в “Лит<ературную> газету”. Но так как у меня нет ни малейшей уверенности, что этот фельетон напечатают, посылаю Вам копию (простите, ужасно неряшливую)².

Получили ли Вы мою статью о “Трудном времени” Слепцова, которую послал Вам Виноградов³? Мне удалось разыскать свободный от цензуры экземпляр этой повести. Я предложил его М.Е.Кольцову и А.К.Виноградову для серии “Молодой человек”⁴.

Жму Вашу руку.

К. Чуковский

Кирочная 7, кв.6.
Ленинград 14.

54. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<6 октября 1932 г., Ленинград>

Алексей Максимович.

К просьбе Ивана Ивановича Грекова и Исака Израилевича Бродского присоединяюсь и я¹. Мы знаем Слонимского 30 лет как одного из самых благородных людей, много сделавших в своей жизни добра. Теперь это — больной старик, живущий черной поденной работой. Он со своей семьей, — с больной дочерью — ютится в одной комнате, и от всех прежних богатств у него теперь остался только уют.

Преданный Вам *К. Чуковский*

6/X 32.

Алексей Максимович! Я не обременял бы Вас этим письмом, если бы не был уверен, что дело, о котором я хочу написать, интересует не только меня, но и Вас.

Дело такое: десять лет назад я случайно набрел на один великолепный сюжет. Представьте себе, что в СССР достигнута социализация погоды. Что бесклассовое общество стало полным хозяином солнечных лучей и атмосферных осадков от Берингова моря до Черного. Что в 1944 году на Арбате возникло высокое здание под изумительной вывеской: "Государственное Управление Туч и Ветров" и т.д. и т.д.

Аппарат для управления ветрами и тучами изобрел профессор Бородуля. Иностранцы украли его изобретение и сконструировали такой же аппарат у себя за границей, но не могли извлечь из него выгоды, так как в условиях тамошнего волчьего быта планомерная разверстка погоды немыслима: мороженщикам подавай одну погоду, меховщикам — другую, конькобежцам — третью, виноделам — четвертую. Получился хаос всех "погод", в котором причудливо отразился капиталистический хозяйственный хаос.

Конечно, на первых порах в Государственном Управлении Туч и Ветров не обошлось без вредителей, которые сделали было попытку похитить у нас волжские тучи и переправить их контрабандой в Румынию, а также покрыть вечной мерзлотой Украину, но злодейство было вовремя раскрыто, и вскоре в тундрах зацвели апельсины, а слово засуха стало таким же анахронизмом, как ектенья, шпицрутен или, скажем, бай-струк.

Я написал эту повесть в 1925 году и тогда же читал ее друзьям: Ю.Тынянову, М.Зощенко и Мих.Слонимскому. Повесть была неровная: сырой черновик¹.

Теперь я разыскал ее в старых бумагах и огромность темы захватила меня.

Мне страстно захотелось обработать эту тему по-другому, по-новому, на основании новых научных работ в этой области, сделать из нее Жюль-Верновскую повесть для советских детей и подростков, и будь я свободен, я, кажется, сейчас же принялся бы за ее написание. Но я загружен посторонней работой и не знаю, стоит ли тема того, чтобы мне из-за нее бросить все свои другие писания (о шестидесятниках, о Глебе Успенском), нарушить установившуюся инерцию жизни, заняться изучением метеорологии, физики, съездить в ЦЧО² и на Волгу и всецело отдаться своей "Гос-погоде". Никакое совмещение тут невозможно. Если писать "Гос-погоду", — надо будет отказаться даже от писания в газетах, вообще на целый год умереть для всего остального.

Ваш совет в этом деле для меня драгоценен.

Не написать ли все это в виде поэмы — стихами? Ну, хотя бы в форме мосго “Крокодила”, иными словами: не адресовать ли всю эту тему дошкольникам? Это сильно упростило бы основную часть работы — формулировку технической сущности изобретенного Бородулей аппарата, который в стихах может быть описан весьма приблизительно, — не то что в прозе, для которой требуется знание каждого винтика и каждого рычага.

Не попадались ли Вам какие-нибудь книги по этому поводу (английские, американские, французские) — и не знаете ли Вы в СССР кого-нибудь, кто мог бы надоумить меня по технической части?

Ваш К. Чуковский

56. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

<3 июля 1934 г., Москва>

Я думаю, дорогой Корней Иванович, что повесть на тему, избранную Вами, следует писать непременно прозой и для ребят среднего возраста. Малышам эта тема не будет понятна даже при Вашем исключительном умении говорить “простыми словами о мудрых вещах”. И даже при этой легкости, с коей Вам дается стих, Вы едва ли окажетесь в силе уложить в размеренные строки всю сложность, все разнообразие Вашей темы.

Подумайте: Вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах Севера, о “вечной мерзлоте” и всякой всячине этого рода в наше время, когда гипотетическое мышление становится все более обычным и — “безумным”. Вон, капитан Гернет предлагает уничтожить Гренландский ледяной лишай и возвратить Сибирь с Канадой в миоценовый период¹, а еще некто затевает утилизировать вращение земли вокруг ее оси, а третий ищет родоначальницу растительной и живой клетки. И всего этого Вы должны “коснуться”.

Я не “запугиваю” Вас: мне Ваша затея горячо нравится. И я думаю, что Вы осуществите ее. Как надо ставить дело практически и чем я могу быть полезен Вам? Мог бы достать Вам денег в каком угодно размере для спокойной, непрерывной работы год, два.

Указать Вам метеорологов — не могу, никого не знаю. Но полагаю, что Вам не худо будет побеседовать с гелиотехниками — в Слуцке, Самарканде, с полярниками. А по вопросу о нашей атмосфере вы найдете, пожалуй, интереснейшие намеки в “Геохимии” Вернадского². Вообще Вам потребуются химики-электрики, они в лучшем качестве — у Вас, в Ленинграде, около Иоффе³, — Дорфман⁴, кажется, с “фантазией”. Сия последняя будет Вам великой помощницей.

Сердечно желаю успеха.

3.VII.1934.

57. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<После 3 июля 1934 г., Ленинград>

Дорогой Алексей Максимович. Горячо благодарю Вас за совет. Мне нужно было узнать у Вас главное: стоящая ли это тема, следует ли отдавать ей все силы, имею ли я право отказаться ради нее от всяких других писаний. Ведь соблазнов много: хочется сотрудничать в “Правде”, хочется переводить для “Academia” Шекспира, хочется написать для “Жизни замечательных людей” биографию Сесилия Родса, хочется редактировать классиков для “Школьной серии Детгиза”.

Но надо же сосредоточиться на какой-нибудь единственной теме, и я счастлив, что моя тема пришла к Вам по вкусу. Я корплю над нею уже десять лет и, конечно, постараюсь выполнить все, что Вы намечаете в Вашем письме. Книжку капитана Гернета, изданную в Японии, я читал. Об утилизации вращения земли смутно слышал. “Геохимию” Вернадского раздобуду на днях. Установил связь с академиком А.А.Чернышевым¹, который производит опыты дождевания у нас в Ленинграде. К Дорфману еще не решаюсь идти, так как для разговора с ним мне надо еще кое-чему научиться.

Вы спрашиваете, не нужны ли мне деньги для осуществления задуманной работы. Спасибо, Алексей Максимович, деньги у меня теперь есть и в таком количестве, в каком никогда у меня не бывали. Я ведь работал эти годы и для “Academia”, и для Детгиза и для Гихла.

Но что мне действительно нужно до крайности, это легковая машина. Я был бы очень рад, если бы мне предоставили возможность купить ее на Горьковском заводе. Она сильно помогла бы мне в работе. Все научные учреждения, с которыми мне нужно связаться, находятся вне Ленинграда, в Лесном. Кроме того, я так часто выступаю на всяческих детских площадках, в пионерлагерях, в детских домах и т.д., что трамвайные путешествия изнуряют меня до бесчувствия.

Но, конечно, если это для Вас затруднительно, — я обойдусь и без машины. Не думайте, что это письмо написано с корыстной целью. Вы сами предложили мне свою материальную помощь. Я же хотел просто от души поблагодарить Вас за то участие, которое Вы приняли в моей литературной затее.

Жму Вашу руку.

К. Чуковский

Кирочная 7, кв.6.
Ленинград 104.

58. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

<Конец марта 1935 г., Москва>

Алексей Максимович. Вы знаете, как много сделала в свое время семья Пыпиных для Чернышевского. Когда Чернышев-

ский был сослан в Сибирь, Пыпины воспитали его детей, приютили у себя его жену, двадцать лет оказывали ему денежную помощь,— и вот теперь единственный член этой семьи Николай Александрович Пыпин ссылается из Ленинграда на Восток¹.

Я уверен, что тут недоразумение. Вне библиотек и архивов он не может работать. Он только что закончил отличную работу по Некрасову (“Некрасов как драматург”) и в настоящее время редактирует мемуары и письма Репина. Вся эта работа немыслима вне Ленинграда. Спасите этого человека. Ему 60 лет. Никаких преступлений за ним нет. Сейчас я прочитал в газетах прилагаемую при сем заметку², и мне стало больно, что по недоразумению этот *ближайший родственник* Чернышевского может так жестоко пострадать.

К. Чуковский

Москва

Националь. 112.

ПРИМЕЧАНИЯ

29

- ¹ Андреева Мария Федоровна (1868-1953), вторая жена Горького, актриса. Вероятно, упомянутые документы и материалы попали к Чуковскому в 1919 году, когда он и А.Блок собирались издать юбилейный сборник, посвященный Горькому. Подробнее см.: Литературное наследство.— М., 1987.— Т.92.— Кн.4.— С.307.
- ² Груздев Илья Александрович (1892-1960), литературный критик, биограф Горького.
- ³ 24 марта 1926 года Чуковский записал в дневнике: “Вчера (или третьего дня) освободили Слонимского, портного, за которого я поручился. Вместе со мною за него поручились проф. Ив.Греков и Бродский” (Чуковский К. Дневник. 1901-1929.— М., 1991.— С.384-385). Чуковскому неоднократно приходилось хлопотать об этом человеке, притесняемом властями. См. также письмо 54.
- ⁴ Будберг Мария Игнатьевна (1892-1974), переводчица, друг и секретарь Горького.
- ⁵ Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), поэт.

30

- ¹ В авторской дате — описка, дата уточняется по письму 29, на которое отвечает Горький.
- ² Интенсивная работа над романом “Жизнь Клима Самгина” не позволяла Горькому отвлекаться на другие занятия.
- ³ Имеется в виду статья В.Ф.Ходасевича “Есенин”, напечатанная в парижском журнале “Современные записки”,— Т.27.— 1926. По мнению Ходасевича, история Есенина — это цепь заблуждений, ошибок и жизненных падений. Не отказывая поэту в искренности таланта и называя его “крупным художником”, Ходасевич характеризовал его как неумного, слабовольного и все более опускающегося человека. Трагедия Есенина, по мнению автора, состояла в том, что он жил в “сказке” и верил в несуществующий, “воображенный” народ и в несуществующую в действительности Россию.

⁴ Речь идет о повести старшего сына Чуковского, поэта, прозаика и переводчика Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965) "Приключения профессора Зворьки" (Л., 1926).

31

¹ Чуковский К. Некрасов. Статьи и материалы.— Л., 1926.

² Речь идет о книге Николая Чуковского "Капитан Джемс Кук" (М.— Л., 1927).

32

¹ Арманди А. Остров Пасхи (Рапа-Нюи).— Л., 1925.

² 17 марта 1928 года Н.К.Чуковский послал Горькому свою только что вышедшую книгу стихов "Сквозь дикий рай" с дарственной надписью: "Многоуважаемому Алексею Максимовичу преданный Николай Чуковский" Книга с пометами Горького хранится в его библиотеке (Личная библиотека А.М.Горького в Москве. Описание.— М., 1981.— Кн.1.— С.167).

33

Датируется по сопоставлению с письмами 32 и 34.

¹ Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич, 1878-1946), литературный критик.

² Пешкова Екатерина Павловна (1878-1965), первая жена Горького. Заведовала политическим Красным крестом, помещение которого находилось в Москве на Кузнецком мосту.

³ Чуковская Лидия Корнеевна (р.1907), писательница. Чуковский хлопотал о дочери в связи с ее арестом по политическим обвинениям и ссылкой на три года в Саратов. Через 11 месяцев она была освобождена досрочно.

⁴ Старшая внучка Горького Марфа родилась 17 августа 1925 года.

⁵ Чуковский К. Маленькие дети.— Л., 1928.

⁶ Герой повести "Дело Артамоновых" (1925).

34

Впервые неполностью — Литературная учеба.— 1940.— № 6.— С.21-22.

¹ Слова популярной частушки: "Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет..."

² Виже-Лебрен Элизабет Луиза (1755-1842), французская художница-портретистка.

³ Сын Горького М.А.Пешков и его жена Н.А.Пешкова занимались живописью под руководством проживавшего в доме Горького художника И.Н.Ракицкого, прозванного в домашнем обиходе "Соловьем" Частыми гостями Горького были приехавшие осенью 1926 года в Сорренто художники Б.Ф.Шаляпин и Н.А.Бенуа. Бенуа вспоминал об этом времени: "Я и Борис отправлялись на работу с натуры и возвращались лишь к обеду, нагруженные громадными этюдами, которые, робя, несли Алексею Максимовичу на просмотр. Его мнение нам было бесконечно ценно и глубоко нас волновало, и лучшей, конечно, наградой являлось его одобрение, которым, впрочем, он нас не всегда баловал" (Горький и художники. Воспоминания. Переписка. Статьи.— М., 1964.— С.83).

- ⁴ Художник В.Д. Григорьев писал портрет Горького в течение пяти недель в феврале-марте 1926 года. 25 февраля Горький сообщал В.Ф.Ходасевичу: "Борис Григорьев отлично написал мой портрет в окружении отвратительно рыжих морд из "На дне" (А.М.Горький в изобразительном искусстве.— М., 1969.— С.35). Портрет после долгих путешествий по Европе и Америке вернулся в Россию: в 1962 году семья А.Померанц подарила портрет Музею А.М.Горького в Москве.
- ⁵ Речь идет о повести "Дело Артамоновых" и рассказе "О тараканах"
- ⁶ Вероятно, имеется в виду книга В.Инбер "Уравнение с одним неизвестным" (М.— Л., 1926). В таких рассказах как "Ежовы рукавицы", "Лялины интересы", "Тосик, Мура и "ответственный коммунист" писательница с большим мастерством показывала мышление и речь ребенка. Книга с пометами Горького хранится в его личной библиотеке.
- ⁷ Юрезанский В. Зной.— Харьков, 1926. Книга с дарственной надписью автора и пометами Горького также хранится в его библиотеке.
- ⁸ Возможно, имеются в виду трое детей М.И.Будберг, а также двенадцатилетний сын писателя И.Е.Вольнова Илья, часто гостивший у Горького.

35

- ¹ Вероятно, именно об этой фотографии Григорьев писал в своем дневнике: "Сделали фотографии портрета, а мы с Горьким — по обеим сторонам" (А.М.Горький в изобразительном искусстве.— М., 1969.— С.35). Теперь эта фотография хранится в Музее А.М.Горького, на ней дарственная надпись: "Борису Григорьеву, преклоняясь пред его талантом. М.Горький. Napoli. 10-III-26" (Там же).
- ² Левинсон Андрей Яковлевич (1887-1933), художественный и театральный критик.
- ³ Фотопортрет Горького с сыном Максимом на коленях был напечатан на титульном листе "Журнала для всех".— 1903.— № 2.
- ⁴ В 1926 году в Нью-Йорке вышел перевод первой части романа С.Н.Сергеева-Ценского "Преображение" ("Валя") с предисловием Горького.
- ⁵ Сергеев-Ценский жил постоянно в Крыму, в Алуште.
- ⁶ В рецензии, подписанной "Г.К." и опубликованной в "Известиях" 18 ноября 1926 года, роман "Валя" был охарактеризован как "скучный, ненужный роман о скучных людях" В письме от 1 декабря 1926 года Сергеев-Ценский жаловался Чуковскому: "...в "Известиях" по поводу "Валя" был такой отзыв какого-то анонима, что Госиздат в лице Бескина не пожелал даже и ознакомиться со второй частью "Преображения"..." (РО ГБЛ, фонд С.Н.Сергеева-Ценского).
- ⁷ Л.Пантелеев и Г.Белых. Республика Шкид.— М.— Л., 1927. Горький разделял восторженное мнение Чуковского об этой книге, называл ее "замечательной", "изумительно живо" рисующей характеры и образы (Горький М.Собр. соч. В 30 т.— Т. 24.— С.283), всячески пропагандировал книгу и ее авторов в писательской и читательской среде.
- ⁸ Чуковский имеет в виду роман К.К.Вагинова "Козлиная песнь" Отрывки из романа печатались в "Звезде".— 1927.— № 10. Отдельное издание вышло в 1930 году (Л.).
- ⁹ Чуковский цитирует письмо к нему И.Е.Репина от 7 декабря 1926 года. (Хранится у Е.Ц.Чуковской).
- ¹⁰ Анненский Николай Федорович (1843-1912), публицист, деятель народного движения. Кроме Чуковского к Горькому обратилась вдова Короленко — Е.С.Короленко с просьбой написать воспоминания для предполагаемого сборника об Анненском. В конце декабря Горький принялся за свой очерк. Однако сборник издан не был. Впервые очерк "Н.Ф.Аннен-

- ский” был напечатан в книге Горького “Воспоминания. Рассказы. Заметки” (Берлин, 1927).
- ¹¹ Имеется в виду статья Короленко “О Николае Федоровиче Анненском”, опубликованная в журнале “Русское богатство” 1912.— № 8.

36

Датируется по сопоставлению с письмом Л.К.Чуковской Горькому от 14 февраля 1928 года (см. примеч.1).

- ¹ 1 февраля 1928 года в газете “Правда” появилась статья Н.К.Крупской “О “Крокодиле” К.Чуковского”, в которой знаменитая сказка была названа “чепухой”, “вздором”, “болтовней” и “буржуазной мутью”, а заодно давалась разгромная оценка последнему Полному собранию сочинений Н.А.Некрасова, выходящему под редакцией и с предисловием Чуковского. Цитируя его вступительную статью “Жизнь Некрасова”, Крупская приходила к выводу, что в ней ярко выразилась авторская “ненависть к Некрасову” Статья Крупской — председателя научно-педагогической секции ГУСа и председателя Главполитпросвета — стала директивной для немедленного запрещения сказок Чуковского и знаком к дальнейшей травле писателя в печати. Под вопросом оказалось и продолжение работы над изданием Некрасова. 14 февраля 1926 года дочь Чуковского Л.К.Чуковская обратилась к Горькому с письмом, в котором сообщала о крайне подавленном состоянии отца, просила вступить за него и “восстановить справедливость” (Горизонт.— 1991.— № 3.— С.20-22).

Горький сразу же (25 февраля) ответил “Письмом в редакцию” газеты “Правда” В нем критика Крупской “отличной работы Чуковского по Некрасову” была названа “слишком субъективной, а потому несправедливой”. Далее Горький напоминал, “что В.И.Ленин, просмотрев первое издание Некрасова под редакцией Чуковского, нашел, что “это хорошая толковая работа” (Правда.— 1928.— 14 марта).

О своей сложной реакции на это горьковское письмо Чуковский писал в дневнике 14 марта 1928 года: “Сегодня позвонили из РОСТА “К.И., сейчас нам передали по телефону письмо Горького о вас — против Крупской,— о “Крокодиле” и “Некр<асове>” Я писал письмо и, услышав эти слова, не мог больше ни строки написать И не то чтобы гора с плеч свалилась, а как будто новая навалилась — гора невыносимого счастья Вышел на улицу по дороге купил “Красную” (“Красную газету” — Н.П.) за гривенник — и там письмо Горького. Очень сдержанное, очень хорошее по тону — но я почему-то воспринял его как несчастье”. (Чуковский К. Дневник. 1901-1929.— М., 1991.— С.440).

- ² Стихотворения Н.А.Некрасова / Издание исправленное и дополненное, под редакцией К.И.Чуковского.— Пб., 1920.
- ³ Волин (Фрадкин) Борис Михайлович (1886-1957), историк, партийный деятель, критик.

37

Датируется по упоминанию о письме Горького в “Правду”, напечатанном 14 марта 1928 года. (См. письмо 36, примеч.1).

- ¹ Письмо не сохранилось.
- ² Чуковский К. Некрасов. Статьи и материалы.— Л., 1926.

³ ГУС — Государственный ученый совет, руководящий методический центр Наркомпроса РСФСР. Заступничество Горького сыграло свою роль в борьбе, которую вели детские советские писатели за свои произведения. В результате этой изнурительной борьбы почти все произведения Чуковского для детей были комиссией ГУСа разрешены для печати. О перипетиях этой борьбы Чуковский писал в своем дневнике (Чуковский К. Дневник. 1901-1929.— М., 1991.— С.449-450). См. также публикации Е.Ц.Чуковской “Борьба за сказку” (Детская литература.— 1988.— № 5) и “Борьба с “чуковщиной” (Горизонт.— 1991.— № 3).

38

Написано на одном листе вместе с письмом В.Я.Шишкова от 29 июня 1928 года, рекомендующим Горькому поэта К.Ф.Вечернего. На письме имеется также приписка самого поэта. К письму были приложены две фотографии Вечернего.

- ¹ Впервые после долгого пребывания за границей Горький приехал в СССР в конце мая 1928 года. В Ленинграде он пробыл с 30 августа по 7 сентября.
- ² Вечерний Кассиан Федорович, поэт-самоучка. 21 апреля 1929 года Вечерний писал Горькому: “Полагаю, что Вы не забыли нашу встречу и знакомство в августе месяце прошлого, 1928 г., в Ленинграде, в гост<инице> “Европа” № 7. (Я являлся с письмами от Вячеслава Шишкова и Корнея Чуковского), <...> Встреча с Вами в Ленинграде произвела на меня — совершенно неожиданно, — исключительное впечатление, <...> Это потому, что я почувствовал в Вас “своего”, такого же, в душе,— “бродилу”, как и я, но достигшего таких литературных высот и проделавшего, не щадя себя, такую громадную работу!” (Архив А.М.Горького, КГ-нп/а.6-9-1). В том же письме Вечерний сообщал, что посылает через Е.П.Пешкову Горькому две тетради стихов, и просил содействовать изданию их отдельной книгой в Берлине или в СССР. Однако через два месяца, 2 июля 1929 года поэт попросил вернуть ему рукописи обратно, чтобы составить сборник заново. (Там же, КГ-нп/а.6-9-4). На письме Вечернего Е.П.Пешковой от 1 июня 1929 г. рукой Горького написано: “Кассиан Вечерний. Отв<ечено>. Рукописи возвращены <в> Краснодар” (Там же, Птл.6-9-4).

39

Датируется по сопоставлению с письмами С.Н.Сергеева-Ценского Горькому от июля 1928 года (см. примеч.1).

- ¹ Вольфсон Лев Владимирович, владелец частного ленинградского издательства “Мысль” (1917-1930), выпускавшего сочинения русских и зарубежных писателей, книги по науке и технике, сельскому хозяйству, искусству.
- 3 июля 1928 года Сергеев-Ценский писал Горькому: “...ко мне обратились телеграфно из издательства “Мысль” с “убедительной просьбой просить Алексея Максимовича поддержать ходатайство во ВЦИК о помиловании Льва Владимировича Вольфсона”... Вольфсон, бывший представитель изд-ва “Мысль”, приговорен ОГПУ на 5 лет тюрьмы (не считая 30' 000 р. штрафа) за то, что отблагодарил кого-то за заказ в типографию, им арендуемую, очень небольшою суммой (2 тыс. руб.)” (Архив А.М.Горького, КГ-п. 71-2-28). С аналогичными просьбами Сергеев-Ценский обращался к Горькому еще дважды, 17 и 19 июля 1928 года (Там же, КГ-п.

- 71-2-28,29). Ответы Горького не сохранились, поддержал ли он ходатайство о помиловании Вольфсона,— установить не удалось. Возможно, отношение к Вольфсону со стороны властей объяснялось их желанием поскорее расправиться с частным издательством “Мысль”
- 2 Достоевский. Сборник статей и материалов под ред. А.С.Долинина.— Т.1,2.— Л., 1922-1924.
 - 3 В личной библиотеке Горького хранится несколько книг Сергеева-Ценского, изданных “Мыслью” На одной из них (Неторопливое солнце. 4-е изд. 1928) выразительная надпись: “Дорогому Алексею Максимовичу Горькому — последний вздох покойной “Мысли” С.Сергеев-Ценский. Крым, Алушта, 13/III 1928 г.” (Личная библиотека А.М.Горького в Москве. Описание.— М., 1981.— Кн.1.— С.96).

40

Датируется по упоминанию о двух горьковских выставках в Ленинграде, приуроченных к его шестидесятилетию юбилею. Фраза в письме “...адрес я пишу наугад” позволяет предположить, что Горький в это время находился в СССР, поскольку его итальянский адрес Чуковскому был известен.

- 1 Эти материалы Чуковский использовал в статье “Толстой и Дружинин в шестидесятых годах” (Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов.— Изд-во писателей в Ленинграде, 1934).
- 2 Горький М. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом.— Пг.: Изд-во З.И.Гржебина, 1919.
- 3 Вероятно, подразумеваются работы В.М.Фриче “Л.Н.Толстой” (О Толстом.— М.—Л., 1928) и В.Г.Черткова “О последних днях Л.Н.Толстого” (М., 1911) и “Уход Толстого” (Берлин, 1922).
- 4 См. письмо 36, примеч.1 и письмо 37, примеч.3.

41

Датируется по содержанию и фразе: “Торжество назначено на 16 апреля”

- 1 Бродский Исаак Израилевич (1884-1939), художник. Горький сблизился с ним летом 1910 года на Капри. Тогда же Бродский написал свой первый портрет писателя. В 1929 году праздновалось 25-летие творческой деятельности Бродского.
- 2 Бродский И.И. Сборник статей В.Воинова, Э.Голлербаха, В.Гросса, Н.Радлова.— Л., <1929>.
- 3 Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887-1942), издательский работник, в то время был заведующим Ленинградским отделением ГИЗа.
- 4 Чагин Петр Иванович (1898-1967), издательский работник. С 1926 года был ответственным редактором “Красной газеты”
- 5 Такой статьи Горький не написал.
- 6 Будберг.

42

- 1 Златовратский Николай Николаевич (1845-1911), писатель-народник.
- 2 Халатов Артемий Багратович (1896-1938), советский и партийный деятель, с 1927 по 1932 годы — председатель правления Госиздата.
- 3 Просьба Чуковского осталась не выполненной.
- 4 Чуковский цитирует 1-ую главу 1-ой части романа. См.: Горький М. Полн. собр. соч. В 25 т.— М., 1974.— Т.21.— С.11.

- ⁵ В декабре 1926 года в Ленинграде происходил панумевший судебный процесс о преступлении семерых рабочих, которые на Лиговке, в Чубаровом переулке изнасиловали пятнадцатилетнюю девочку. Виновные были расстреляны. В знак протеста против этой казни их товарищи-рабочие подожгли завод, на котором работали. Преступление вызвало широкую волну протеста трудящихся в стране. Выражение "чубаровщина" на какое-то время стало часто использоваться в прессе как синоним бандитизма и насилия.
- ⁶ Этим "кто-то" был Горький. См. примеч. 3 к письму 37.
- ⁷ Журнал "Литературная учеба" был организован с помощью и под руководством Горького. Предназначался для обучения молодых литераторов профессиональному мастерству, выходил с апреля 1930 по август 1941 года.
- ⁸ Статья в "Литературной учебе" не печаталась. Рукопись ее не сохранилась.

43

- ¹ Речь идет о статье Чуковского "Как Некрасов учился писать ст (см. письмо 42).
- ² Первая строка раннего стихотворения Некрасова "Песня" (1839).
- ³ Вероятно, речь идет о стихотворении Некрасова "Извозчик" (1855), в котором был использован сюжет рассказа В.П.Бурнашова "Мешок с полуимпериалами". (См.: Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем. В 15 т.— Л., 1981.— Т.1.— С.149-151, 626).
- ⁴ Строка из пародии А.А.Измайлова на К.Бальмонта (Измайлов А.А. Кривое зеркало. Пародии и шаржи.— СПб., 1914.— С.22).
- ⁵ В конце апреля 1930 года Горький написал А.Б.Халатову письмо, в котором советовал издать сочинения Н.В.Успенского (Архив А.М.Горького.— М., 1964.— Т.10.— Кн.1.— С.194).

44

Датируется на основании писем 43 и 45.

Впервые неполностью — Звезда.— 1972.— № 8.— С.199.

- ¹ Речь идет об издании: Успенский Н. Собр. соч. Ред., вступит. статья и примечания К.Чуковского.— М.—Л., 1931. Книга с дарственной надписью Чуковского "А.М.Пешкову от редактора, 1931, Ленинград" хранится в библиотеке Горького в Москве (Описание.— Кн.1.— С.103).

45

- ¹ Пасынков Л.П. Тайпа.— М.—Л., 1930.
- ² В ночь с 22 на 23 июля 1930 года в Италии произошло сильное землетрясение. О фактах воровства во время бедствия Горький писал и в очерке "Терремото" (За рубежом.— 1930.— № 5).

46

- ¹ Цитата из редакционной статьи "О подражании и новаторстве".
- ² "Ес лица необщим выраженьем..." — строка из стихотворения Е.А.Боратынского "Муза" (1829).
- ³ Писем Ю.Гынянова, О.Форш и М.Слонимского этого времени в Архиве А.М.Горького не обнаружено.

Датируется по ответному письму Горького (см. письмо 48).

- ¹ Чуковский в это время работал над подготовкой издания: Слепцов В.А. Сочинения./ Ред., статья и комментарий К.И.Чуковского.— В 2-х т.— Т.1,2.— М.—Л., 1932, 1933. Книги имеются в горьковской библиотеке.

48

- ¹ Позилиппо — пригород Неаполя. Горький в это время жил в Сорренто.
- ² В 1919 году в изд-ве “Всемирная литература” вышла книжка “Принципы художественного перевода”, куда вошли статьи Ф.Батюшкова, К.Чуковского и Н.Гумилева. В переработанном виде книга была выпущена под заглавием “Искусство перевода” (Л., 1930). В новое издание вошла статья Чуковского “Принципы художественного перевода” и статья А.Федорова “Приемы и задачи художественного перевода”. Книга сохранилась в библиотеке Горького с дарственной надписью: “М.Горькому привет от авторов. Андрей Федоров. К.Чуковский. 27.XI.29” (Описание.— Кн.1.— С.281).
- ³ В статье “О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т.д.” Горький привел те же примеры небрежности в переводах книг Ф.Лукнера “Зов моря” и Дж.Конрада “Ностромо” (Горький М. Собр.соч.В 30 т.— Т.25.— С.478).
- ⁴ Упомянутая Горьким книга Р.Бенжамена “Необычайная жизнь Оноре де Бальзака” вышла в переводе Н.Ф.Комиссаржевского (М.—Л., 1928). Жоффруа Сент-Иллер Этъен (1772-1844), французский зоолог.

49

Датируется по письму 48, на которое является ответом.

- ¹ Речь идет о письме французского писателя Шарля Летурно дочери А.И.Герцена и Н.А.Тучковой-Огаревой Лизе от 2 августа 1875 года. В переводе упомянутая фраза звучала так: “...я всегда считал потерю друга настоящим несчастьем, умалением, подобным потере члена” (Архив Н.А. и Н.П.Огаревых.— М.—Л., 1930.— С.186).
- ² 24 ноября 1930 года А.К.Воронский, в то время редактор ГИЗа, сообщил Горькому о проекте издания “большого однотомника “Шестидесятники” в 60 листов” (Архив А.М.Горького.— М., 1965.— Т.10.— Кн.2.— С.66). В ответном письме от 3 декабря 1930 года Горький одобрил замысел и дал ряд советов по составу сборника (Там же.— С.67-68). Книга “Шестидесятники” вышла в 1933 году. Включала произведения Н.Успенского, В.Слепцова, М.Воронова, М.Петрова, Ф.Решетникова, Н.Помяловского и предисловия к ним Чуковского.
- ³ В статье “О цинизме”, напечатанной одновременно в “Правде” и “Известиях” 30 января 1931 года, Горький, говоря о “глубочайшем невежестве по отношению к Союзу Советов” европейской прессы, писал: “...чепуховые анекдоты печатаются почти ежедневно в прессе Европы, они печатаются и в знаменитом словаре Ларусса; в нем, между прочими глупостями, сообщается: “Самовар — это сосуд для кипячения воды с одним или несколькими кранами”, “Раскольники — русские сектанты. Имеются в трех видах: раскольники, ракольники и раскольнисты” “Иван IV был прозван Грозным за то, что убивал своих жен палками”. (Горький М. Собр. соч. В 30 т.— Т.25.— С.382).

- ¹ См. письмо 46.

Датируется по сопоставлению с письмом 52.

На письме помета рукой Горького: "Переговорить с Халатовым"

- ¹ Дочь Чуковского Мария (Мура, р.1920) скончалась 10 ноября 1931 года.

- ¹ См. письмо 51.

Датируется по сопоставлению с письмом А.К.Виноградова Горькому от 3 декабря 1931 года (см. примеч.3).

- ¹ См. письмо 48.

² К письму приложена 1-ая страница фельетона "Кадавер. Открытое письмо Д.И.Кирееву", в котором приводятся примеры неверного перевода иностранных и объяснения устаревших слов.

³ Виноградов писал 3 декабря 1931 года Горькому: ...сейчас был у меня К.И.Чуковский, работающий над Слепцовым, принес мне статью "Тайнопись В.Слепцова" Если одобрите, ее в сокращении можно будет дать в качестве комментария к "Трудному времени" в серии "Молод<ой> чел<овек>" (Архив А.М.Горького, КГ-п.15-7-29).

⁴ Книга в задуманной Горьким серии "История молодого человека" не выходила. Статья Чуковского "Тайнопись "Трудного времени" была напечатана в его книге "Люди и книги шестидесятых годов" (Л., 1934).

- ¹ Упомянутых писем И.И.Грекова и И.И.Бродского разыскать не удалось. Вероятно, в них содержалась просьба хлопотать об облегчении участи притесняемого властями портного И.Н.Слонимского. См. о нем также в письмах 29 и 30.

Датируется по ответному письму Горького (см. письмо 56).

- ¹ Упомянутая Чуковским повесть под названием "Бородуля" печаталась под псевдонимом "Такисяк" в вечернем выпуске "Красной газеты" с 15 мая по 25 июня 1926 года. Подробнее об этом см. статью И.Андриановой "Запасайтесь зонтиками" // Природа и человек.— 1987.— № 1.— С.65-68. Замысел написать на основе этой повести новое произведение для детей остался неосуществленным.

² Центрально-Черноземная область.

Впервые — Литературная газета.— 1936.— 20 июля.

Подлинник не разыскан, печатается по машинописной копии из личного архива Горького. Подпись Горького отсутствует. Пропущенное в машинописи слово "миоценовый" восстанавливается по тексту первой публикации.

- 1 Гернет Е.С. Ледяные лишай. (Новая ледниковая теория, общедоступно изложенная.— Токио, 1930.) Миоценовый период геологической истории Земли (около 25 миллионов лет назад) характеризовался более влажным и теплым климатом, чем нынешний.
- 2 Вернадский В.И. Очерки геохимии.— М.—Л., 1927.
- 3 Иоффе Абрам Федорович (1880-1960), академик, физик.
- 4 Дорфман Яков Григорьевич (1898-?), доктор наук, физик.

57

Датируется по письму 56, на которое является ответом.

- 1 Чернышев Александр Алексеевич (1882-1940), академик, физик-электротехник.

58

Датируется на основании приложенной к письму газетной вырезки из "Правды" от 24 марта 1935 года и фразы: "Сейчас я прочел в газетах..."

- 1 Пыпин Николай Александрович, сын А.Н.Пыпина, известного ученого-филолога, двоюродного брата Н.Г.Чернышевского. По рассказу Л.К.Чуковской, дочери Чуковского, Н.А.Пыпин и его жена Екатерина Николаевна были высланы из Ленинграда в Казахстан вскоре после убийства Кирова. В это время из города высылали всех "бывших дворян". Чуковский деятельно хлопотал о Пыпине, ходил в Смольный. В результате этих хлопот Пыпины были телеграммой сняты с поезда, увозившего их в ссылку, и возвращены в Ленинград. Однако они не пожелали вернуться на свою прежнюю квартиру, опасаясь новых преследований. Поэтому Чуковский поселил их у себя на Кировной, а в квартиру Пыпиных на Литейный переехала Лидия Корнеевна.
- 2 В приложенной к письму вырезке из газеты "Правда" помещена статья "Из тюремной библиотеки Н.Г.Чернышевского", рассказывающая о трех книгах, которые были с Чернышевским в Алексеевском равелине, а впоследствии их подарил Государственному литературному музею родственник писателя Н.А.Пыпин.

СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии	5
----------------	---

Раздел I Конференция

<i>Келдыш В.А.</i> О ценностных ориентирах в творчестве М.Горького	8
<i>Хьетсо Гейр</i> Максим Горький сегодня	16
<i>Барахов В.С.</i> Трагедия М.Горького в интерпретации современных критиков	25
<i>Минакова А.М.</i> Мифопоэтика М.Горького (К постановке проблемы)	34
<i>Ермакова М.Я.</i> Роль М.Горького в модификации философского романа XX века	39
<i>Заика С.В.</i> М.Горький в общественном мнении начала века (1898-1904)	46
<i>Шеррар Ю.</i> М.Горький и А.Богданов (История отношений по материалам переписки 1908-1910 гг.)	54
<i>Гей Н.К.</i> М.Горький и В.В.Розанов (О поэтике писателей-антиподов)	62
<i>Примочкина Н.Н.</i> М.Горький и РАПП	70
<i>Ревакина И.А.</i> М.Горький и В.И.Ленин (Неизданная переписка)	78
<i>Иокар Л.Н.</i> К истории публикации первого варианта очерка "В.И.Ленин"	86
<i>Смирнова Л.Н.</i> М.Горький и В.И.Ленин. Разрушение легенды	91
<i>Киселева Л.Ф.</i> "Жизнь Клим Самгина" в зеркале современности	98
<i>Спиридонова Л.А.</i> Новые аспекты изучения творчества М.Горького (1930-е гг.)	103
<i>Клюс Э.</i> Пародийные аллюзии на М.Горького в неофициальной беллетристике послесталинской эпохи	111
<i>Гаранина Л.Ф.</i> Гуманистическая сущность художественной правды Горького 30-х годов (Пьеса "Сомов и другие")	117
<i>Чернухина В.Н.</i> Поездка М.Горького на Соловки (Свидетельства очевидцев)	124

<i>Пьяных М.Ф.</i> М.Горький и суд над Достоевским в советской литературе 30-х годов (Проблема трагического)	136
<i>Перхин В.В.</i> Полемика М.Горького с А.Авдеенко (К характеристике духовной программы критика)	143
<i>Вайнберг И.И.</i> “Загадка 1 сентября” в изображении Горького (Тайна убийства П.А.Столыпина)	150
<i>Ларионова Н.Г.</i> К вопросу об оценке М.Горьким романа Шолохова “Тихий Дон”	162
<i>Никитин Е.Н.</i> Письма М.Горького к В.И.Анучину История одной публикации	171
<i>Пэнэжко Н.Л.</i> Шехтель — Рябушинский — Горький (К истории Дома на М.Никитской)	176
<i>Морохин В.Н.</i> М.Горький на родине (Горьковской комиссии — 50 лет)	186

Расдел II

<i>Иокар Л.Н.</i> Критика о Горьком в личной библиотеке писателя (Дореволюционный период)	192
<i>Еремина И.Ф.</i> М.Горький и П.Славейков (Черты нищестанства в образах романтических героев)	206
<i>Матевосян Е.Р.</i> Максим Горький и Иероним Босх (По материалам “Жизни Клим Самгина”)	215
М.Горький. Переписка с К.И.Чуковским. (Продолжение) <i>Подготовка текста Е.Ц.Чуковской и Н.Н.Примочкиной, комментарии Н.Н.Примочкиной</i>	228

Научное издание

*Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького РАН*

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА М. ГОРЬКОГО

М.ГОРЬКИЙ И ЕГО ЭПОХА

Материалы и исследования

Технический редактор *Мишутина Т.И.*

Оригинал-макет изготовлен
в компьютерном центре ИМЛИ им.Горького

ЛР №04126 от 16.10.91

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура таймс.
Печать офсетная. Печ. л. 16.50.

Изготовлено в Коломенской межрайонной типографии. Т. 1000. З. 3352.

Специализированное издательско-торговое предприятие "Наследие"
121069, Москва, ул. Поварская, д 25а